БОГДАН БОЙКО
ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ СОРОК ПЕРВОГО

Молодые писатели

БОГДАН БОЙКО

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ СОРОК ПЕРВОГО...

Роман

Авторизованный перевод с украинского Юлии Верниковской

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1977

С(Укр)2
Б77

Б $\frac{70303-087}{078(02)-77}$ 166—76

© Издательство «Молодая гвардия», 1977 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Семен Цизорик, которого в селе, однако, величали Семкой Боженькой, не впервые слыхал, что жена погуливает... Но пытался отчего-то ловить себя на том, что последнее время сильно помрачился в мыслях. До сих пор от яростного этого затмения спасался неверными мыслями: представлял, как после торжественного благовеста и церковных процессий, после провозглашения «соборной» и «самостийной», предъявит он государственному проводу ОУН * свой добавочный счет — за жену...

...Вскорости после рождества в Скоморохи, родное Семкино село, со всех сторон окруженное жирными моргами ** цизориковской земли, притрюхал на серой кобыле без седла широкоплечий, могучий как дуб Пилип Довбеняк и назвался агитатором и художником.

А после крещения начали люди поговаривать, что стала Семкина жена его полюбовницей. Посудить только: чего было соглашаться, чтобы сам красный сатана, да еще в том демонском сельсовете размазывал на полотне блудливую ее личность?! Хоть правду сказать, было что, да, видать, и кому перерисовывать: показывал Довбеняк любопытным свои рисуночки... Но Семка знал: все это большевистская агитация, как говорится — сладко кум поет, а морда кислая... Еще бабушка надвое сказала:

---

* ОУН (организация украинских националистов) — реакционнейшая буржуазно-фашистская организация, возглавлявшаяся «верховным проводом». Избираемый сборищем националистов, «верховный провод» в основном находился за границей. Отдельные представители его для руководства членами ОУН на местах прибывали на территорию Украины.

** Морг — мера земли около полугектара (0,57 га).

велика ли тяжесть привезти в мешке чужие рисуночки... И не в одну душу бросал Семен ядовитые зёрна, мысли не допуская, что не взойдут они. А из-за глупой случайности вышло иначе: собрался перед самым сретеньем вездесущий старый Гринчук в сельсовет. Видно, по какому-то спешному делу, потому так закидывал в сторону изувеченную в итальянских горах ногу, что прохожие шарахались от нее, как от косы. Люди знали: если дед не припечет, умеет шагать и ровно. Выходит, старик здорово торопился...

Войдя, Гринчук почуял еще в коридоре, за дверью, незнакомый доселе сладковатый запах масляной краски, скрип паркета под чьими-то нервными тяжелыми шагами и решил немного отложить свои сельсоветские хлопоты.

— Что бы это благовоние значило и разве пол там со скрипом? — спросил старик у появившегося Авра Цебрика, председателя, который неизвестно чего не сидел в своем кресле, а словно вынюхивал что-то под чужой дверью.

Дед, не спрашивая разрешения, поднажал на двери, прежде мало ему знакомые, так как до прошлого сентября обитала за ними пышногрудая, широкозадая пресвятая матушка, она же начальница школы пани Барановская. Дед же толстых женщин не признавал: как обжегся в юности на горячем, так и дул до старости на холодное...

Но все переменилось. И вышел Гринчук из комнаты, где, как оказалось, ворожил у натянутого холста Пилип Довбеняк, с влажными глазами... Изображенная художником красота женщины растрогала бывалого и не мягкосердечного старика.

— Будет теперь и у нас своя пресветлая Ольга! Попросим еще такую сотворить — в читальне выставим. Святая рука кистью водила! И свободная! — закончил любимым словом свою речь перед толпой, что собралась у сельсовета, Гринчук. И пошла по селу весть, на Семкино мучение, о пришествии земной, пречистой Ольги...

Но Семен Цизорик, рыцарь «службы беспеки» *, ни одной минуты не верил, что прибыл Довбеняк в Скоморохи только ради малевания да агитации... Потея от волнения, уговаривал жену, чтобы перестала ходить в сельсовет к художнику на позор, умолял, изнемогая, бросить бесовскую затею... Ольга обещала, но шла опять, с каждым днем задерживаясь у Довбеняка все дольше и дольше. И Семен не знал, что делать с женой, не знал, как поступить с самим собой. Ждал... Самое же нестерпимое в жизни — ожидание.

Случилось это перед благовещеньем. Еще знобили землю по ночам заморозки, и слепили глаза мохнатые хлопья запоздавших метелей, но люди сбрасывали зимнюю степенность, становились ребячливее. И хотя стоял великий пост, а церковь снова и снова призывала прихожан к вселенской скорби, но даже в храме божьем какая-нибудь разопревшая девка возьмет да и хохотнет во всю пасть. А что творилось второй уже год в читальне, или по-теперешнему — в клубе!

Справляют кошачьи свадьбы, люто думал Цизорик, а те одуревшие голодранцы, что спешат на быстрой кляче осенью за малиной, за большевистскими медами-сахарами, через девять месяцев и крестить придут... Потому — весна, ночи еще не скупые, когда и хватает их только на сон. Вот и ширятся животы у жен прежних Семкиных батраков, на чугунную его злость. В церковь-то еще идут, да не бога славить, а людям показаться: глядите, мол, чего ждем...

Пришел и Семка со службы божьей. Ох и пел сегодня — как никогда! И хотелось думать: проникновенным своим голосом создавал в храме торжественное настроение, от которого плакали люди... Казалось, что на

---

* «Служба беспеки» — подразделение в ОУН, выполнявшее карательно-террористические функции по отношению к советским гражданам, а также к участникам ОУН, заподозренным в лояльности к Советской власти.

сердце у них, как и у него, было тяжкое отчаяние дня нынешнего и надежда на будущее...

«Богородице-дево» удалось особенно: в эту минуту с необыкновенной ясностью встал перед ним образ неньки-матери Украины; а когда грянули с хором «Верую», ну чисто клич верховного провода! Мираж оно, конечно, да как знать, может, и перст божий...

Шло уже к полудню. Ольга повесила в углу кожушок, веретеном крутанулась по хате и, не спросившись, побежала куда-то. Цизорик прилег на диванчик, задумался, как всегда, словно ожидая чего-то. Вскорости простучали по ступенькам красные сапожки жены (два центнера ржи отдал когда-то), и муж с облегчением вздохнул. Но сразу же, подскочив, закрутился вьюном: били каблуками, и не по ступеням, а в его темя чужие, тяжелые сапожищи...

И впервые увидел Семен Цизорик этого Пилипа Довбеняка вблизи. Пропустив вперед побледневшую Ольгу, Довбеняк топтался у порога: старательно тер сапоги о мешок.

«Хороши гости, да в двери не протолпятся! А меня кем — Иисусом Христом, намалюет? Или Михаилом-архангелом? Хе-хе...» — вслух вырвался недобрый смешок, а про себя вспомнил в эту минуту, будь она проклята, болтовню Гринчука о Довбеняковой «пречистой» и еще что-то, в чем и себе не хотелось признаться. Цизорик попытался выдавить этакий веселый хохоток, забавный, шутовской, но не смог. Не было. Ничего не было. Ни солнечного, весеннего дня со щебечущей суетой синиц под окнами, ни хорошенькой жены, легкой, как мотылек... Ничего не было. Только тоска. Только злость. Только страх. «Вот и дождался... Не-е-ет, не случайно лезет в мою жизнь этот маляр! Он что-то страшное знает... Если бы вправду художник, хоть и советский, был бы подобрее. А этот под кожаной курткой кандалы припрятал, и глаза у него как лед...» В душной ком-

пате Семку затряс озноб, захотелось зажмуриться, прижаться к печке и греться, греться...

От первого же слова гостя, от этого никогда не произносимого раньше в Цизориковой хате «добрый день», вместо «слава Иисусу» стало еще страшнее. В обращении послышались вызов и самоуверенность...

«Ох, святая правда, смертное его малярство... Нет, не соперник он в песнях, силе мужской и бес его знает, в чем еще, а ужасный большевистский агент и лютый враг!»

Гость не сделал и двух шагов от порога, а в Семке содрогнулось все естество, и душа словно захлопнулась на крепкие запоры.

«Погубит меня собственная сука... — У него сжалось горло, сдавило желудок. — Загубит — предчувствую! Но и их так не оставлю — с собой заберу...» — Схватился привычно за вернейшее в своем ремесле. И стало спокойнее.

— Гостюшки! Драгоценнейшие! Никогда-то у нас таких не бывало! Как здоровьице? — мягкими, кошачьими шажками катился навстречу Довбеняку так, будто ждал всю жизнь. Жал двумя руками руку — от «безмерного уважения», упрашивал: — Сюда, сюда, почтительнейше прошу, — и усаживал за стол напротив освещенного солнцем окна. — Тут и солнышко вас пригреет. Лучше уж в какой-никакой хате согреться, чем мерзнуть... Ах и жена у меня... — Семка искоса рассматривал мощную фигуру пришедшего, сняв с него куртку и вешая ее на Ольгин кожушок. — Такая, понимаете, забывчивая, давненько уже просил передать, чтоб наведались к нам в святое воскресенье. Снилось даже, что заглянете...

У Ольги подкашивались ноги. Бледнея, бессильно оперлась о косяк, умоляюще глядя на мужа расширенными глазами.

От его разглагольствований сжималось сердце. Она понимала, с каким тайным смыслом повешена

куртка гостя на один крючок с ее кожушком, хотя рядом такие же были пусты. И вздрогнула, будто увидела внезапно на вырезанной захожим мастером-гуцулом вешалке свое далекое, горькое сиротство...

Без рода, без племени, без защиты на двенадцатом году жизни. Одна-одинешенька, круглая сирота. Быть бы ей, несчастной, прислужницей в панских хоромах, хоть и остался после родителей лоскуток земли. Как с ним ребенку управиться? Но судьба улыбнулась: дальние родственники, бездетные, добрые, старенькие, что смолоду объехали белый свет в поисках счастья, да так и не нашли, не дали Ольге пропасть. Убежденные, что всюду за одного ученого десять неученых дают, определили ее в Бережанскую гимназию, хоть в те времена никто из простого люда в «высоких школах» не обучался, все больше мещанки да поповны. И для нее, юной и уже тогда безрассудной, неожиданно открылись двери в широкий, неведомый мир...

Той далекой весной в страстную субботу отпустили ее на праздничные каникулы. Идти пришлось бы уже в пасхальное воскресенье, а то не поспеть засветло, но подвернулся попутчик, восьмиклассник Данило Журак из их села. Дорога была неблизкая, но когда идешь домой на праздники, путь кажется короче...

Через плечо у Данилы гитара на красной ленте. Сам он — высокий, гибкий, молчун. Он — шаг. Она — три, а то и больше. Еще и томик стихов под мышкой, и узелок со студенческими пожитками. Скоро все это — и стихи, и узелок, что стали в дороге грузом, — очутилось на красной ленте.

— Данило, — поддразнивала спутника девушка, — взял бы и меня на красную ленту. Мельче, мельче шагай, не угонюсь за твоими ходулями...

— Взял бы я тебя, взял... Спрятал бы за пазуху и нес всю жизнь, — ответил в безлюдном поле, когда минули придорожные села, и, взглянув на нее, подошел

ближе. Отшатнулась: ни у кого за свою короткую жизнь не видела таких глаз...

Шли дальше. Молчали.

На полдороге внезапно стало смеркаться. Навстречу путникам с запада надвинулись, закрывая небо, черно-седые тучи. Громыхнул отдаленный гром, запахло озоном.

Сорвался шалый ветер, словно преграждая дорогу домой, катился по земле видимыми глазом зеленоватыми волнами — ни шагнуть, ни вздохнуть. И когда разорвалось небо от близкого грома и рухнул стеной ливень, Данило сгреб ее на руки и понес... Сколько длилось это? Может, длится и сейчас?

«Ушло... Навсегда ушло... Навсегда!» — вспоминая, больно прижалась лбом к косяку.

Темнело. Дождь лил как из ведра. Данило с девушкой на руках добежал до одинокой белокаменной часовенки, что стояла на семи ветрах в пустынном поле. С черного креста недобро глядел распятый спаситель. Вспомнила: страстная суббота, муки Христовы... Высвободилась из рук парня, вся промокшая, сразу зазябнув.

Стало страшно. И в жажде тепла, которое только что ощутила на его груди, в жажде тепла и ничего большего — прижалась к хлопцу. Он робко, неумело обнял ее.

А у девушки с первым прикосновением все смешалось, закружилось... Казалось, кто-то обнажил ее и нежно, до головокружения, гладил-гладил русалочьими руками так, что поплыла в зеленом тумане земля...

Ольга еще не знала и до этого мгновения знать не хотела сладчайшего греха. И вот нежданно, в такой обители, где только думать о спасении души и каяться, пробудился в ней древнейший инстинкт; он пришел из тех незапамятных времен, когда еще не было святых, но было уже «грехопадение» — великая жажда материнства, продолжения рода человеческого... Взлет, выше которого ей не подняться.

Чувствовала: вся горит. Судорожно, как утопающая, схватила Данилу за плечи. Ему передалось ее состояние.

В их жизни настала минута (Ольга поняла это давно), когда могло случиться то, что имеет она сейчас...

Фосфорические зигзаги молний полосовали небо и Данило, снова подняв ее на руки, прижал к себе, стоя перед распятием. Небо не гасло, и казалось, лик Христа ожил.

Но в самой ослепительной вспышке, когда небосвод словно обрушился на них. Данило перекричал грохочущую стихию:

— Оставь, Ольга! Слышишь?! Сейчас этого не нужно... Поклянись, пока живем — ты моя!

Целовала холодные ноги Христа, клялась.

Поклялся и Данило.

Любила ли его уже тогда? Не знала. А теперь знает. Любила! Трудно любила. Временами и сейчас приходит во сне и наяву горькое воспоминание о черноволосом юноше с печальными глазами. Может, уже тогда было у нее страшное предчувствие? Да, не забыла его, может, и оттого, что не успели изведать они друг друга...

Две скупые слезы покатились по щекам. Быстро отвернулась к стене.

Данило был уже в университете. Ради единственного сына недоедали, недосыпали Журавли, распродавали лучшие участочки пашни, не брезговали куцыми сезонными заработками в графском фольварке. И были счастливы: учили сына. А Ольге без него свет не мил. Своя гимназия опостылела и, если бы не трогательная вера стариков в науку, давно бы бросила. Ее уж и поддразнивали: соломенная, мол, вдова... Пожаловалась любимому, когда приехал домой на пасху.

— Подожди, — успокоил, — через два года конец занятиям. Подрастай, подрастай, Олюська...

Другие не ждали, пока вырастет. Проходу не давали.

ухаживали. Дрались в кровь за нее. Золотые горы сулили — сватались.

«Подрастай, Олюська...» Для кого? Передали ей както слова старой Журачихи, что не хочет она невесткисироты, да и с лица, мол, не воду пить... Обедневшие Жураки мечтали о богатой...

Людские пересуды ранили. Не раз горько плакала, грозилась выйти за другого... И они поссорились.

Но перед самым отъездом Данилы не выдержала притворного гнева. Подошла к нему с лукавой шуткой: гонит девка парубка, а сама ни на шаг... И, обдумав все заранее, с женской хитростью, вызвала ночью в поле. Больше не хотела сдерживать шалую тягу к желанному.

Слепил глаза яблоневый цвет, басовито гудели, пролетая, тяжелые майские жуки, тело наполнялось истомой... Что-то ласковое шептал Данило, девушка пыталась слушать, но не могла, не понимала. Изо дня в день выпадали дожди, и сейчас она неотступно думала: где отыскать местечко посуше...

И когда в чистом поле снова вспыхнула, припав к любимому, в эту именно минуту со всех сторон набросились на них черные тени.

— Ага! Сдержала-таки Оля слово! Привела цуцика! — захохотал ближайший, и от этих слов застыла кровь в жилах, окаменели руки, лежащие на плечах Данилы.

— Что ты наделала, Ольга?!

Услыхала за его плечами лихой посвист и протянула ладони, чтобы прикрыть от беды. Но упали тяжестью обращенные к ней слова... Было поздно.

— Спасите! Данило, не верь! Не верь! Кровь! Его кровь... — закричала отчаянно, но чем-то мягким зажали рот и, теряя сознание, ощутила тошнотворный запах. Еще успела подумать: так пахнет смерть...

Ранние прохожие нашли Ольгу в придорожном рву,

связанную, но уже без кляпа, далеко от места ночного события, за соседним селом.

— Замордовали парня из-за смазливой девки! — разнеслось по окрестным деревням.

И никто доброго слова не сказал о ее тяжкой судьбе, о ее горе и отчаянии.

Данилу не нашли. Не вернулся он ни к ней, ни к родителям. День, другой, десятый... Вечность. И стали люди постепенно забывать черноволосого Оленькиного студента.

Только она блуждала по полям как безумная, глухими ночами, чтобы никто не видел. Вслушивалась, звала:

— Покажись, Данилка. Хоть на секундочку! Не предавала тебя, не предавала! Не вела на гибель...

Все выдержит: потом. А вот как выдержала, когда развязали веревки за чужим селом, когда как осиротевшая Ярославна билась, рыдая, летела зозулей к страшному месту, где упал ее князь, ее любимый!

Казалось, одна в поле. Черный ветер. Черное солнце. Черные кони. И черные односельчане, которых не узнавала.

— Где Данило? Где? Покажите его! Покажите... — Среди молчавшей толпы искала и не находила глаз, обращенных к ней. И в то мгновение, когда подкосились ноги, покачнулась земля, увидела наконец Жураков: деда, отца, мать, словно вставших из-под могильных плит... И замолчала, все поняв... И упала в ноги...

Отчего не сжалились? Отчего не захотели, чтобы разделила с ними горе? Отчего хотя бы не спросили — единственный же свидетель, — как все произошло? И после сказанного не проклял?

— Я его погубила! Я! И Христос в каплице... — Пыталась рассеять чьи-то сомнения, предположения, но даже этого сделать не могла: родители Данилы не могли ни слушать ее, ни даже смотреть, хоть и нашли силы не показывать лишнее толпе, сбежавшейся на страшную Олюськину свадьбу.

Невольно ожидала она от Жураков, людей чужих, самого наихудшего и была готова к этому. Одного не ждала, не представляла — молчания.

Так повелось с детства: все с ней молчали. Молчали в могилах отец и мать. Молчали, завороженные ее странной красотой, ухажеры. Молчали односельчане, если делала что не так в жизни: сирота, что с нее возьмешь? И вот теперь, когда подкосило горе, страшное сознание своей вины, подумала — сейчас-то заговорят. Скажут злое или доброе, проклиная или сочувствуя... Лишь бы заговорили!

Этого не случилось. И до сих пор не поймет Ольга, как не погибла. Может, удержала на свете надежда: Данило жив...

Жураки тоже жили надеждой, не верили в гибель сына. Уважали люди и деда его, за честность, за ясный ум, и отца — машиниста общественной молотилки, за золотые руки. И теперь отдали дед и отец последнее на розыски Данилы, на панские комиссии, на судебные расследования.

Потянули и Ольгу на допросы, мытарили по станиславским криминальным канцелярням. Бывало и так: из «любезности» уединялись с ней на ночь следователи в своих кабинетах... К осени отпустили — вернулась домой. Принять обратно в гимназию не решились. И потянулись дни тяжкого, одинокого отчаяния. Но даже в это черное время надеялась: скажет кто-нибудь доброе слово...

И через три года пришел к ней Семка. Внешне чуть походил на Данилу, только сердце и глаза другие... Постарше. Верующий. В церкви пел. В этом краю, где талант не диво, голос у него был редкостный. Вот тогда впервые согрел ласковыми словами, просил стать женой. Свободной невесткой была бы: старый Цизорик выделил первенца еще до женитьбы, купив у корчмаря землю под хату.

Делать-то что? Не хотелось, да пришлось пойти за

советом к людям. Спросить стариков, что растили, соседей, подруг... Пожимали плечами, вздыхали, а потом советовали: выходи. И все-то его знают, и певчий, и ученый, да еще после всего, что с тобой было... Смотри, вон Ганька Микитина второй год за ним сохнет, бегает, а ведь и капитал имеется, и красой не обделили...

Но не могла Ольга приневолить себя. И неожиданно помогла мать Даниды.

Вечером, под Ивана Купалу, когда укутал землю туман, а над чуть видными Карпатами заклубились тяжелые, чернильно-черные тучи, неслышно отворив дверь, без «бог помощь», в хату вошла Журачиха.

Ольга обрадовалась приходу матери любимого, но тут же и испугалась: всякое говорили о несчастной женщине. А близился час, когда девушки идут в поле, к реке, к звездам гадать-выкликать свою судьбу... Вспомнила невольно и о своей — уже найденной, наперед обозначенной... Кто нагадал такую? Сама? Недобрые люди? Или эта женщина? Разве не она запрещала единственному сыну взять ту, которую полюбил?

— Травы в хате духовитые... И ты анром пахнешь, как мой сын, Олюська...

Так никто никогда не говорил, так никто никогда не называл — Олюська. Кроме Даниды. Кровь ударила в голову, забилось сердце. На минуту забыла — где она, что вокруг...

— Что же такого, мама?

— Как что такого? Слыхала — сватов ждешь? — Глаза старой, Даниловы глаза, казалось, жгли Ольгу.— Кто первый за тобой придет, тот моего сына... сама знаешь. Может, были уже? От кого?

Так неотступно не допытывали и станиславские следователи... Ответила, как на исповеди:

— Цизорик. Семка. Сам.

Журачиха на глазах усыхала, старела, становилась беспредельно несчастной. Прошептала — не Ольге, себе:

— Не сбылось, не сбылось предчувствие... У Семки

бог в сердце. Не его рук дело... Боже, вся надежда была — по этому узнаю палача...

Черный ветер, черный сон того далекого утра начался снова... Но теперь, перед затуманенным горем Ольгиным взором была другая Журачиха, совсем иная мать Даниды... А может, изменилась она, Ольга? Подошла к старой, взяла бессильную, раньше времени высохшую руку, прижала к сердцу. И тихонько сказала:

— Посидите, мама... — Второй раз в жизни назвала ее так, и не было уже никакой обиды на убитую горем мать. Наоборот, поверила — звала бы так всегда, преданно, до конца дней...

Журачиха присела. Но тут же, облизнув пересохшие губы, попыталась встать. Такая подвижная раньше, сейчас не могла подняться.

— Дать водички?

— Еще нет. Вот когда-нибудь... За этим шла... Хоть теперь, раз уж сказала о Цизорике — нашей не будешь...

— Как это вашей? Я... я не...

— А так, Олюська. Позвать хотела: иди к нам. Как своя будешь... Внука маленького нам приведешь... А...

И до сих пор не знает Ольга, что таилось в этом звуке, оборвавшемся, как последняя струна в скрипке.

От странных речей, от сумерек стало жутко, но что-то несказанное, целебное успокаивало. В такую минуту нельзя было молчать. Она чувствовала: никогда больше не раскроется ей это сердце, никогда больше не повторится эта минута. И, как утопающая за соломинку, схватилась за произнесенные слова.

— Что вы говорите — своей? Косу он мне не расплетал. А если бы и расплел... В помыслах моих тысячу раз принадлежала и принадлежу ему, но чьего же ребенка я вам принесу, если его... как ваш сын... третий год пошел?

— Ой, не говори такого! Никому не говори. И сама не верь, Олюська. Знаю — одна весна прошла. Знаю!

Так и людям скажем..: Пойди лучше, милая, к тихой реке. Опусти свой венок в воду — судьбу попытай... — И старая исчезла неожиданно, как и пришла.

В ту воробьиную ночь под Ивана Купалу, схожую в чем-то с далекой, предпасхальной, не пошла Ольга на тихий плес со своим венком. Не было его... Не к тихому плесу — прокралась тайком к часовенке. Еще раз посоветоваться с прошлым, с утраченными годами и зрелыми теперь желаниями... Всю ночь блуждала по черным полям — так и не нашла белокаменного домика. А знала в этих местах каждый кустик. Только утром поняла, что случилось: и следа не осталось от каплички. От ветхости развалился или от молнии, а может, чьи-то руки уничтожили жестокого свидетеля клятв ее первой и последней любви.

«Вот такая она, первая, всегда...» — повторила кем-то сказанные слова. Скитаясь в ту ночь под дождем, простудилась, надолго слегла, а когда поднялась — все на свете стало безразличным...

Замуж так замуж. К Журакам так к Журакам. Нате, хоть сейчас берите ее, мертвую. Кто первый придет, пусть тот и возьмет.

Но отчего-то хотелось, чтобы первыми пришли Жураки.

Пришел же Семен. А Жураки не пришли совсем.

Заговорили в селе про свадьбу. Никто не удивлялся. Только пропел как-то Пригода, когда пасли вместе скот: «Доля ее такая...» Наплакалась...

И было венчанье, когда упала в церкви Журачиха. Была свадьба, когда на всю ночь завелись в драке парни.

Жить-то жили... Но с того времени, как пропал Данило, никогда больше не приходило к Ольге сладкое головокружение и та жажда материнства... Муж хотел, чтобы от него пахло ветром, а от жены дымом. Но не сбылись мечтания праведника. Не дымом — блудом запахла жена...

Мимолетный испуг исчез с лица хозяина.

— Чего уставилась на нас, Олюня? Подавай на стол, чтоб не стоял сиротой...

Ольга вернулась из кладовой с подносом, заставленным квашеным и копченым. Повеяло от женщины теплом, забытым уютом и чем-то невозвратимым, как уходящее лето и печальная осень.

Запахло в хате откупоренной сливянкой, чистый випокуренный спирт в графине искрился на свету.

Гость, щурясь от солнца, загляделся на пестрых синиц, что порхали по живой изгороди за окном. Подвел к окну вспотевшего Семку и стал рассказывать про птиц — вестников обновления природы. Цизорик в знак согласия кивал головой, словно конь, что отгоняет слепней в июльскую жару. А Ольга тонкими пальцами — гимназическая еще привычка — сжимала виски. Казалось, так легче понять необычное, ускользающее: в ней в эту минуту просыпалось какое-то сладкое волнение, что-то напомнившее вдруг ту, последнюю ночь с Данилой.

Солнце пригревало, птицы слетались на кусты изгороди, и трое людей касались друг друга, подойдя к окну, к синицам и еще к чему-то своему, потаенному....

Эта случайная близость, этот накрытый стол создавали в хате иллюзию доброго настроения, мирную житейскую картину. Она, коварная иллюзия, лукаво манила присутствующих забыться и забыть грозную сегодняшнюю реальность...

Мужчины отвели взгляд от окна и обильного стола, молча посмотрели один на другого и недоверчиво усмехнулись: иллюзия осталась иллюзией...

Тот из них, кто выбрал путь подлой измены, отвернулся первым, засуетился и сладко проговорил:

— Наслышан, наслышан, женушку мою так складно рисуете. Она о таком еще при Польше мечтала, да хороших, простите, маляров не было. А за такой талант не грех капельку выпить и в святой пост. Ну за вино, чтоб не скисло оно!

Подсели к столу. Выпили все — сначала наливку. Было заметно, что художник стеснялся в чужой хате, время от времени, уже без причины, посматривал в окно, последним начинал есть и первым заканчивал, застенчиво улыбался, изредка вставляя слово в беседу, что было непросто: сам Семка за словом в карман не лез...

Ольга тоже словно была в гостях: отмалчивалась, бледнела, выбегала куда-то без дела.

Уже катился пот с румяного лица гостя и пульсировал продолговатый шрам под правым глазом. Чувствуя это и пытаясь чем-нибудь занять руки, Довбеняк комкал в кулаке платок, прижимал к глазу. От неудобства, наверное, снял блузу и повесил на подлокотник своего кресла.

— Наливай, жена! Обычай дорогой, чтоб выпить по другой! Хе... хе... Теперь прошу беленького. Оно, понимаете, легче в горло идет, чем подкрашенное. Не люблю я краску... — Так и хотелось добавить — красную. — Ну, на здоровьице! А вы какой цвет предпочитаете? А то жена говорит, что... — Семка, опрокинув рюмку, закусил каверзным вопросиком, так и не договорив: «Москаль», как окрестил гостя, выпив, вскочил с открытым ртом.

«Смолы бы тебе кипящей!» — подумал, а вслух сочувственно затараторил:

— Поперхнулись! Горюшко! Скорее на крылечко! На ветерок! Олюня, водички! Сейчас, сейчас пройдет...— и слегка подтолкнул гостя «на ветерок».

Ольга с горшочком воды бросилась за Довбеняком, а Семка, вернувшись с полдороги, торопливо запер за собой дверь.

«Фу-у-у, хоть маленькая передышка... Ну и работка подвалила! Господи боже, мудрость твоя»... — размашисто перекрестился и, еще не уяснив, что делает, внезапно, всем нутром ощутил: вот она, еще одна во славу «самостийной», победа! И, закончив крестное знамение,

освободившейся рукой скользнул во внутренний карман блузы Довбеняка, а там, с обостренной чувствительностью, меж всяческими мелочами, пащупал плоский, круглый предмет. Вытянул осторожно, как змею.

«Часики? Для чего вытянул? Ага! Карманные... А зачем в блузе носит? Для них кармапчик есть в штанах, даже большевистских. Отчего Довбеняк их не так, как все, носит? Прячет? Ха-ха! Поймался, журавлик!»

Вспыхнуло в памяти словечко надрайонового шефа * Яремы Вира о пойманном журавле, и Цизорик сразу вспомнил дельное его замечание: все, мол, на свете разведчики имеют какие-то слабости. Бывает, не разлучаются с памятными амулетами: наградным оружием, перстеньком с инициалами, женским локоном, именными часами.

Не впервые думалось Цизорику, что и Довбеняк не только маляр, не впервые гадалось, что, может, и он носит при себе предательскую вещицу — железный большевик тоже, бывает, не без фантазий... И сейчас, по бесконечной милости божьей, случилось: держит Цизорик краснопузого в руках!

И в Семкиной голове, разгоряченной сумасшедшими надеждами и паническим страхом, толклись мысли, что вот поймался-таки Довбеняк, что имя его не то, местное, карпатское, всем в селе известное, а русское, азиатское... Случилось! Случилось! И он, Семен Цизорик, бесстрашный «рыцарь службы беспеки», совершит сейчас еще один подвиг...

Жадно рассматривал выуженную вещь, но и циферблат, и задняя крышка часов отсвечивали обычным, спокойным блеском отшлифованной стали...

Вместо пойманного журавля в руках ощутил Цизорик такой страшный груз, что почернело в глазах и затрещал хребет.

«А-а-а! Он нарочно туда часики... Боже мой! Зачем

* Надрайоновый шеф — главарь «службы беспеки» на территории района.

вытянул! Руки оторвать! Довбеняк он и есть Довбеняк, батрачище с Карпатских гор, а теперь на головушку лучших сынов украинских — и впрямь довбня» *. Семка застопал, будто ужаленный гремучей змеей, будто и вправду огрел кто по голове тяжеленным пестом. Даже зубы свело...

Гость вот-вот должен был войти.

Помутилось в глазах, и Семка выронил неблагодарную добычу, ставшую теперь слишком тяжелой. Он не чувствовал уже, держит ли часы в руках, но неожиданный стук упавшего на пол предмета вернул сознание. Нагнулся, словно сломавшись пополам, обдирая ногти о пересохшие половицы, схватил часы и, побледнев до голубизны, поднес к лицу. Казалось — сейчас пожрет... Зачем-то дохнул на заднюю крышку и только тогда услыхал: часы продолжали идти. Это живое тиканье помогло — задвигались непослушные пальцы, и Семка опустил «доказательство» на место, в карман гостя. И, как трудолюбивый косарь, первым прошедший загон, сел передохнуть, поджидая отставших... А уже через минуту не было уставшего работника — был хозяин праздничного стола в собственной хате...

Когда скрипнули первые, с крыльца, двери, он, уже нагнувшись над тарелкой, старательно резал на тоненькие ломтики светлый ржаной хлеб.

— Прослезились, хе-хе... Вот и прошло. Перепугался я — такой гость! Долго ли до беды?! Уж простите нас. А ты, Оля, чего не разбавила водичкой? Забыл я, что, прости господи, огонь чистый...

А гость, оттого ли, что опрокинул добрую чарку, или от чего еще, заметно хмелел, становился разговорчивым.

— Выходит, приключилась и со мной после наливки такая история, как с тем цыганом... Что ни воскресенье — идет в церковь на причастие, винца хлебнуть, да со всем

---

* Довбня — деревянный молот, пест.

выводком... Рассердился наконец святой отец и налил в чашу уксуса с перцем вместо вина. Выпил цыган, прослезился, бедняга, рта открыть не может, речи вроде лишился... Тут батюшка подходит к младшему, цыган не выдержал — откуда что взялось, — как заорет на всю церковь: «Ой, не давайте малому, а то взбесится...»

«Трень-трень-трень», — звенел колокольчиком смех Ольги. Она оживилась, расцвела.

«Хо-хо-хо», — насиловал себя Семка. Смех получался натуральным, только глазам не прикажешь: они, прищуренные, не смеялись. Пряча глаза от художника, терзался Цизорик невыясненным: на счастье или на беду залез в карман Довбеняка? Но беседу поддержать старался:

— А мне ваша история с цыганским причастием соседей напомнила. Во-о-он на той стороне дороги, правее нас. Хозяйствует там Руспн, живет с малыми внуками. Так его парнишка по наущению Пригоды такое вытворяет — накормил недавно, прошу прощения, старика солью! Тот самый Пригода, возмутитель, что не одну беду на село накликал... Никого-то не пожалеет, вот и не любят его люди. При Польше, бывало, столько страху из-за него натерпелись, не приведи господь! Ну за приятной беседой — еще по одной, с водичкой, чтобы Руспам и Пригодам легко икалось... До дна пьем, до дна! На донышке — молодые денечки... Хоть и вам и Ольге молодых лет не занимать-стать, все ваши. Пригоршнями хватай, да людям раздавай! — Семка краем глаза следил за обоими.

Выпили, закусили. Хозяин снова направлял разговор.

— Такое со святым отцом в вашем селе случилось, или вы из городских родом? — Пододвинул гостю лучший кусок. — Покорнейше прошу, угощайтесь. Свое — не купленое. При новой власти разжились... Кушайте...

— Много сжуешь — домой не дойдешь, — слегка натянул тетиву лука гость. Хозяин делал вид, что намек не доходит. — О причастии спрашиваете? Кто его знает,

где было... Из уст народа, народное, значит, творчество.

— Ага, понимаю. Хоть и неученые мы, а понимаю...

Хотелось Семке рассказать не такое, что и не знаешь, где смеяться. Повеселее, поскоромнее... Да не для того сегодня сидел за столом «рыцарь службы беспеки»...

— Раз уж зашло про уста народные, так начинать надо с прозвищ, имен, значит, что каждому из нас дали. Я, хе-хе, Цизорик, ножик такой, маленький, складной. Им, хе-хе, ничего твердого и не возьмешь. Ольга вон в девках писалась — Огнистая. Прозвище такое само на человека пальцем покажет. Тот — швец, тот — кузнец, а тот — турок... И тому подобное... А вы, если не ошибаюсь, будете, того... Довбеняк? — хотелось прикусить язык, одернуть себя: «Что затеваешь? Сам лезешь журавлем в руки?» И, усмехнувшись в замешательстве, снова наполнил рюмку до краев: — Имечко ваше — не с гор гуцульских, часом? Есть там похоже: Горак, Грицупяк, Вечерняк... Квартировал я там у хозяев прошлым годом, когда план по лесу выполняли.

— Как сказать, и гуцул я и не гуцул. По разным дорогам судьба носила. Когда-нибудь об этом узнаете,— гость подчеркнул последнее слово и отчего-то вроде смешался.

«Ага, товарищ дорогой, не ты меня — я тебя прижал! Мекать начал... Правда, и я мекаю, так ведь нарочно... Выходит — ехал в лес, а застрял под корчмой... — Засматривал Семка в освещенные солнцем глаза гостя, словно хотел вычитать в них что-то тайное, угадать мысли, страшные большевистские планы, но увидел только одно: глаза потеплели... — Э-э-э, растапливает-таки лед мое винцо-сальце! А кто вас кормить будет, как пустите с сумой по свету с колхозами своими?! Смотри — подтаял... — и сжимал ручки дивана так, что дубовые ножки ходили ходуном и Ольгу снова пробирал озноб. — Тает, тает... Вытаращился на меня, спаси боже... Вот-вот спросит чего-нибудь невинненько, по-змеиному... Надо же — жене ровесник! Молокосос! Спра-

шивай, спрашивай, все выложу как на духу! Тасшь? Еще с детства знаю: хуже нет на той дорожке поскользнуться, где над ледком — водичка... Две неполных выпил, третья через край пошла... Да, видать, у тебя на уме не разнюхиванье уже, а моя падкая на мужиков краля... Давай, давай, и я тебя пощупаю...»

Семка и сам не ожидал, что примут его мысли такой оборот: пригнулся, словно бросится сейчас с рычанием на жертву. Почудилось: глаза его, и так черные, стали обугливаться — зажмурился даже от боли... С трудом переведя дыхание, взял себя в руки:

— Может, закурим?.. — и пересел с дивана на кресло, поближе к цели, подальше от греха. «Врага на расстоянии лучше рассмотришь, да еще когда он пьяный...» — осенила Семку мысль.

А Пилип Довбеняк не был пьян. Не от выпитого заблестели глаза; страшное чувство овладело: будто в нем самом за этим столом столкнулись два разных человека. Художник и капитан НКВД. И первый, совершенно неожиданно, захотел одного — остаться здесь подольше. Еще до того, как с другой, яспой целью переступил порог Цизорпка, думал не только о ней и понимал — это мешает. Но проверить проверил: оставил хозяина наедине со своей блузой. Оставил неподозревающим... Несмотря на молодость, в людишках, подобных Семке, Пилип разбирался неплохо. Такие, забыв молитвы божьи, поборов животный страх, полезут ручищами не только в карман... Вот и выдадут себя с головой...

Да, Довбеняк был молод, но с беспечной молодостью расстался давно. В те времена учился он в Краковской академии искусств на тяжко заработанные родителями, бродячими актерами, злоты. Его арестовали за принадлежность к КПЗУ *, и вел себя студент на допросах, по мнению жандармов, «непристойно», и пытали его соответ-

---

* КПЗУ — Коммунистическая партия Западной Украины.

ственно — насмерть. А потом, убежденные, что «изменнику» не подняться и судить все равно будет некого, выбросили ночью «академика четвертого курса» на мостовую. Но он не умер. С окровавленной краковской брусчатки подняли Пилипа польские рабочие и положили в госпиталь.

Придя в себя на больничной койке, понял: выжив, он стал другим. Если раньше пламя только разгоралось в нем, то теперь бушевало с такой силой, которую не укротишь...

Через все кордоны пробился на Советскую Украину. Учился там в художественном институте, был призван в армию, а позднее рекомендовали его в ЧК. Мрак фашизма охватывал Европу, и нужно было не только заниматься искусством, но и защищать людей от гибельных бед.

Поседевшие асы с первыми орденами Красного Знамени на груди, знавшие еще Феликса Эдмундовича и его святые принципы тяжкой работы, приняли и полюбили Пилипа. Они угадали в молодом человеке этот редкостный сплав: человечность, кристальную честность, отвагу, умение холодно рассчитать дистанцию, ведущую к цели...

Именно с этим трезвым расчетом пришел он в дом Цизорика, оказался неожиданно «желанным гостем» и был посажен против света как допрашиваемый. Уж больно хотелось хозяину подсмотреть, чем выдаст себя «долгожданный»!

Сидел Довбеняк перед заклятым врагом, как перед добрым приятелем, ел его хлеб-соль, и не хотелось ему уходить...

Всякое бывает в судьбе разведчика. А в судьбе художника; особенно если сидит перед ним женщина, которую ценители славянской красоты мечтали бы запечатлеть на полотне?!

Но Пилип Довбеняк, любуясь освещенной весенним солнцем женщиной, думал и о другом: что ожидает ее,

жену врага, может, и саму невольно выполнявшую задания оуновского подполья? Ее будущее — искупающая проза, тяжкий труд ради хлеба насущного, далеко-далеко от поэзии искусства... И получилось так, что именно он готовит это ее будущее. Все зависит от того, в чем убедится, что выяснит, как доложит...

— Олюня, животинка наша как там? Ела ли, пила ли? — не просто, а словно зашифровывая слова, сладко пропел муж. Но Ольга не выходит.

«Хочет избавиться от третьего... Понимаю: так будет интимнее. Но отчего она не уходит?» — глянул на Семку и снова задумался. Мысли становились все более горестными.

«Что ждет эту женщину? Что ждет?!»

Сердце будто зажали в клещи.

«Не погибнешь! Не погибнешь! Я вытащу тебя из оуновской трясины! Ну взгляни на меня, взгляни...»

И она глядела. И как глядела!

«Какие глаза! Плечи... Руки... Она совершенна! Великие художники искали такую натуру. И может, изверившись, создавали ее своим воображением. А она передо мной — живая. Не погибнешь...» Но где-то в глубине сознания, как далекое горное эхо, сильнее мыслей и желаний возникли слова удивительного писателя, слова — горькое предостережение: «...тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского, то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество...»

И Довбеняк решительно поднялся, вышел из-за стола.

— Засиделся у вас, пора и честь знать! Благодарю за гостеприимство, хозяюшка! — сказал устало.

«Кто за шапку хватается — домой не идет», — подумал Цизорик, но гость, уже одевшись, уходил.

— И без блузы упарились, — двусмысленно ухмыльнулся Семка. — Жарковато у нас в хате, да пар костей не ломит... Люблю. Не знаешь, не ведаешь и как живут

люди в этих Сибирях?! — будто ненароком подкинул коварный вопросик. Рассчитывал: после такого удачного хода по ответу сообразит: знает ли чертов маляр об организации ОУН в селе и подозревает ли его, Цизорика, да и сам прощупает, что за мастер свалился им на голову...

Они стояли друг против друга. И, прощаясь, встретились глазами, как при встрече. В эту минуту все чувства Семена были обострены до предела, и уверенный взгляд Довбеняка он истолковал так: «Скоро узнаешь и на собственной шкуре...»

Свинцовой, грозовой тучей нависло молчание над Цизориком.

Хотел коварным вопросиком вселить в себя уверенность в победе над подвыпившим чужаком и тут же уведомить надрайонового шефа о сделанных выводах, а вышло иначе: стоял перед ним человек, выпивший не одну чарку в его хате, и был человек трезв, уверен, спокоен.

А после того как не ответил Довбеняк на «вопросик», понял Семен, что не он, а его прощупывали, что его подпаивали в собственной хате; что, может, и внезапный кашель, и страшные часики, все, все только какой-то коварный, не разгаданный им маневр...

«Так-так, выходит, хотят большевики убедиться, кто я есть. Не-е-ет, не только... Еще вызнать хотят — кого уведомить пойду. Кому сообщу о выводах. И комсомолы ихние, шкуры продажные, подследят... И всех нас — на одну веревку... Потом, потом мыслишками раскину. А сейчас яко агнец, яко агнец...»

Семкино лицо перекосила злобная ухмылка, словно дернули его внезапно за клыки. От уха до уха, вверх-вниз...

Поздно сообразил Цизорик, что перед ним человек тонкий, прекрасно владеющий собой. Поздно. И вдруг почудилось — набросили уже на шею петлю, что принесли за пазухой, осталось только при случае неожиданно затянуть...

Давно ушел гость, давно прибрала со стола Ольга, когда Семен подозвал жену, сам отчего-то не мог встать с кресла, и шепотом, сквозь слезы издевательски сказал:

— Завтра на маленье пойду сам... А ты собирай, Олюня, теплые вещички... Собирай — Сибирь-страшка не Галиция...

ГЛАВА ВТОРАЯ

С той поры как принес Олекса Пригода с итальянского фронта в родную хату руку на перевязи, мог бы уже и состариться... И душа давно оттаяла бы в тихой жизни любимца при родителях, и в ус, может, не дул бы, вспоминая бывшее в чужих далеких горах, если бы пришло простое, человеческое счастье... Растить своих детей, под старость — внуков, жить надеждой на единственное, что останется после тебя... Но за годы, которые отшумели после войны, не встретил на белом свете Олекса такого счастья. Двадцать лет назад, очухавшись от смрада окопов и ужаса атак, уже немолодой, женился на соседской Насте, хорошенькой и ласковой шестнадцатилетней девочке, да так и остался бездетным.

Уходила ночь за ночью, весна за весной, сыновья погибших ровесников успели вырасти, а Олексе все казалось, что почи и весны уносят не его лета, что он молодой — вот-вот недавно шагал с искалеченной рукой к дому и все у него впереди... И так ночь за ночью, весну за весной, живя тайными от людей мыслями, он не старел, хоть во все годы не проспал по-человечески и одной почи.

А помнившие Олексу в юности поговаривали: ничего-то прежнего не осталось... Но соседские пересуды мало огорчали Пригоду. Сохранил он ежеминутную веселую готовность смеяться, иногда и сквозь слезы, и святую фронтовую веру в то, что пить — умереть, и не пить — умереть... И был убежден: горе и радость не за-

одают, а запить их вполне возможно — вот и страдал больше всего, оставаясь на сон грядущий без запаса горячительного.

С вечера Пригода вроде бы заснул. Но среди ночи проснулся от знакомого приступа жажды и духоты в хате. Тишина. Тьма. Крепко спят жена, мать. Ни шороха. Не для него это безмолвие. Казалось, тесно в хате разгоряченным мыслям. Набросил кожушок и, задыхаясь, выбежал во двор. По-детски всплеснул руками, радуясь, что и на этот раз не проспал первого весеннего чуда... А ведь рановато повеял с Балкан теплый ветер, с южной стороны села на речке Нарае гулко трескался лед, на низменности возле пруда, в оврагах под Скалой звенела вода. А вокруг Пригоды — безмолвие. Только над верхушками лип Грипчука и еще выше, где-то далеко-далеко под блеклыми, промытыми первым весенним дождем звездами, словно неразборчивый крик боли, принес крылатый ветер неба из теплых краев диких гусей.

Село спало — до единой души... В крошечных мирках перин баюкали люди дрему. А его неотступные сны не мог вместить и этот просторный, для него отчего-то тесный мир. Не мог заглушить ни то странного желания, ни то тягостного предчувствия. Казалось, растут крылья, и вот-вот взлетит он туда, в бесконечный простор. Замирало сердце. Отчего-то вспомнилась Италия — и прокрадывался страх из далекого, изрытого окопами прошлого...

И тут приходило неясное, но искреннее чувство, что никогда уже не оторваться от этой, сегодняшней, жизни, вечно будет ему тесно в широком мире и не наведешь моста туда, где кто-то, надеясь и веря, ожидает его... И тосковал, вспоминая молодость. Рывком закуривал, но легче не становилось. Тихонько прокрадывался в хату, на ощупь шарил за поставцом, где не раз прятал в хитрой захоронке свое спасение: горькое зелье в граненой бутыли, заткнутой кукурузным початком.

За полкой пусто. Женщины спали. Пригода знал: их рук дело. За три дня его настроение чувствуют. Вот и перепрятали — на любые хитрости идут...

Что же делать?

Знал: иногда помогало другое, не такое верное, да и не безопасное лекарство — марш-маршем отшагать подальше от села. Но сейчас, чем быстрее и дальше уходил в ночное безмолвие, тем напряженнее метались разгоряченные мысли. И Пригода подумал: вот так когда-нибудь разорвется на этой дороге сердце и придет конец... А хотелось ему жить долго, хотелось всегда быть среди людей, хоть они, не понимая, зачастую так больно обижали...

Домой вернулся на рассвете, весь в грязи, как легавая собака. Прилег и снова увидел то, что снилось вот уже двадцать лет: высокое небо Альп, и он, Пригода, птицей в бездонной голубизне, а внизу родное село, зацветающие липы Гринчука... Скоморохи... Маленькие, крохотные... Такие маленькие рядом с этой высью...

Проснулся. Мучила жажда. Вышел во двор. Хлопоты по хозяйству отвлекали, и Олекса наколол целую гору дров. Закончив, выложил поленья большими белыми башнями. Пусть надышатся ветрами, наглядятся на солнце, почернеют от дождей. Тогда зимой, в печи, не будут плакать, умрут без сожаления. А пока и люди не пройдут равнодушно: чепуха, любовно сработанная на чужом дворе, веселит, греет доброго человека. А недобрый пусть позавидует...

Вот и мать выбелила стену, обглоданную метелями, подровняла завалинку красным, по шнурочку. Оконные рамы запахли свежей олифой. Пригода настежь распахнул ворота: смотрите и добрые и завистливые...

Выпил горький по-фронтовому кофе, снова вышел на подворье и столкнулся с надутым важным индюком. Распустив хвост, сварливо болбоча, шествовал он с огорода, как пират под цветастым парусом. Пререкаясь, от-

правились вместе в кладовую за пшеном, потом вышли за ворота.

Пора была бездельная, в поле мокреть, люди шатались по селу взад-вперед, чтобы не торчать зря у дороги. Шагает вон, мелькая круглыми коленками, Зося Зелинская, лужи обходит. Девка в соку, словно гибкая березка, охваченная пламенем. Белокурые до пояса косы, толстые, как вальки для белья, лицо нежное, розовое, а на тонком стане юбка полыхает красными мальвами. А девка-то ко всему прочему еще и полька!

— Зося, — голос Олексы леденеет, — Зося, не дай бог, село подожжешь. — И делает вид, что шарахается в сторону. — Бегу к твоей зазнобе, к Федю, пусть поможет на сполох бить, воду со всех криниц таскать на пожар вселенский...

Не выдержал, оглянулся, подмигнул индюку, а тот, яростно забормотав, кинулся за красными мальвами и долбанул девку в икру.

— Чтоб неповадно было тихих соседей баламутить цветочками своими! — отогнал индюка, сдерживая смех, и направился ко двору Пидвезенных. Но тут же, словно растерявшись, подался обратно: навстречу вышагивал, насвистывая, Вавр Цебрик, в галифе, с красной папкой для бумаг под мышкой. Негоже Олексе, словно шалому коту, перебегать дорогу человеку, хоть Вавр и похвалялся на людях, что ни в какие приметы не верит.

Вызвался в свое время Цебрик добровольцем на финскую, и хоть уже через две недели объявился дома, такие страсти парассказывал, что никто ничего подобного и за две свои жизни (на том и на этом свете) не услышит...

Слушал тогда Пригода россказни Вавра, слушал и сказал: «Если ты, человече, одним махом всех беляков положил, так с кем же наш Байда да тысячи других целую зиму бились?!»

Только собрался Цебрик дать достойную отповедь, как имя его выкрикнули в президиум собрания; правда,

выдвигали его богатеи, народ предусмотрительный, бедпота помалкивала... Таким вот образом уселся «герой войны» во все сельские президиумы. А тут еще какой-то недалекий райисполкомовский деятель прельстился гуденнем пустой бочки с двойным дном и, не мудрствуя, сосватал Скоморохам цепного Савра председателем сельсовета.

— Все дребезжит Савр... Бывают часы такие: одно показывают, другое бьют... — Не раз говорил Пригода односельчанам и добавлял, что так-то оно так, брехни на свете хватает, да правда одна: наслышан от Байды, что направили отчего-то Савра в часть, которая дошла до фронта в день замирения с фашпами...

Вот и подумал сейчас Пригода, что не умудренный боевым опытом Савр идет насвистывая, с папкой под мышкой, и кто его знает, чья возьмет, как сойдутся с ипдюком?.. Сельская общественность знала, что любимец Олексы авторитетов не признавал, а уж если кто свистел, мог кпнуться прямо в лицо. Все помнили, как пернатый разбойник долбанул в глаз Гната Думпаля. И теперь Олекса на всякий случай шугапул ипдюка, скрипнул за ним воротами, откашлялся, приготовившись поздороваться, и сказал себе: «Голова с поклоном, язык с приговором, ноги с подходом...»

Даже такие люди в селе, как Савр Цебрик, не рискнули бы не заметить Пригоду; к тому же — день, что ли, хороший? — он поздоровался первым.

В ту минуту, когда Олекса произносил «доброго здоровья», где-то высоко, над вершинами Скалы, в косом из-за туч луче снова почудились ему белые крылья, и послышался тот, далекий, почной крик.

— Гляпь! Там... Летят. Белые... Куда уставился, Савр? В небе вон мелькнули. Смотри, как дорогу себе проложили. А Скоморохи наши чего-то стороной миновали. А?

— Чего вам, не понимаю! — Цебрик недовольно посмотрел на Олексу и поправил под мышкой папку.

— Так крылья же белые... В небе. Плывут. Домой возвращаются битые ветрами бедняги. Из теплых краев, понимаешь?!

— Что это небо вам далось?! Лучше под ноги смотрите, а то были такие, заглядывались... Извиняйте — тороплюсь!

— Соображаю, Вавр. И что нет времени вверх глянуть, и что об этом твоя родная мама всему селу уши прожужжала. Сочувствую... — сокрушенно кивал Пригода.

Дмитро Сыроветник и Илько Коруна шли из лавки, бережно держа отрезы пестрой ткани. Потратиться же на магазинный табак не решились, и Пригода угостил их доброй горстью самосада. Задымили толстенные самокрутки.

— Хорошо, люди. Хорошо, что хватает денег на обновы дочерям к празднику, а остальное ерунда! — разъяснил Олекса подошедшему к компании Грицу Ковалю, тому самому, что видел собственными глазами, как немецкий линкор «Шлезвиг Гольштейн» саданул из всех орудий по Вестерплятте, польскому порту под Гданьском. Вот тут и заварилась вторая мировая. Воевал Гриць с немцами на этом недельном побоище. Теперь же как чумной слонялся по селу без дела, а ведь был хорошим кузнецом. И сейчас подошел к Пригоде тоже так, просто отвести душу с понимающим человеком. Вот и накурились, напечалились, навспоминались и пошутились.

Только отошел Гриць, из-за плетня вынырнул вспугнутым зайцем Петро Форпаль. Вылитый заяц: уши подвижные, нос будто принюхивается, сам — словно на бегу остановили.

— Стоите, кум Олекса?

— Ну стою. А что, горит где?

— Да нет. Знаете, все село обошел, люди со двора на двор посылают. Имеют, а не продают. Мне, понимаете, нужно...

— Женитесь, кум Петро, еще разок, вот и получите, чего и не нужно. Знал я одного. Так он к жене зятя приставил; а сам...

— Не смешите с утра, кум, веселиться-то пока нечему, — перебил Форпаль. — В-он, к соседу вашему направили, так и он заладил: не продаю. Говорит вроде у вас есть.

— Видать, вещь вам нужна секретная, политичная? А? И у кого спрашиваете? У того, кто и свое в той Италии потерял? Кройте вон леском к Федю Яцкову, он уже всем соседям поодалживал...

— А чтоб вам, Олекса! Х-ха-ха! — кум смешно морщил нос — точь-в-точь заяц. — Скажете тоже, не приведи господь, еще при молодицах... Голубей ищу, жене обещал. Птиц, понимаете, божьих... Так и вправду продаете?

— Девать же некуда! Хоть десяток берите! И дикие есть, и сипяки, и... Только разлетелись сейчас. Весна, женятся все. Две остались дома, так, старье. Обратно удерут. Вам же молоденьких нужно, Зосек, одним словом. Ладно, соорудим. Вечерком несите клетку, жену на подмогу берите. Вот и переловим. Ну доброго здоровья! Пойду.

— Где же клетку такую взять, чтобы оно, значит... — семенил за Олексой Форпаль.

Пригода делал вид, что спешит, но остановился.

— Память у вас девичья, кум Петро. А в чем свинью на базар возили? Еще отдали задаром бедную Мортке Шейвину в Подгайцах, потом лошадей у корчмы остановили, а Юлька ваша в этой самой клетке почью вам семейное внушение произвела. А?

— Было вроде... Да-а, годы молодые... Теперь-то она добрая. А не великовата клетка-то для голубей?

— В самый раз. Помнутся иначе. Божье создание простор любит, как на небесах... Тяжеленькая, конечно, клетка, да, думаю, вместе с женой управитесь.

Эта встреча заметно улучшила настроение Пригоды,

и к тому же до появления Форшаля с женой и клеткой было еще далеко...

Жажда мучила — он таился от жены и матери. Но не выдержал, спросил, будто между прочим:

— Куда задевали? Хоть граненую, хоть круглую?

Женщины делали вид, что не понимают.

— Распрекрасно вы, мама, знаете! И сердце у вас доброе, и сын единственный. Скоро Олекса теплый — день рождения мой. И покатятся у вашего единственного года, как с гор вода, к концу. А придет конец — пращай молодец... — Голос Пригоды звучал глухо, и на хату будто опустились печальные сумерки.

Даже самому стало тоскливо, захотелось веселым шумом разогнать невольную грусть.

— Эх, идемте, мама, вприсядку! — И запел в голос:

Ой, по горкам, по долинам пшеница рядами...
Где на свете хата лучше, чем у моей мамы?!
Если тут не погуляю, у чужой не стану, —
Чем же годы молодые я потом вспомяну...

И легко вертел мать вокруг себя.

— Вот так, мама, вот так, с притопом. И коломыйку и гопака! — Шел по хате вприсядку — горшки с цветами вздрагивали.

— Гоп-попа, гоп-попа, нету денег у попа, попадья же дошлая — замотала грошики! — гремело, как на шумной свадьбе.

— Бога побойся, сын, — еле перевела дыхание мать. — Пол проламываешь, горло дерешь. Увидит кто чужой, скажет — жену колотит...

— Затянул песню, допевай, хоть тресни! Не перестану, люди добрые, не перестану, пока не принесете любую: хоть граненую, хоть круглую, — стоял на своем Олекса. — Или паша на стол, или червонцы выкладывайте — тогда и конфет принесу, тех, с холодком. Как, значит, угодно...

— Закопала мама твое зелье, как в прошлом году, — жена наконец не выдержала, отозвалась. Так искренне сказала — сразу поверил. И, уничтоженный сообщением, вышел из хаты.

Пока курил одну за другой, обдумывая положение, солнце расснялось в зените. Распогодилось и на сердце. Олекса занялся поисками, руководствуясь старым фронтовым опытом: редко попадает снаряд в один и тот же окоп, и не следует искать там, где прятали ранее.

— Виват! — только и сказал, когда вдруг нащупал искомое в кадке с квашеной капустой. Удача развеселила, хотелось шутить, и Пригода обратился к грапепой: — Ну и напугали человека, думал, и вправду закопали тебя, бесценная. Даром пол-огорода перелопатил. А может, не совсем и даром: вон соседушка наша, отрада рыжая, набралась у меня ума-разума — роется и роется в своем огороде...

И решил Олекса прикинуть, как разыграет он вечером перед односельчанами занятное это приключение, если, конечно, уцелеет после неминуемой встречи с Юлькой Форналь...

— Ты, кадка с огурцами, будешь вместо дяди Руспна, — распоряжался в кладовой Пригода. — А ты, капустный, будь заступником и спасителем нашим Василем Жураком! А ты, с мукой, а ты, а ты...

Так собрал он порядочную компанию, и можно было начинать повествование:

— Ну послала меня мама сегодня на огород хрена накопать. Пошел. Копаю. Пету и пету... Землю уже руками гребу — корешок вроде померещился. Уходить собрался, а тут выбегает на межу Башовская. Я — в яму, как в Альпах. Баба же эта куда страшней, чем итальянские капонерки. Дрожу. Думаю: сейчас этой крале почудится, что мало межи у меня оттяпала. Перекрестился. Жду, авось пронесет. Нет, узрела: «Бог помощь,

сосед! Сами вспахали? Без коня? Под картошку уже?» И чуть не вслух думает, я же вижу: «Чтоб ты колом стал! Чтоб картошкой удавился, чтоб тебе и голову отшибло».

«Спасибо, дай и тебе, боже! — отвечаю. — Под картошку, Гапя, копаю. Радио у Зелинского передавало — засуха идет, вот и хочу напоить получше».

Сказать не успел, смотрю, бежит Башовская уже с заступом. Даже подвязаться вечным своим платком успела, не баба — скелет, и морда тухлая... Как стала одинешенька копать, так до вечера не меньше морга испакостила. Был огород, а стал пересеченная местность... Нету счастья без зависти!

Не верите, что морг? А сходите, Фома неверный, своими глазами полюбуйтесь. Да гляньте заодно, есть еще где моя межа? Может, Ганька на том месте при лунном свете свою картошку досаживает?!

Раздумывая, как бы позаковыристее закончить рассказ и посматривая через окошко на соседку, орудующую заступом, Пригода с наслаждением вдыхал капустно-огуречный дух.

— Как есть рай! И закуска под руками. Дай боже здоровьица маме на многие лета, чтобы еще не одну посудину мне на черный день припрятала! И жене, конечно, благодарность. А уж Гапе нашей земной поклон, будет теперь чем повеселить честную компанию...

Вот, люди добрые, какую власть имеем! Были да сплыли вместе с панами проклятые те межи, Гапя. Копай, рой, дурная твоя голова! — Олекса загляделся на вечереющее небо и насвистывал модную теперь «Катюшу». — Да! Год уже целый так хорошо думается мне о нашей земле. А как тогда думалось, при панах-ляхах? Посчитал: семь раз били — в три года раз. Вот и сообрази: не то мало, не то много для меня, мужика... Такие, значит, мысли были.

Первый раз пришли в девятнадцатом. Сечевые стрель-

цы *. «Дезертир?» — спрашивают. «Нет, ваше степенство, я свою чашу до конца выпил». — «Так, говоришь, за цезаря ** воевал? За угнетателя? Чего не удрал? Тут отчизна-неньку кровью истекала. Самое время было Украину соборную строить. А такие вояки дерьмовые проворонили... Дать ему двадцать пять шомполов. Для науки...»

Потом другие пришли. Опять спрашивают: «Ты, мужик, кто?» А я ученый уже и говорю: «Извиняйте, дезертир...» Тут они: «Ага, значит, сто чертей, будь рука у тебя здоровая и взяли бы в войско державу великопольскую от коммунии защищать, ты, сукин сын, домой бы сбежал?! Двадцать пять твари!»

Еще одни пришли. «Русин *** будешь?» — «Извиняйте, нет, украинец». — «Ну, значит, стрелял в Бронека Перацкого ****?! Дать ему украинца!» Ну и били!

Потом из дефензивы ***** пришли. «Русин?» — «Русин, — говорю, — и еще соседа имею, настоящего русина, с усами...» — «Так он же большевик опаснейший, он же, падаль, еще над нами смеется! Мало двадцать пять... За того удвоить, за усатого!»

А когда в селе услыхали от Башовской, что «есть он опаснейший большевик», почью «свои» пришли, из ОУН. «Так кто ты, говоришь?» — «Уж и не спра-

---

* Сечевые стрельцы (УСС) — националистический легион, созданный в 1915 году. Был составной частью австрийской армии. Впоследствии принимал участие во временной оккупации Советской Украины, служил ЗУНР и Петлюре. Позднее часть УСС перешла на сторону Красной Армии.

** За цезаря воевал — титул австро-венгерского императора Франца-Иосифа. Галиция входила в состав империи, и галичане призывались в «армию цезаря».

*** Русинами (русниками) называли украинское население бывшей австрийской части Западной Украины в официальной литературе того времени.

**** Польский министр внутренних дел Бронек Перацкий был убит в 1934 году при участии Бандеры. После этого по Западной Украине прокатилась волна белого террора.

***** Дефензива — охранка в буржуазной Польше.

нивайте, бейте сразу, прошу!» Вот эти били так били, не запомнил даже — сильно или не очень. Парень совсем, Данило Журак, царство ему небесное, прибежал на женский крик, водой отлил... Вот от всех этих панов такие мысли, значит, только и были... — и его левая, давно искалеченная рука зло дергалась...

— Кабы еще чарку кто припас, а то перед светлым праздником да из горлышка... — исподтишка, словно кот с краденым салом, оглядел кладовую. На глаза попался долбленый липовый ковш, в котором любил сбивать масло большой деревянной ложкой.

— Чем не чарка? Жаль, правда, жидкости только на дне и будет... Такую посудину непременно и опрокинуть — недаром казачество запорожское этакие наперстки, до краев полные, одним духом опорожняло. Ох, господи, перевелись люди наши в австрийских окопах! — и приложился к ковшу, приговаривая: — Уже... не уже...

Заметно повеселев, сказал:

— Душа сама меру знает... — Но приложился еще разок.

В вышине, в вечернем небе, снова затрубили дикие гуси. Мысли Олексы сталкивались друг с дружкой в каком-то звонком фейерверке, путая прошлое с настоящим. Закурить бы! Схватился за карманы: все ли на месте? Будто все. И трубка, и зажигалка там, где положено. Все вроде в порядке. А кисет пустой.

— Пойду к Русину. И дымит крепко, и человек веселый. «Вот будет смеха, как помру», — точнехонько так, как в добром настроении говаривал сам Русин, передразнил родного дядьку Пригода и подумал: такого быть не может, чтобы вышел табак у старого скупердяя. Эге, скуповат дед, а чему удивляться? Так всю жизнь бедствовал, что и теперь, в добрые времена, над всем трясется...

Мысли Олексы прервались: испуганная мать заглянула в приоткрытое оконце.

— Мама, коровы есть просят. А я пошел к Русину.

Может, в читальню зайдем, про политику послушаем. А потом вареничков со свежим маслом съел бы... Ну, не скучайте.

Неожиданно пришлось задержаться в сенях у Русина. Сразу не войдешь: у самых дверей, перетащив длинношеий стол из хаты, расположился для трапезы приземистый седой Матвей Русин в излюбленной своей короткой безрукавке-камизельке, не закрывающей широкий ременный пояс.

Пригода особенно любил разговаривать с дядькой, когда тот разоблачался до безрукавки и становилось видно самое разнокалиберное снаряжение, что свисало с пояса на ремешках и цепочках: и крепко памятная еще по Италии трубка из явора, и ключи самого разного происхождения, и щеточка для усов с гребешком, и трут с диковинным кресалом, сделанным из замка немецкого пулемета, и, главное, почерневшие ножницы. Имп-то каждое воскресенье приводил Русин в божеский вид добрую компанию лохматых говорунов — молчунам дорога сюда была заказана: платили за стрижку очередной свеженькой историей...

Не один сельский остряк прохаживался насчет дедова снаряжения, не упускал случая и Пригода. Но для него каждый бряцающий на Русиновом поясе предмет был когда-то тем первым колодезным журавлем, что встречал на пыльной дороге, когда иссохший от жажды, полуживой, но такой молодой, возвращался он с войны в отчий дом...

И сейчас Матвей Русин, позвякивая своим знаменитым снаряжением, с удовольствием взирал на только что снятую с печи, дымящуюся в глиняной миске затируху — сварена она на молоке коровы, не какой-нибудь, графской! Сам пан Мациборский драпанул в Румынию, бросив на произвол судьбы свою землю, коров и даже любовницу Юзю, — вот общество и раздало пашню и сливочки бедноте, а вопрос о Юзе так и остался открытым... Но, поглядывая на миску, не упускал старик

из поля зрения и внука Яську и костыль, что стоял рядышком, у притолоки.

— Столы раздвигаете, вуйко? * Не свадьба ли, часом, ожидается? А пока вечер вам добрый и ужин вкусный! Видать, попал я, как Гершко на мельницу...

— Будем, будем молоть, была бы вода добрая! Заходи, Олекса, не тебя одного, а и сватов усадить можем... Дочку-то, чтоб ей хорошо было, выдали, глянь, уж и внучка запевестилась... — Строго и многозначительно старик поглядел на вошедшую девушку.

Тетка Василина, моложавая и проворная, хлопотала на кухоньке, а внук Яська, в дальнем от деда углу, подпрыгивал на стуле, словно насыпали ему углей в штаны... Пригода понял: парнишка подстерегает удобный момент, чтобы проскочить в дверь мимо старика, но тот начеку...

Русин держал в руке почти полный стакан сахара, будто хотел взвесить. Сало и сахар в этом доме, если уж попадали сюда, испокон веков были на замке. Но с прошлой недели, прослушав по радио у соседа Зелинского, как обстоят дела на свете, стал дед каждое утро выдавать на семью двойную норму сладкого — два стакана. Сейчас все поужинали, а на долю Матвея, что задержался в селе, осталось вроде бы многовато... «Объелись, видать. Не уменьшить ли?» — отражалось на его лице.

Старик взял из стакана пол-ложки и рассеял над миской так, как делал над парующей пашней: равномерно и бережливо — всегда был добрым, но бедным сеятелем... И казалось: не ложка в руках — борона...

И померещился вдруг Пригоде хмельной запах весны, что-то давнее, позднешнее. Еще больше захотелось курить. Но, предчувствуя смешное происшествие, не хотел отвлекать лишними разговорами. Взял на колени

---

* Вуйко — дядя. В некоторых случаях — уважительное обращение к старшему.

нестрого котенка и уселся тихонько — будто он не он...

Русин размешал свою затирку еще раз. Гляпул украдкой на Олексу. И досыпал ложку с верхом.

Уважительно, с достоинством начал есть.

— Василина, слышь, — хрипло позвал после нескольких глотков, — подойди-ка. Чего ты сегодня рассола перебухала? Горечь одна. Чисто шрапнель — пасть разрывает...

— Да такого, как всегда, с той поры, как не сглазить бы, коровкой разжились, — с гордостью сказала не столько для мужа, сколько для гостя тетка Василина.

При слове «шрапнель» глаза у Яськи стали круглыми, и, видно, не в силах сдержаться, мальчик громко прыснул.

— Кот! — поспешно сказал Пригода. — Да разве вежливо, на коленях сидя, чужого человека обчихивать?! А? Слышите, вуйко? Котик-то ваш, видать, простудился, бегаючи... Видел, видел, как Мурка Башовской заманивала его в кусты. Вот и вы породнитесь с такой шляхетной и ласковой панной...

Дед, слушая болтовню, тяжко кривился, а кот, подремывая, мурлыкал. Потянуло ко сну и Олексу.

— Остатком подсластить, что ли...— сказал про себя Русин, словно оправдываясь перед кем-то. Слов о тяжелом состоянии кота, соучастника шалостей внуков, будто и не услышал. Поколебавшись, опрокинул дрожащими руками стакан над миской.

— Тьфу! Рехнулась старуха сегодня, — через силу проглотил то, что было во рту, отодвинул еду и, взяв костыль, шагнул к Яське. Но Пригода, словно ничего не произошло, мирно спросил:

— Уже наелись, вуйко? — и как бы случайно оказался на дороге Русина.

— Эх! — старик плюхнулся на стул, где не раз лежал «вверх дном» Яська. И, еле сдерживая петушиную злость, ответил: — Как же, наелся... Перехотелось чего-

то. Убери, старуха. На потом. Не имеешь ли, Олекса, чем носогрейку набить?

— А я, вуйко, за этим к вам пришел. Табачок-то у меня остался, да знаете, перед теплом и табак и соль отсырели в хате, — Олекса нажал на слово «соль», — вот и понадеялся у вас раздобыть сухого... А?

— Пошли, что ли, в село, раз такое дело, — на этом согласились, а тетке Василине Пригода сказал: — Сегодня в читальне оркестр шпарит, вот мы и вспомянем годы молодые, врежем по паре краковяков. А раз тряхнем стариной — так накиньте на гуляку кацабайку *, возвращаться-то поздно. Заодно аппетит нагуляет... — И, пропуская Руснна вперед, заговорщически подмигнул Яське: «Вишь, пронесло. Проучили-таки старого ключника!»

Пока дед ходил за шапкой, внука и кота словно ветром из хаты сдуло.

— Может, снова такого встретим, что день папиросы курит, а три — самосада выпрашивает, — начал за воротами Олекса. Захотелось отчего-то к горькому настроению старика добавить и своего, несладкого, да на другой горечи настоянного...

Дальше шагали молча. Нужно было идти по узенькой тропке вдоль рва — посредине дороги еще блестели лужи. Опускался туман. Пригода, насвистывая коломыйки, шел впереди, Руснн, налегая на костыль, спешил за приятелем. Вдруг, споткнувшись, Олекса обнял придорожный куст сирени.

— Кренделя выписываешь, Олесь. Чарки три опрокинул? — голос Матвея добрел на предвесеннем буйстве.

— Одну, вуйко. А дошла до сердца.

Уже и до лавки рукой подать. Из читальни вправду доносился приглушенный стенами вальс, и Олекса прибавил шаг. Миновали сельсовет. Тишина. Поздний час.

---

* Кацабайка — верхняя домотканая крестьянская одежда.

Темные, незрячие окна. Пригода, сняв шапку, поклонился.

— Доброго вам здоровья!

— Так ни души живой нету, — удивился Русин.

— Сам вижу. А добро, что Советы дали нам, гляди, вон в названии дома сего... Мне такое и не спилось...

В небе трубили гуси.

Друзья повернули мимо лавки к заднему входу в читальню. Кто-то неожиданно распахнул дверь — в клубах пара загородила проход чья-то коренастая фигура. Олекса безошибочно опознал в ней Луця Нарытника, человека богатого, бывалого, не привыкшего никому уступать дорогу и на тропках поуже. Да, видать, Советы и Нарытника вразумили: прикался к косяку, пережидает, пока минуют его какие-то шумливые братцы-голодранцы — теперь не повеличаешься перед людьми своими достатками...

— Эй, пан-товарищ Луць, негоже задом поворачиваться к соседям своим, да к тому же и родственникам,— усмехнулся Пригода, остановившись против Нарытника. Олекса был на голову выше коренастого богатея и, шутя, дунул, как кузнечный мех, на черные непокрытые волосы Луця.

— А, это ты, Олекса? — Нарытник, словно ветряк, оставленный без помола, медленно, нехотя поворачивал крылья. — Прощения прошу. Я-то думал: сосунки какие горланят да высвистывают, как их, марсельезы эти новомодные... Что-то и вы помолодели нынешним постом, вуйко Матвей. — Луць разглядел за Пригодой задранный, как на вёдро, нос Русина. Прежде нос вечного просителя мучицы перед великопостными днями был унылым, как на слякоть... И повторил с издевкой: — В нынешний, значит, пост...

Олекса разглядывал зал, а обращался к Нарытнику:

— Добрая у людей забава, а врагов пусть кондрашка хватит. Радуется, веселится народ, да и есть от чего. Если рассудить, пан-товарищ Луць, так после светлых

деньков при Хмельницком и одной ясной ночки с Олексой Довбушем * земля наша такого не видывала. И не очень, понимаете, удивляюсь, что вовсю отплясывают пышные... э-э-э... политики: батрачия, дворня панская, комсомолы... Все больше к Ивану Голубцу присматриваюсь. Кацабайка сеном да соломой украшена — видать прямо от стойла прибежал. Вырвался, выходит, от скотинки. А человек он разумный, тихий и достаток кое-какой имеет. А? Конечно, может, и скажет кто — радость такая не для всех... И в пресветлую ночку Довбуша разве не скрежетали некоторые зубами? Скрежетали, точно. И сейчас у кого-то клыки свело. Скрежет изрядный. А мне, пан-товарищ, не очень он и слышен, потому вон взгляните: такое выделывает ногами Иван Голубец, так чертовски в свои пятьдесят Зоську Зелинскую вертит-крутит, что бледнеет девка... Ну и на меня, если милость ваша будет, гляньте. Я-то их понимаю.. Еще дед мой, дьяк, как отменили в сорок восьмом барщину, от радости великой на самую пасху... Что? Слыхали уже, говорите, ну, значит, наслышаны и о том, что в лавке нашей товара полно. Вот какая жизнь настала у бедного мужика! Спички и керосин совсем задарма Советы продают. И половина женщин в наших краях — в справных юбках, в шелковых кофтах...

— Ай-яй, дождался Олекса дармовщинки и керосинчика сорокаградусного, — по-кулацки тонко намекнул Нарытник на Олексину слабость. — И спровадит тот дармовой керосин тебя вместе с поганым твоим языком туда, где и градусы не согреют. — Луць кусал губы. Пригода отлично видел это: в читальне, слава богу, не жалели света — шесть двенадцатилинейных ламп сотворили в клубе белый день, курильщики жгли по три

---

* Олекса Довбуш (1719—1745) — батрак, пастух, возглавил восстание опрышков — беглых крепостных крестьян, предводительствовал в антифеодальной борьбе, громя помещичьи усадьбы.

спички на цигарку, а развевающиеся в танце юбки словно обжигали полы Луцева кожуха. И видно было — от всего этого готов Нарытник оглохнуть и ослепнуть... Через силу сказал:

— Начал ты, Олекса, про соседство наше, про родство. И рад бы, да не дал бог ни родственниками, ни соседями считаться.

— А по Гринчукам? — Русин с удовольствием вставил слово в беседу, ставшую ему наконец понятной. Он просунул свой грабовый костыль в двери, собираясь войти в читальню, но Пригода стал на дороге.

— А по Гринчукам?! — повторил со скрытым значением Олекса и, взяв Луця деликатно под руку, повел, как ведет кавалер даму, приглашенную случайно на танец и любимую другим. Музыканты, сидящие лицом к дверям, вправду подумали, что Пригода собрался танцевать, раздобыв такую широкозадую, могучую «партпершу» и враз ударили дробную, быструю коломыйку — пусть вытрясет кулацкую душу лихой танцор. Но они ошиблись: Пригода вел Нарытника к скамьям, где расположились соглядатаи небывалого прежде веселья, чтобы там, в кругу единомышленников Луця, присесть и как следует выяснить родственные и соседские отношения.

— Дай нам боже веселиться, не с хворобами возиться, — попытался отшутиться и уйти от греха своей дорогой Нарытник, но это было непросто. Впрочем, оглядевшись, успокоился: Пригода подвел туда, где расселись те газды *, для которых Советская власть была снегом на голову в разгар жатвы... И здесь, сейчас, не просто смотрели они на веселившихся, а словно вели счет каждому танцу, чтобы спросить с беспамятных во благовремении и при другой музыке...

Держались с достоинством.

Недавние батраки, стоявшие вокруг, тут же расступ-

---

* Газды — хозяева.

пились, чтобы пропустить поближе к сидящим эту троицу: человека богатого, человека бедного и человека, пищете и богатству которого не находило село ни названия, ни меры.

— Чего-то не понимаю я вас, хлопцы. — Нарытник, красный, как вареный рак, отстранился от Пригоды и Русина, ища в окружающих поддержку. Почувствовав, смелел: — Не за кого ли другого принимаете, часом?

— Разве, газды, — вопросил Олекса, — это не тот Луць, что Нарытник, который еще и сына имеет тезку моего, женатого к тому ж на внучке Гринчука, Марии? А? Не тот?

— Тот! Тот! — зашумели вокруг.

— Ага-ага, сын у меня Олекса, все знают, — соглашаясь, кивал Луць, надеясь, что на этой бесспорной почве очередная выходка Пригоды свернет шею. И — уже к друзьям: — А что, каждый отец сыну своему радуется.

— И правда, — Олекса оседлал скамью, как скакуна, — то-то старый Гринчук вашим сыном так обрадован, что рухнул как подкошенный от радости на постель еще до свадьбы, всем нам памятной. Да так рад, что и до сих пор на свет божий не глядит. Гринчук — сосед наш? Сосед. И с фронта приволок меня с этой вот рукой. — Олекса жестикулировал искалеченной рукой и чуть не заехал кому-то по физиономии. — Выходит: наироднейший мне по итальянским окопам человек. А по внучке его, Марии, на которой вроде бы ваш сын и сейчас женат, и мы родня, Луць. Так чего ж нам да не порадоваться вместе весенним деньком?.. А?!

— Гляди, выкатит сейчас вуйко Олекса бочопочек пива! — облизнулся одноглазый Гнат Думпаль, а Стефан Райский сокрушался про себя: нагрузился, дурень, на кровные, теперь печенка не выдержит...

— Выкатит Пригода бочопочек! — прищурились кулацкие глаза на дармовщинку. У Нарытника отлегло от сердца, усмехнувшись, потер руки:

— Глянь, куда оно... Кабы знал...

— Так и сына привел бы... — неожиданно зло, с вызовом, перебил Русин, и газды, сообразив по тону всегдашнего советчика Олексы, что пивом здесь и не пахнет, вопросительно переглянулись. Луця как ужалило.

— А чего вам о сыне-то говорить? Не компания вы, вуйко, моему Олексе, да к тому же, извиняйте, тут не новая власть. А что вырос парень работящим, богомольным — все знают...

— Ага... Ага... Правда... — сидящие впереди дружно поддержали, а в глубине, за ними, послышался приглушенный ропот, словно жужжал там пчелиный рой, взбудораженный медвежьей лапой.

— А я что? Я ничего... — кивал Пригода. — Помню, знал в Коломые такого Юрка Шкробанюка. Вот уж сорвиголова, богомольный был: под церковь подкопался, а влез...

— Скажешь тоже, Олекса, — не вытерпел прозрачного намека Луць, — умеешь все как есть перевернуть... — И вдруг схватился хитрый газда: — Давненько что-то мы рядышком не сидели, вуйко Матвей?

Русин не ответил. То ли не знал, что сказать, то ли делал вид, что не расслышал, но перед Луцем Нарытником он, Матвей Русин, в прежнее время всегда стоял...

Пригода насвистывал в такт скрипке, бубну и цимбалам, сменившим оркестр. Подморгнул запоздавшим девушкам, что проплыли стайкой мимо стоящих и сидящих мужиков. Музыканты, доиграв танец, разом остановились: Петро Падучак настраивал цимбалы, Дмитро Сыроветник подавал на скрипке первый голос. Танцоры переводили дыхание, пили воду, вытирали вспотевшие лица, рассаживались вдоль стен. В читальню на минуту все умолкло. От неожиданной тишины притихли и крикливые газды.

— Ты что, Олекса, кого за руки сцапал? — вскинулся Луць, будто внезапно разбуженный наступившей тишиной.

— Не сцапал, меня вот только чьи-то руки цапали, да так, что еле один добрый человек с того света, через моря-океаны, приволок. — Снова вспомнилось прошлое и захотелось затянуться крепким табачком. Уходило веселое настроение, гас настороженный прежде интерес к этой ощетинившейся кучке кулачья, злость сжала горло, захотелось встать и уйти к хорошим людям, которых здесь сегодня было полнехонько. Вон кивает приветливо Михайло Байда, приглашает Олексу к себе, даром что и моложе, и в школах разных, умная головушка, обучался, вот и занял теперь в районе немалый пост. А там вон вожак комсомольский Юрко Мельник, тоже не против, чтобы подсел Пригода и развеселил молоденькую его жену, озабоченную чем-то... А в дальнем углу Пилип Довбенюк, удался человек ростом — выше всех на голову. Поговорить бы с ним о всякой всячине...

Но Луцю Нарытнику припекло взять верх над Пригодой, осадить острым словцом. Казался себе богатей почитаемым родителем в кругу дружной семьи; то, что теперь скажет, будет слышно не только здесь, — пусть восчувствует голь несчастная, что зажиточный человек и при новой власти человек.

— И что ж ты, прошу прощения, узрел на том свете?

— На том-то ничего, а вот как должен был туда отправиться, сына твоего узрел с добрым арапником, — в Пригоде вдруг забушевала неведомая самому сила, впервые в жизни победившая вековечный страх перед расправой, и он неожиданно назвал людям своего давнего истязателя. Поднялся не спеша, выпрямился, смуглый от природы, крепкий, плечистый, с крупной, Русиком под горшок подстриженной головой. Стал: не человек — изваяние...

Толпа собиралась вокруг них, как снежный ком. Петушились кулацкие подпевалы. Федь Ярецков тянул на всякий случай ремень из штанов.

— Пойдем-ка, Луць... — Газды, чуя жареное, хвата-

лись за шапки, скрипели сапогами, а Русин, видя, что Олекса не может говорить, засмеялся:

— Ох и люди пошли: возьми чью-то смазливую девку, сразу пальцем тычут — вор...

Кто-то злобно наступил кованым сапогом на ногу говорившего, старик зашипел от боли, но речь свою закончил достойно.

А Пригода уже насвистывал коломыйку, будто услыхал веселую присказку, и снова легонько придерживал кулака за широкий пояс. Чувствовал, как ходило ходуном крепко сбитое тело.

— Ох и не говорите... Мой, упаси боже, боится того, о чем вы... — Луць пытался ускользнуть.

— Был в Подгайцах Федь Барило, характерный человек, помните, мужики? На левую ногу еще припадал...— Пригода вместе со всеми направлялся к дверям.— Жеребят тоже боялся, а коней крал. Говорили — в рубашке родился. А на вожжах повис...

— Чего люди не болтают, — вступился кто-то из близких Нарытника, — зачем слушать, что торбохваты по селу треплют?

— А помните, вуйко Матвей, когда мы в Боснии из госпиталя вышли... Там как раз вора на виселицу тащили, а он все уверял и уверял, что задаром...

В ветвях вербы, что заглядывали в открытые окна, спросонья протяжно крикнула птица, встрепенулась и затихла.

— Поганая птица в своем гнезде пакостит. — Пригода отпустил пояс Луця и засвистел по-птичьи.

— Поганая птица, что свое гнездо пакостит, да... — подхватил Русин, но Нарытник схватился за живот и, застонав, вырвался из круга, пустившись наутек, как мальчишка.

Заносчивый, чванливый, словом, не ровня голоштанникам, знал он твердо — никто не укажет пальцем: нажил, мол, нечестно... За десять лет, проведенных

в Канаде, оставил там большую половину жизни. А вот сын... Ночь и нож были у сына за отца-мать...

— Ой, Луць, что-то у твоей Варварки другое родилось, да петух кукарекнул! — неслось вдогонку исчезающему в ночной тьме человеку. Компания его, подавившись следом, отругивалась на ходу.

— Катитесь и вы из нашего дома на все четыре... — дружный, озорной взрыв молодого смеха.

Музыканты ударили веселую.

У дверей читальни Олекса и Матвей снова остались одни.

— Ну, насыпали сегодня соли вместо сахара не только вам, вуйко. Аж человека жалко. А кто виноват, что сын такой?

— Это какая же соль? — растерявшийся старик оперся о стену. Под кацабайкой глухо отозвалось снаряжение.

— А та, которую Яська деду подсыпал вместо сахара, что съел.

— Ох, господи! Олекса, сынок... Заткнись! Умоляю, не го-ло-си! Идет же кто-то. Если прослышат — все село животики надорвет. А мне — каюк...

— Вот будет смеха, если помрете! — Олекса разошелся, и в клубе перестали колотить в бубен, а со стороны лавки спешили на шум любопытные. — Ничего, вуйко, не теряйте надежды, если еще табачком разживемся — до завтра протянем...

— Ой, не сглазь! Табак табаком... А как побежит засморканный Луць ночью к сыночку-душегубу, как поплачется да распишет нас не хуже, чем Довбеняк Ольгу, так и пропоют по нашим душам «вечную память»...

Пригода почувствовал, что Руснп вздрогнул.

...С тревожным предчувствием возвращался Олекса домой, хоть трубка и была набита табаком Пилипа.

Мечталось, чтобы отдохнула наконец душа от житейской суеты в тишине и уюте дома, за вкусными варениками. Но родная хата приняла как непрошеного гостя.

Войдя, споткнулся о какое-то чужое, вонючее корыто, ушиб колено и только тогда догадался, что торчит в сенях клетка для голубей. Под ногами хрустела оббитая известка.

«Ох и шуму тут было!» — Как живую, представил дородную Юльку Фориаля с засученными рукавами и невольно втянул голову в плечи. С замирающим сердцем переждал минутку. Попытался сдвинуть клетку — не поддалась.

«Что бы это такая тяжесть означала? Эй, кум Петро, не вы ли там?»

Молчание. Раскурил трубку, чтобы посветлело, пошарил рукой в клетке. «Пустая. Фу! Слава тебе, господи! Правду говорил кум, что подобрела его Юлька...»

Немного очухавшись, вошел в хату и мысленно представил, как кричали жена и мать, как божились, что отродясь голубей не имели, а что было дальше — вообразить уже не смог. Мучило любопытство. Утешился тем, что не нужно будет принуждать себя заснуть: почи как раз хватит — разыграет все в лицах и выражениях.

Разделся, выставил насилу из сеней клетку, вымыл руки в обледеневшей от ночного морозца бочке и принялся за варенички. Проглотил первый и задумался. Потом сказал вслух:

— Оно бы очень хорошо, да чего-то никуда не годится.

От варенников так несло сивухой, что уставшего за день человека замутило — видно, мать сбивала сметану на масло в его предвечерней казацкой чарке, и теперь, подкошенная пьяными варениками и дурацкой клеткой в сенях, спала, а может, притворялась...

Хотел было установить истину, да махнул рукой:

«Все равно не расскажут про клетку как следует...»

Сна не было ни в одном глазу. Покрутился по хате, вышел к воротам. За каких-нибудь сто метров, в читальне, мерцал свет. Соседка, комсомолка Зореслава Король, должна была читать Советскую Конституцию...

Ночь. Тишина. Только высоко-высоко веял балканский ветер, да тужили о чьей-то молодости перелетные птицы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Весна протянула руки к Рава-Русской, распахнула их в широком объятии, дотянулась и до этого, забытого на краю земли, маленького местечка. Синий дым над полями еще пах прелым осенним листом и горечью талых снегов, но рассветное небо уже жило предчувствием счастья. Испуганное неожиданным, смущенное, стыдливо прикрыв наготу розоватой дымкой-фатой, потушило оно лазоревые очи, как бы говоря:

«Пришло неотвратимое. Судьба решилась. Слово дано, и суровые, с ледяными рушниками, хмельные сваты на снеговых коврах-самолетах опустились на землю. И забушевали уже от Бескид до Черногоры весенние воды, устремились в седую даль океанов...

Ах, как хорошо и тревожно, радостно и печально... Просили тато и мама... И я очень прошу, чтобы пришли на нашу свадьбу...»

И летели на это приглашение с тоскливым криком журавли из теплых краев, а жаворонок уже был тут: звенел над одиноким путником, что нес из дальнего далека невидимый миру тяжкий груз — так шагает по шатким мосткам усталый грузчик, согнувшись под непосильным тюком.

«Доброе утро, земля!» — остановившись, путник низко-низко поклонился.

«Будь здоров, Данило! Снова идешь к земле обетованной с этим бременем. И живой?» — спросила его.

«Как видишь... А помнишь?»

«Помню ли? Годы прошли. И все как сон... Но не забыла. Нет. Стало когда-то в этом краю одним сорванцом больше. И как впервые подало дитя голосок — за-

плакало ли, засмеялось, тут и положила бабушка возле ручки книгу. Тяжелый «Кобзарь». И в глубине измученного материнского сердца затеплилась надежда: «Может, вырастет и тоже станет поэтом...» Здесь в народе поверье такое — до чего дотронется новорожденный, тем и жить будет. Не сбылось. Не книги дали тяжкий хлеб. И поэтом не стал. Но зато изведал сполна холод тюремных стен, кровь и удушье окопов, горечь бесконечных скитаний. И играть на скрипке научился. Там, на свадьбах в дыму, на похоронах...»

«Ох, не нужно об этом. Не нужно».

И земля умолкла.

Дул в поле ветер дальних странствий, и было оно безлюдно. Может, оттого, что являлось желанное только в предрассветных снах, и путнику на земле, и птицам в небе сжало сердце предчувствие неверной судьбы. Журавлиный клин снизился и, братаясь, описал над человеком круг почета, а серенькая кроха пела, радуясь, только для него. И путник понял песню жаворонка: любой ценой добраться до родного очага, упасть блудным сыном в ноги любимым и зашагать по борозде за плугом... И понял журавлей, их торопливость, их зов, рвущий сердце, когда ты на чужбине, напоминанием об отчем доме...

И если бы кто случайно, со стороны, присмотрелся к измученному путнику, разглядел, что даже странный его, чужеземного кроя плащ и тот покрыт на спине темными пятнами пота, удивился бы: не падает обессиленный человек, а шагает, шагает по стылым полевым дорогам, через дремучий лес, туда, где в неоглядной синеве встает солнце чьих-то счастливых, вольных, юных дней.

Не падал. И даже не останавливался.

Такое бывает раз в жизни: когда на последнем дыхании вырвешься из плена бесконечных черных лет и припадешь наконец к желанному источнику, давно-давно одарявшему тебя самым дорогим, а вокруг расстелется

вольный край, которого ты никогда не видел свободным...

О, если бы не тяжкое бремя пережитого на усталых плечах, если бы не он помнил рычание немецких овчарок и скорбь безымянных могил, каким волшебным было бы это утро на родной земле! Но чудо приходит, и ты говоришь ей:

— Ласковым обещает быть сегодняшний денек!

Но она, единственная, что не забыла тебя и приветила, скажет только:

— Ой, не верь дню спозаранку, а девке смолоду...

И будет ожидать еще каких-то слов, но ты, раненный напоминанием-намеком на давнюю ту, последнюю ночь, замолчишь.

Она заговорит о другом:

— Возвращаются люди. Не ты один. Хоть и верила в хорошее, многих уже не ждала. А они идут: седина ранняя, сердце больное... Каркают черные вороны — поминают давние сечи. Но вы возвращаетесь, чтобы не случилось такое, чтобы защитить и помочь. Все неси с собой, все — и добро, и зло от людей. Кто может быть уверен, что не подставит его снова лихая рука под секиру?!

— Я вроде уверен. Меня и друзья, и враги давно забыли. Если уж Раву-Русскую, если уж ту войну не помнят... История, она...

— История, говоришь? Ох, не все забыто... Говори, говори... Тебе-то тридцать. Может, и я бы так сказала, но мне тысячи тысяч лет — вечность. И знаю: нельзя оспаривать или утверждать факты истории так неосмотрительно и высокомерно. Разве те, что в мировую гибли здесь, в своих болотных окопах, и те, что выжили чудом за колючей проволокой лагерей, — разве они, в жизни и в могилах, — забыли голгофу Равы-Русской?! Нет, не забыта она. Посмотри, какую необъятную тризну справляет ей весна...

И правда, много весен встречал он в своих скитаниях, но такой, обгоняющей саму себя, не доводилось

Еще поблескивали сугробы в тени старых верб, а на воде большого пруда разлеглись лапчатые листья водяных лилий. И возле пруда — мальчик и девочка. Раскрасневшиеся, расшалившиеся. Веселые, как ласточки. Уставились в небо, дразнят, зовут:

— Журавлики, колешом, колешом, ваши детки за лешом, за лешом! — звучал голосок мальчика, шепелявя на милом диалекте: давным-давно слышанные мягкие, грудные звуки, родные, как материнские ладони, как ее колыбельная песня.

Журавли будто услыхали — на радость ребятишкам описали круг над головами, но ниже не опустились. И, выровняв клин, становясь меньше и меньше, растаяли за горизонтом. А дети, огорченные, вернулись из заоблачных высей на землю, словно потеряв что-то. И захотелось человеку утешить их, вернуть утраченное.

Тем временем мальчик разулся, закатал повыше штанишки, решительно шагнул в ледяную воду. На лице девочки неподдельный испуг и вместе — радость.

Путник понял: рыженький смельчак хочет достать для нее бутон водяной лилии. С каждым шагом становилось все глубже, но мальчик упрямо шел вперед.

...Скольких испепелили огненные ветры Испании, изранили колючие заграждения в песках Сахары, затравили злобные, натасканные немецкие овчарки, но кто-то прорвался все же сквозь чумной обруч на сердце Европы... И вот после долгих лет волчьей судьбы, непрерывной погони стоит сейчас посреди открытой равнины, где не спрятаться, не убежать, не защититься... И впервые за эти годы не преследует отчаянная, привычная мысль: где же укрыться?! И дети — чье-то счастье? Свобода? Да, свобода. Та, за которую столько раз падал на далекой, не своей земле... Нет, не буду, не буду об этом... Вот подкосились ноги — видно, непросто, с грузом пережитого за плечами, ступить на порог отчего дома. Еще шаг — и упадешь от счастья. Родина, вот она...

И затихло все окрест: и поля, и долина с пробивающейся молодой травкой, только налетевший ветер поднял на пруду мелкую, серую рябь, да слышался хрустальный перезвон маленьких льдинок, будто зов из глубины детства: то ли колокольчика рождественской колядки, то ли дальний воскресный благовест...

Лицо прохожего медленно оживало, но суровая печаль не таяла: тени воспоминаний скользили по нему. Словно был человек не здесь и снова видел то, чего не знал даже этот горестный край.

«Да, мы знаем... Захлебываясь кровавой радостью победы, они горланят на весь мир о «позорном конце интербригад». Дорвавшись до власти, загоняют часть своего народа в смердящие трупным духом каменоломни и обучают под рев фанфар страшному ремеслу остальных, чтобы выпустить потом, как бешеных быков, на людей.

Кто-то полон предчувствий великих надежд и свершений этой весны? Чувствует в себе силы, чтобы совершить доселе неслыханное? Хочет взять на руки планету ее могилы, ее детей, что выросли без дедов и будут вырастать без отцов? Хочет нежить и пестовать ее, бесталанную? Ох, как бы эти оборотни не повернули все самые светлые, самые чистые порывы на великую беду человечеству...»

А мальчик стоял в ледяной воде уже по пояс. Дрожа, лия покачивалась вдалеке. И заколебался: не вернулся ли? Не победив?! О, сколько этих возвращений побед...

Сердце путника, дрогнув, забилось: «Сделай, сделай здесь, на своем поле, добро. Так просто, на память, кто-то вспомянул... Торопись...»

Сбросил одежду. И остановился как вкопанный. Шагнул к детям. И вырвался вздох-шепот. Он, из натруженной груди вырвался вздох-шепот. Он дел в воде, как в зеркале, свое невеселое отражение. Черная бородка придавала тонким чертам выра-

И затихло все окрест: и поля, и долина с пробивающейся молодой травкой, только налетевший ветер поднял на пруду мелкую, серую рябь, да слышался хрустальный перезвон маленьких льдинок, будто зов из глубины детства: то ли колокольчика рождественской колядки, то ли дальний воскресный благовест...

Лицо прохожего медленно оживало, но суровая печаль не таяла: тени воспоминаний скользили по нему, словно был человек не здесь и снова видел то, чего не знал даже этот горестный край.

«Да, мы знаем... Захлебываясь кровавой радостью победы, они горланят на весь мир о «позорном конце интербригад». Дорвавшись до власти, загоняют часть своего народа в смердящие трупным духом каменоломни и обучают под рев фанфар страшному ремеслу остальных, чтобы выпустить потом, как бешеных быков, на людей.

Кто-то полон предчувствий великих надежд и свершений этой весны? Чувствует в себе силы, чтобы совершить доселе неслыханное? Хочет взять на руки планету, ее могилы, ее детей, что выросли без дедов и будут вырастать без отцов? Хочет нежить и пестовать ее, бесталанную? Ох, как бы эти оборотни не повернули все самые светлые, самые чистые порывы на великую беду человечеству...»

А мальчик стоял в ледяной воде уже по пояс. Линия покачивалась вдалеке. И заколебался: не вернуться ли? Не победив?! О, сколько этих возвращений без побед...

Сердце путника, дрогнув, забилось: «Сделай, сделай здесь, на своем поле, добро. Так просто, на память. Что кто-то вспомнул... Торопись...»

Сбросил одежду. Шагнул к детям. И остановился как вкопанный. Из натруженной груди вырвался вздох-шепот. Он увидел в воде, как в зеркале, свое невеселое отражение: черная бородка придавала тонким чертам выражение

фаланга-отшельника, прядь волос падала на глубокую морщину лба и оттеняла тяжелый взгляд больших темных глаз. Широкое в кости тело и в неподвижности вызывало железные мускулы и было угольно-черного цвета. Только на левой стороне груди, чуть ниже сердца, да вдоль ног белели крупные бледные шрамы.

— Ой, может, не нужно цветов? Смотри, какой страшный дядька... Бежим скорее!

«Не пугайся, дочка! Тебе мама дарит конфеты? Дарит, я знаю. А ведь не у каждого есть добрая, родная мама. Вот эта темная кожа дяди — тоже подарок. Материнской, желтой, горячей пустыни, обнесенной проволокой. А эти белые полоски и она не смогла закрасить... Их дядя добыл сам...»

В поле такая тишина, что слышно, как бьется маленькое сердечко маленькой девочки.

— Зловещая и недобрая она, эта солдатская сила, — сказал после тяжкой задумчивости, обратившись к своему отражению, прислоненному острым камышом к вздрагивающему полотнищу воды. И схватился за голову.

Тишина такая, что слышен стук маленького сердца. Такая тишина, что слышен стук и сердца большого, изболевшегося. Трудно ему.

И случилось то, что бывало не раз. Правая бровь путника странно дернулась, рука взметнулась в жесте команды, и человек огляделся, словно проверяя, не отстал ли кто там, в его батальоне Шевченко?!

И так же неожиданно, головой вниз, прыгнул в воду, отталкивая обратно в озеро волны и молодые льдинки.

«Так-так. Царишь детям свое тепло? Греешь студеную воду? Надеешься и веришь: перестанут дрожать губы мальчика. Малыш пойдет в бой и победит, да не постигнет его твоя судьба! Пусть это будет свадебным даром, даром будущему двух сегодняшних детей...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Короче становились ночи. И счастливым людям — радость, и несчастным — облегчение. Неведомо отчего, даже счастливые с нетерпением ждут по ночам наступления дня, а убитые горем при свете хоть издали посмотрят на чью-то удачу. Но снова приходила ночь, и снова не спала несчастная мать.

Далеко за полночь, когда село беспробудно засыпало, тихонько выходила из хаты не по летам состарившаяся Журачиха. Прячась в густой тени дремлющих улиц, крадась она, словно задумала что злое, к западной околице. Там, за последними хатами, будто вырвавшись из-под стражи столетних лип, убегала вдаль дорога, освещенная то ясным солнышком, то бледноликим месяцем и мерцанием звезд, веселая, ко всем приветливая, широкая, мощеная...

Пять уже лет приходила сюда мать — встречала сына. Раньше — днем, а теперь вот — по ночам. Сын все не шел, а Ганька Башовская, лихая душа, распустила слух, что умом тронулась. Испугалась Журачиха — зачем она сыну такая?!

У других вон сыновья от рождения до конца дней при доме. И не рвутся никуда, и без школ этих разных, и без жен-раскрасавиц, а еще как живут! Счастливо, многодетно!

Ее же единственный как пошел смалу в ту школу, а дальше уж и по криминалам панским, так больше и не видела возле себя.

И тот последний пасхальный день — лучше не вспоминать, злейшему врагу не пожелаешь такого...

Они тогда еще спали каменным крестьянским сном, как кто-то тревожно забарабанил в окно. Старый, чужой человек из соседнего села.

— Эй, люди добрые, сказать вам или не сказать?! Сына вашего нету дома? Эй, слышите? Нету... Там какая-то девка, чисто русалка, сама измордованная, чуть живая,

кричит, что сына нашего в поле, за Иисусом... — и не договорил.

Бежали с отцом. Кто-то гнал верхом. И колокол бил. На сполох, на беду, не по-пасхальному. И там... у орехового леска, только взрытая тяжелыми сапогами земля. И кровь, что смешалась с вытоптанной, горькой полынью и сама становилась землей. Так рано-рапешенько? Сына ее кровь?

— Неправда... Неправда... — с воплем билась о землю.

Кто-то зажал уши, кто-то кричал, рыдая. И увидела Ольгу. А потом помнит только — везли на возу... И все держали за руки, все уговаривали...

А тела сына нигде не нашли.

Вот потому и не поверила. Она не видела мертвым того, кого похоронили люди, кому поставили уже березовый крест. Чужим не больно, вот и поторопились...

Все эти годы отец жил сыном. И, узнав о потере, придя домой, умылся, надел праздничную одежду — собрался за ним в небытие. Помешали люди, остановили. И лежал он неподвижный, безмолвный, а рядом неотлучно сторожили верные побратимы по итальянским окопам — Олекса Пригода и Стась Гринчук. Это они сумели вселить надежду: жив Данило. И начал тогда старый Журак медленно становиться на ноги, наново учиться говорить. И первым, как в детстве, произнес: «Мама»...

— Мама... Мама! Ждать...

Отцам легче. Они умеют ожидать молча. Матери не могут.

И через годы слез, тоски, непреходящего горя — письмо! Исстрадавшаяся, высохшая, как щепочка, увидела — от сына! От Данилы! Как из потустороннего мира: ни обратного адреса, ни штемпелей... И слова родного языка были жестки, словно выковал их из металла неведомый кузнец.

Три дня и три ночи читали с отцом письмо, дошедшее через сотни, а может, и тысячи рук.

«Мы есть. Идем в бой. Кто-то будет и жив, и дома...»

Словно не о нем одном написано, а обо всех сыновьях, судьбой и людьми преданных, без вести пропавших...

Хотела бежать с этим листочком ко всем осиротевшим матерям, кричать им:

— Смотрите! И ваш сын жив, и мой! Здесь же не про него одного...

Но леденил разум страх за сына. Кому еще он нужен? Никому... Ольге разве... Да и то пропало. Чужая жена. Только Ганьку Башовскую потешишь — пустит опять гнусный слушок: смотрите, люди, рехнулась-таки...

И никто не узнал о письме.

Снова настали долгие ночи. Уговаривала себя:

«Весточки дождалась. Дождешься и сына. Жди только. Жди... Он всегда приходил неожиданно...»

Ветка вишни, уже распустившаяся, заглядывала в окно. Тихонько, вкрадчиво шелестели молоденькие листочки: шу-шу-шу...

Чудилось: это сын у окна машет вышитым рукавом сорочки, той, что Ольга приготовила к свадьбе...

Но этой ночью что-то словно подсказывало: «Не спи. Не спи. Жди. Он придет сегодня...»

И заспешила на тракт.

Так бывало и раньше, что возвращалась из ночных скитаний с новой надеждой. И долго потом жила ею. Однажды даже представила себе:

...Где-то есть он — толстенький, белоголовый малыш с черными, как терн, глазами. Беленький-беленький, только глаза и бровки темные. Потом — посмуглел...

«Господи, отчего?! Может, злобные языки пророчили уже тяжкую сыновью долю?! И не подсказало сердце, как уберечь...»

...На третьем годике уже убегал из дома. Все село любило веселый нрав и детскую его приветливость — у каждого находилось для Данилки доброе слово или

гостинец. Видно, так предназначено было судьбой — с детства бродить среди людей.

Идет, идет по селу. В одной хате парным молочком угостят, в другой заневестившаяся девка нацелует пухлые его щечки, а там, смотришь, кто-то на воз подсадил, да и завез далечепько, а то и сам бог знает куда забежит...

Тогда была она совсем молодая и также была весна. А сын перед вечером исчез, запропастился куда-то, озорник. Всюду искала. Заглядывала в колодец с замирающим сердцем. Ходила по берегам речки, звала. Не отзывался — только чайки кричали и почь приближалась неумолимо...

А он, ее белоголовый парнишка, сидел тем временем в соседнем селе, под раскидистым старым ясенем, среди чужих, постарше себя, ребятишек, что пели какую-то песенку. Не обратила на нее внимания, а потом, через годы, когда исчез сын, мотив этот зазвучал в памяти, будто утешая. И казалось, узнать бы только слова, и полегчало бы. Да так и не суждено было: те ребятишки, что пели тогда, выросли, а своих малышей отчего-то не обучили... И она, живя надеждой, теперь одна во всем свете, напевала заветную мелодию, вкладывая в придуманные слова бесконечное ожидание.

А тогда сидел ее сын среди детей, как бездомный сирота.

— Разве у тебя, Данилка, нет белой постельки или плохо тебе дома?

Он обрадовался матери, но расставаться с дружками не хотел...

Этот ясный образ, это найденное тогда счастье, ставшее теперь воспоминанием, — их хватило до нынешних горьких часов.

И если видела где-нибудь молодую мать с маленьким сыном, то говорила себе:

«Ты тоже была такой. Ты тоже имела сына. А у кого-то никогда не было. Есть же на свете несчастные...»

...Как испугалась тогда! Как бежала в соседнее село: дыхания не хватало, в глазах — темно! А схватила на руки, прижала полусонное, тяжеленькое тельце к груди — сразу отлегло от сердца.

«Теперь тоже так будет, — думала про себя. — Только упаду ему на грудь. И через все горе возвратится жизнь — и моя, и его...»

И с каждой уходящей ночью верила больше и больше: все повторится, все сбудется! Здесь, на этой светлой дороге...

Но сейчас не хватало уже счастья-воспоминания о его детстве. Может, оттого, что вырос сын, выросли и ее тревоги?

И в эту ночь нужно было создать заново образ-воспоминание, чтобы жить потом мгновением-надеждой...

...А еще было так: записался в университет и вдруг, неделю спустя, приехал домой. Красивый. Высокий. И сильный. Кто из одногодок мог равняться с ним? Никто. Но не радовало и это: уже было в сыне что-то затаенное, упорное, может, от большого города, может, от рабочего люда, что рушил панскую Польшу, тянулся к Советской Украине...

«Ой, садись, отдыхай, сынок. Так скоро? Может, приключилось что?» — пыталась заглушить тревогу.

«Да что вы, мама! Соскучился без вас, мои старенькие...» — и долго смотрел на поседевшего отца. Сердцем почуяла: в этом чужом каменном городе, среди важных наук и жандармов, что-то недоброе творится вокруг сына, что-то подстерегает его.

А у других сыновья убивались только ради лишнего куска земли, коровы молочной, коня сытого, да пана над всем доброго. А Данило жил иным...

«Родной мой, — говорил задумчиво отцу, — седина твоя и морщины, сгорбленная спина вечного помощника общества и глухота из-за молотилки, что ремнем затягивала да калечила, — все-все ради сына, весь труд вложил ты в мои книги... Ой, тато, когда же придет день,

о котором мечтаю?! Поздняя та расплата за бесчисленные черные наши дни?! — И, словно перебив себя, продолжал: — Не смотрите так горестно, тато, свой долг еще верну... Ведь ничего-то вы в жизни не видели, кроме этого села, уезда да вспаханных шрапнелью чужих полей. Ничего не видели и не имели, а мир огромный! Оставите свою молотилку... Уедем далеко. И маму возьмем. Свет повидаете и город. Далекий, белый-белый... У теплого моря. Поживем там немного...»

А годы шли.

«Сыночек! Вот и отцу не спится. Все бродил по саду. Присел, уставший. Грустный месяц светит на скамью, где мечтали тогда о белом-белом городе...

Сыночек! Как не хватает тебя рядом с отцом! Склонил, старый, голову. Плачет тихонько, чтоб никто не видел. Заснул? Спит. Усмехается... Что снится ему? Что грезится? Марево в душном воздухе угасающего дня? Далекий, белый, как голубь, город у теплого синего моря-океана?

Сыночек! Как страшно исчез ты в ту ночь! Ох, не Ольгина в этом — моя великая вина. Зачем, зачем запрещала... И кто сотворил это зло? Боль? Больно было тебе, знаю... Я, давшая тебе жизнь для страданий, не живу с тех пор, как ты исчез... Наше с отцом солнце низко-низко... Слышишь? Не запоздай. Приходи. Умоляю... Ведь он может не увидеть тот белый город, что ты ему обещал»...

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Кто не любит покоя — иди к нам... — говаривал начальник заставы западной границы Дмитро Ворожейкин на звериных тропках дремучего бора, беря след, пахнущий бездымным порохом и чужаком.

Может, немолодой капитан и вкладывал в свои слова какой-то особый, ему лишь ведомый смысл, но ой как

часто бывало в здешних чащобах: лесную тишь, коварную, обманную (знаешь ведь, а все хочется поверить), внезапно разорвет захлебывающееся татаканье автомата. И несут потом молчаливые солдаты на заставу тела побратимов на свежесрубленных березовых носилках. И все реже говорил капитан знакомую всем поговорку...

Нарушение границы заметили на рассвете. Неизвестный шел напрямик, без обычных уловок. Не заматывал тряпками обувь, не надевал «медвежьих лап», не продвигался задом наперед. Шагал уверенно, нагло. И хотя ночью в дозоре были наряды самых опытных — пересек взрытую боронами контрольную полосу открыто, словно был давним хозяином этого неприкосновенного рубежа, за которым начинала бережно хранимая земля. Странная самоуверенность нарушителя вызвала особую тревогу, и сам начальник заставы возглавил погоню. Отряд удвоили, людям дали лучших коней: поиск ожидался чрезвычайный...

Углубились в дальний район — соседей по заставе (не хотелось командиру упустить редкую добычу), а след все вел и вел на восток.

На небольшой высотке, где можно было осмотреться, придержали разгоряченных коней. Посреди плоской равнины увидали в бинокли большой пруд и на свинцовом его плесе человека, плывущего то брассом, то баттерфляем к противоположному берегу. Спущенные с поводков овчарки уже рвали одежду пловца, оставленную на песке. И виднелись неподалеку фигурки детей, застывшие в ужасе перед рычащими собаками.

Пруд окружили. Нужно было брать нарушителя. Но он сам, высокий, сильный, странно смуглый, вышел из воды на Карима Муладжанова, что стоял у него на пути, и в этой сложной ситуации держался на редкость спокойно. Конь же бойца, казалось, привыкший к любым происшествиям, сейчас отчего-то храпел и бил копытом. Карим резко, с чуть заметным гортанным акцентом, приказал:

— Руки вверх! Стой!

Но и потом, когда пограничники спешились, окружив Муладжанова, а команда была повторена на украинском, немецком и даже татарском языках, и кто-то, для острастки, выстрелил в воздух, смуглокожий великан не думал поднимать рук. Усмехаясь, шагал прямо на нацеленные дула карабинов.

После короткой суматохи и выкриков команды стало тихо, слышался только плеск мелких холодных волн, пофыркивание лошадей да курлыканье журавлей в небе.

— Доброе утро, дорогие земляки! Не понимаем мы друг друга, как строители Вавилонской башни... А приветствовать вас на многих языках тоже могу. — И сказал что-то непонятное: коротко, резко, звучно. Потом отряхнулся от воды так, как делают это крупные звери, и продолжал спокойно речь, казалось, искреннюю, на чистом языке той земли, на которой так непонятно оказался.

— Ближе подходите, братцы! Стройтесь, ребята! Всех обниму! — неизвестный, мощное тело которого было покрыто глубокими шрамами, шагнул, раскрыв объятия, к старшему по годам, а сейчас и старшему по званию. Тот вынужден был опустить револьвер.

— Стойте! — приказал Ворожейкин, но подчиненные, выручая, не дали договорить командиру: ловкие, тренированные бойцы бросились на пришельца, завели руки за спину, связали ремнями.

— Придется извинить некоторое насилие, но таков закон пограничной зоны, — тоном, не допускающим возражения, произнес начальник заставы. — Необходимо подчиниться, а одежду — та, что лежит на берегу — ваша? — сейчас доставят. — Капитану отчего-то не хотелось говорить обычными, будничными словами, но другие не приходили. — Что перешли границу самовольно — не будете отрицать? Что одежда на песке ваша, признаете? Да и овчарки, как видите, след берут без-

ошибочно. Остается выяснить: с какой целью перешли? Кто вы? Ваше имя, фамилия, возраст, подданство. И чем объясните, что, увидев представителей власти, пытались скрыться и поплыли к противоположному берегу? Надеюсь, понятно? Отвечайте на вопросы.

Не отвечая, задержанный спросил сам:

— Послушайте, капитан... Жаль, тоже не знаю имени-отчества... У вас есть дети?

— Есть. Двое. — Вместо того чтобы оборвать неуместный разговор, капитан, удивляясь, ответил почти дружелюбно.

— А я чужих, слышите, чужих не видел вблизи пять лет.. И — на свободе. Мое имя? Мы безымянные. Теперь вы понимаете, откуда я?

— Да, — задумчиво ответил капитан. — Немного. Поэтому... задержим и передадим по инстанции, компетентным лицам. Это наш долг.

— Долг перед Родиной. Ее приказ... Когда своя была под гнетом, служили чужой, как родной... Что ж, исполняйте свой долг, капитан, ведите. Только бы не на запад. Я так спешу...

И воцарилось гнетущее молчание.

А когда особенно тоскливо протрубили в небе журавли, капитана Ворожейкина охватило вдруг то нестерпимое воспоминание. Без утешения, без надежды... Где-то в самой глубине сердца зазвучало слово, даже не само слово, а смысл его, его живой образ: «Сын, сын мой!..» Совсем недавно упал он на родную землю, сраженный рукой врага. В безымянном памирском ущелье, на другой границе Отчизны... Оставил на осиротевшего отца молодую жену и двух малышей. Вот и в это утро проснутся они здесь, у заставы, в крестьянской хате. Гнездо аиста на крыше — символ счастья... Как сегодня ответит невестка на лепет детей: «Ма... Ведь обещала... Папа придет после работы?..»

Не сказал внукам Ворожейкин горькой правды об отце, не сказал о ней и своим бойцам. Не знают. И пока

не будут знать. Но никогда не услышит о беде командира этот враг, не обрадуется чужому несчастью... Ему суждено иное... Капитан встал, подписав рапорт и, тяжело шагая, пошел на задержанного. Кавалось, нес свой гнев, свой крик боли, но люди услыхали негромкий голос:

— Знайте, с такими, как вы, мы не церемонимся, не хороводимся... Гуманность? А где же ваша гуманность, когда топчете нашу землю, наших сынов? — И внезапно умолк. Будто споткнулся о глаза незнакомца: виденные уже, знакомые?...

«Когда это могло быть? Где? Будто глядят глаза сына... В какую минуту смотрели они так?

...В ту весну... Сын впервые шел на свидание с милой девочкой, дочкой гор... Что пожелал тогда отец? Видя глаза его, радостные и тревожные: удачи, долгого счастья. И сбылось... Пока там, в ущелье. Тоже у воды... Нож врага... А давно ли: «Куда спешишь так? К любимой?» — «Ой, не говорите, не говорите, не надо...»

Бойцы ждали.

Стоял, задумавшись, перед задержанным, но в глаза уже не смотрел: искал нужные слова.

Бесспорно, перед начальником заставы был мужественный, гордый человек, и сердце подсказывало: не враг, не преступник. Но не советчик сердце там, где защищаешь безопасность Родины. Даже если бы поставила так перед ним судьба сына — даровать ему свободу капитан не мог.

Два пограничника повели задержанного. Командир с остальными повернул к заставе. Две разные дороги, два разных пути...

...Конвоиров удивляло: незнакомец торопился, как торопится конь, почуяв после долгой трудной дороги тепло близкого дома. И молчал. Лишь расставаясь, попросил передать начальнику приглашение: прибыть на

его день рождения. Из этого странного поручения запомнилось сопровождающим только число — двадцать второе близкого июня. Да еще село — Скоморохи...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

При возвращении к отчему порогу, как и при том, трагическом исходе, снова была женщина.

В пограничном городке, известном разве что кладбищем с прахом солдат одиннадцати наций да отличной водой для варки пива, Журака ввели в большой кабинет с единственным столом. Возле него стояла молодая привлекательная женщина.

Невольно подумал: видно, главного еще нет, не спросить ли, ожидая, разрешения присесть? Не начальство — даму...

Разрешив, женщина как-то застенчиво-устало предложила ему рассказать о себе. Точнее — о переходе контрольной полосы, нарушении границы. О том, что считает нужным и важным не для одной только стороны...

Все было неожиданным: негромкий голос, застенчивость, слабый запах духов, как аромат весны, такое, казалось бы, несоответствие с должностью, — сбивало с толку, будоражило. Он закрыл глаза от нахлынувшей усталости, от боли в висках и явственно вспомнил другую, давнюю весну...

...В Париже цвели каштаны, а он, вместе с боевыми товарищами, стоял в ожидании приема у советского посольства. Надеялись, верили: вот-вот в дорогу, домой... Но словно погасили весну — посол, явно сочувствуя, сказал: «Визы не будет. Гитлеровский рейх препятствует проезду через свою территорию. Кроме всего, вы считаетесь подданными Польши. Мы бессильны...»

Он заставил себя открыть глаза. И заговорил...

— У вас есть какие-нибудь документы? Что-нибудь, что подтвердило бы сказанное? Удостоверило личность? —

Глаза ее чем-то напомнили взгляд девушки из советского посольства в день, когда упал черный дождь на белый цвет каштанов. Хотя...

После долгой паузы ответил, что давно отвык определять ценность человека печатью на бумажке, а выданные ему когда-то документы можно было бы, пожалуй, найти на дне пиренейских ущелий, в криминальных архивах Виши, ну и в гестапо...

Женщина опустила внимательный взгляд, отвернулась, подошла к столу. Сказала жестко, совсем не по-женски:

— Пока это только слова... И верить им одним не имеем права. На сегодня все. Но, — голос ее чуть смягчился, — если хотите что-нибудь добавить, слушаю...

И он, как конвоирам в пути, тихо произнес странное приглашение на день рождения. Повторил: село — Соморохи, день — двадцать второе июня...

Она недоуменно усмехнулась, а в глазах была тревога. И выражение лица, и эта усмешка словно говорили:

«Ох, не хочу пророчить, но не справим ли мы тебе, добрый молодец, другой праздник, да пораньше...»

И Журака отправили в места, знакомые по университетской юности.

Здесь шутить не собирались тоже. Не потому, что были мрачны, нет, просто нечеловечески устали: за одиннадцать предыдущих месяцев на западной границе задержали такое количество нарушителей, что людям, имеющим к этому непосредственное отношение, было явно не до юмора...

Во всем ощущалось неспокойное дыхание рубежа, за которым сейчас стояли не спесивые польские уланы и «моторизованная» — на велосипедах — пехота, стоял, затаясь до времени, фашизм, кровью залившпй Европу...

И, зная это, лазутчиков встречали как положено.

Следователь долго бился с задержанным и, отложив уже имеющиеся материалы, взялся за дело сызнова. Казалось: поймана крупная птица. Когда человек теряет

терпеливую ясность ума, ему не до того, чтобы присматриваться к сидящему по ту сторону стола, как сделали в свое время умудренный жизнью капитан и та чуткая женщина в маленьком городке, искренне хотевшая понять незнакомца.

Данило отказался говорить. Старательный службист, не переживший тысячной доли виденного: страха погонь, свиста пуль, смертельного риска побегов, — был неприятен, чужд и напоминал молодого кота, выпущенного на уже пойманную мышь.

Верил и ждал: должен прийти другой. Но никто не приходил...

Упорное молчание затягивалось, прошло несколько суток, и дело принимало угрожающий оборот. Но вдруг задержанный заговорил. Он называл, вспоминая, всех, кого хотел увидеть: отца и мать, десятки односельчан, потерянных друзей юности, милых сердцу женщин и, как в бреду, стал перечислять другие имена — погибших. Тех, с кем сроднила выжженная солнцем и знойными ветрами гражданской войны земля, тех, с кем ходил в отчаянные атаки. Имена советских людей...

Когда прозвучало одно из них, следователь вздрогнул и, торопливо набрав номер, сказал в трубку несколько незначительных слов. Появился охранник, следователь поспешно вышел. Тут же вернувшись, начал нервно вышагивать по кабинету, присаживаясь на минуту и снова вставая.

А задержанный смотрел в окно. Отчего-то привлекла внимание стройная башенка со шпилем на соседнем здании. Вспомнил: в той, далекой стране в похожую ударил снаряд... Впрочем, сейчас не время для воспоминаний... С людной улицы доносился оживленный говор, спешила неведомая ему свободная наконец жизнь, ради которой не щадил ни себя, ни других...

Открылась дверь, появившиеся сотрудники молча уселись вдоль стены. Через несколько минут вошел армейский офицер.

Он был старшим по званию, и присутствующие поднялись. Только задержанный продолжал сидеть — без разрешения вставать не полагалось.

Военный молча рассматривал кабинет и, когда задержал взгляд на сидевшем, лицо офицера будто сковало изумление. Секунду простояв недвижно, он четко, как новобранец, сделал поворот «налево». И замер перед арестованным в позиции «смирно».

Тот поднялся навстречу. И почудилось — разом упал туман, и во мгле что-то рушилось, снова вздымалось... Потом — мертвая тишина. А он все не верил собственным глазам и звал на помощь воспоминание, которое всегда гнал прочь...

...Арагонский фронт. Летнее наступление. Захлебнувшееся сражение на Эбро. Лицо человека, что стоял сейчас перед ним, долго не сходило со страниц европейских газет. Это он — бывший доброволец, советский капитан, чьи отвага, ум и самоотверженность были безграничны, тот, что пошел по приказу командира на верную смерть, иначе тогда не победили бы?!

Хотелось широко, во всю мощь распахнуть объятия и сказать, как во время далекого прощания, единственное слово... Но пришла дурнота. Впервые в жизни поверил в привидения. И застыл окаменев.

— Чем могу служить, товарищи? — с усилием произнес бывший капитан.

Исписанный листок вздрагивал в руках хозяина кабинета. Он, не понимая, напряженно смотрел на начальство. Но его не замечали.

И, заглянув в бумагу, следователь сказал:

— Товарищ полковник! В интересах безопасности... Вынуждены были пригласить... Агент, задержанный при переходе границы, называющий себя Данилой Жураком, признался, что преследовал цель — встретиться с вами. Возможность покушения не исключена... Мы думали, что вами будет сделано заявление по поводу...

— По поводу того, — продолжил полковник, — что я

глубоко тронут... Даже при трагических обстоятельствах командиры не забывают своих бойцов, хотят увидеть... это же мой камарадо... Мой командир...

Воцарилась тишина.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После того как Пилип Довбенюк отгостевал у душевного Боженьки, Семка еще больше помрачился в мыслях. Теперь беспрестанно терзало его нераспознанное вовремя издевательское выражение лица художника, когда тот, стоя у окна, дразнил синиц: «Тара-ра, тара-ра...» Как не пришло тогда в голову хитрой лисе Цизорику, что это кусочек припевки про птицу в клетке: «Цинь-цинь тара-ра, всюду дыра, а вылезти некуда...»

«Боженька! Ох, святая же правда... Всюду — дыра. А куда вылезешь?! Загребут меня, загребут...»

Казалось отчего-то — случится это в воскресенье.

И, уходя из дома во второе уже воскресенье, говорил Ольге:

— По селам пройду. Из церквей звать приходили — отслужить просят. Там и заночую, наверное.

И подальше, подальше — в поля. Чтобы ни с кем не встречаться: при виде людей мрачнел озлобленным нелюдимом. И, как назло, на самых глухих тропках вечно натыкался на старого Гринчука.

Вот и сейчас — восседал старик на маленьком раскладном стульчике у своей, уже зазеленевшей озимью пашни и беседовал с ней. Все знали: знахарь он, ворожей земли, пасеки, дождей... Никто так умело не хозяйничал, ни у кого так не родило... И хоть в церковь являлся в году два раза — святой отец не корил. С властями сельскими не любезничал, а они за руку здороваются, на совещания приглашают. И красуется там Гринчук рядышком с батрачищем, с холуем этим — Русином, что, видите ли, тоже стульчиком обзавелся...

Но не пройдешь молча мимо старого колдуна:

— Слава Иисусу!

— Доброго здоровьичка! Летишь, как мой зятек. Топно тебе. На месте не усидишь. Не хитро летать — хитро падать... — со значением произнес старик и отвернулся. Ножки стульчика глубже вгрузли в жирную пашню, а Цизорику показалось: ох, знает, черт бородатый, все Семкины замыслы, все грехи тяжкие, и руки зачесались пырнуть прозорливца ножом...

Бежал от соблазна, от греха, спешил под защиту высоких, гранитных шпилей горы, что нависла над селом, над бывшим графским фольварком, а ныне — технической школой.

«Выдумали же слово: техническая... Учат гуцулов-голодранцев из дальних сел на трактористов, на шоферов... Чтоб камни свои, чтоб житуху свою вшивую пахали. Допашетесь, допашетесь!»

От ярости, от крутого подъема заходилось сердце. Лицо заливал пот, в глазах мельтешило, карабкался почти на ощупь, вслепую, к самой Скале. Дул навстречу вечный ветер вершин, а когда Семка остановился и огляделся, какая раскинулась даль! И особенно — на запад...

Терзали мысли:

«И велика же моя землица, Украина-матушка! А верному сыпочку места на ней нету. Что делать? Знает ли что Довбеняк? Что ему сука моя наболтала? Может, уведомить кого следует? Ох-хо-хо, не отправиться бы и мне на тот свет вместе с женушкой да маляром... Теперь у наших разговор короткий. Скажут — продал. И все — и сыра могилка...»

Плел сети и по-другому. Со времени гостевания стал плести:

«Лишь бы ее с ним вечерком застукать. Лишь бы... А что будет? Что? Не время же...»

Широко разведя руки, повернулся на запад, вдыхая пьянящий воздух, и слушал, и глядел. Туда, далеко-далеко, за синие вершины Карпат...

— Боженька, загреми же! Немцев пошли, надежду нашу, друзей бесценных...

Оглядывался на тропы, что вели к Скале. Только ветер...

Уходил и среди каменной осыпи, в небольшой расселине, доставал спрятанный австрийский тесак и точил, точил, пока лезвие не разрубало волосок на лету. Точил в поте лица и нож, хоть в потаенной пещере неподалеку ждали своего часа бельгийский семизарядный «патент» и кавалерийский штуцер с изрядным смертельным припасом.

«Будем еще плеваться смертью, будем, а пока ты послужишь, братец!» — ласкал рукою чужую холодящую сталь — как родного сына.

Спускался ниже, туда, где был глубокий, выложенный кирпичом колодец. Отсюда подавалась в панский палац ледяная родниковая вода. Жадно пил солоноватую влагу, смачивал лицо. Говорили люди — спасает она от слабости.

Вроде бы помогало.

Осмелев, ночью, как волк к кошаре, прокрадывался в село. Обшаривал закоулки между хатами, все местечки, удобные для тайных встреч, вспугивал иногда любовную парочку. Но краю свою так ни разу и не накрыл.

Как конь с закушенными удилами, чуящий конец безумной скачки, из последних сил спешил домой. Вторым, тайным, ключом, дрожа, отпирал дверь и находил жену в постели. Одну. Спящую.

Осторожно зажигал в кухоньке лампу. Шарил по хате, словно Довбеняк мог превратиться в иголку. Завешивал окна. Переводил дыхание. Хватал самую большую подушку, крестился:

«Пусть умрет. Слишком много знает. Тот, может, еще не все вытянул... А если вытянет? Забирай, забирай страшные наши тайны в царство небесное...»

Лежала вверх лицом. От света, от недоброго ли предчувствия вздрагивали во сне тонкие брови, чуть приоткрытые губы словно хотели сказать:

«Есть, есть время... Не с Данилой, когда была одна только ночка».

— Чего пугаешься? — шепотом подбадривал себя. Не помогало — испуг не проходил.

«Сильнее надавить на подушку — и аминь...» — снова вспоминалось страшное ремесло.

Но уверенности — что и как делать — не было. И отчего-то, взяв одеяло за край, осторожно стянул его с жены. Когда обнажилась грудь — нежное, округлое совершенство, — яростные, одичавшие глаза будто обожгло огнем...

За свою не такую уж долгую жизнь побывал и в Будапеште, и в Вене, и в Варшаве. Ходил по злачным местам, не жалел на любовные утехи ни звонкой монеты, ни бычьего здоровья. Всего на свете насмотрелся, а такой красоты нигде, никогда не довелось видеть. Таким цветком в этих краях наверняка никто не обладал...

«Сам пропаду, а она пусть живет!»

Швырял на пол подушку, гасил лампу. Задыхаясь от духоты, в каком-то полузабытьи, срывал занавески, настежь распахивал форточки... На лице пусто, тихо. Только у ворот Жураков маячила горестная тень матери: все высматривала, несчастная, пропавшего сына.

Как под младенца, подсовывал осторожно под жену руки и внезапно, сильным рывком отрывал от постели. Сонная, выгибалась, будто стальная пластинка... А он, все крепче и крепче прижимая к себе, прятал голову на груди Ольги, как загнанное, больное животное, и начинал плакать. Сначала тихо скулил, всхлипывая, потом все громче и громче...

По обнаженному телу женщины пробегала мелкая дрожь озноба — не открывая глаз, узнавала жадные, жестокие руки мужа. И, вытянувшись, застывала, молчаливо, равнодушно...

К рассвету засыпал чугунным сном. Но выспаться в этот раз не дали: кто-то уверенный, наглый встряхнул его раз, другой и посадил на постели.

— Буйко Семен! Тороплюсь... Возьмите. — Одноглазый Гнат Думпаль ткнул в руки долбленый стебель бузины с запиской. — Сбор на прежнем месте. В Заливках.

Этого парня Цизорик видел у себя третий раз. Но если уж кривой черт переступал порог — мир становился вверх тормашками...

Выдул туго скатанную бумажку. На машинке было написано:

«От апреля 6, года 1941. Номер 3/174. Надрайоновая «служба беспеки» приказывает явиться на экзекутиву* провода этой ночью, в одиннадцатом часу. О месте уведомят дополнительно».

Кроме того, что было написано, ничего не знал. Разве только: туда зовут, когда поднимают в небо или закапывают в землю.

Разжевал тонкую бумажку, проглотил. Вспомнил Довбеняка, Ольгу. И стал готовиться к последнему. К сырой землице.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Старинное сельцо Заливки, куда пробирался ночью Цизорик, одним краем прижалось к влажной низине, что зарастала после паводков буйным разнотравьем до самого Днестра. Покрытая сочной зеленью, всегда весенне-молодая, стелилась она межгорьями, долинами и была, говорят, в родстве с далекой приднепровской степью.

Затерялись Заливки в пустынных полях. Неближний сосед только с южной стороны — Городиск, большое село, что широкими улицами и крепкими строениями походило скорее на городок. И сами обитатели его разительно отличались от соседей: если коренастые, светловолосые заливчане были молчаливы, осмотрительны. завист-

* Экзекутива — сборище членов СБ нескольких районов.

ливы и чванливы, то чернявые, стройные жители Городиска — шумливы, веселы, расточительны, с чувством доброго товарищества, унаследованным от прадедов.

Старый Гринчук в бесконечных своих повествованиях о давних временах категорически утверждал, что прадеды эти пришли в Городиск целой республикой с далекого юга, не так чтоб давно, не так чтоб недавно: уже при Хмельницком предок Гринчуков повел городисских на штурм фортеции папа Тадея Скоповского, в Обельнице...

И настолько эти городисские держались вместе, настолько были дружны, что жандармам пяти властей за всю долгую историю села так и не удалось ни одного из них упрятать в кутузку...

Село расширялось, расширялось и одним концом подошло к Скоморохам. И повелось издавна: брали городисские в жены светловолосых скомороховских девчат, сами шли к ним в дом. Смешалась кровь. И вот уже оба села прославились своими весельчаками и чудаками, такими, как украшение Скоморохов: Олекса Пригода, Матвей Русин, Гринчуки, Сыроветники...

Так что путешествие Семки в Заливки, долгое ли, короткое ли, продолжалось достаточно, чтобы передумать еще раз тяжкую думу. До конца.

Скоро полночь. Но заливецкое поле словно дышит. Рассказывала легенда: не спит оно с той поры, как в одну предгрозовую воробьиную ночь притащили черти издалека здоровенную гору с бурлящим источником на вершине. Сток из долины к Днестру хотели закрыть, чтоб захлебнулись спящие пришельцы. Но люди были не одни: трижды пропели в полночь петухи, черти провалились, а гора, брошенная, осталась... Встало на этом месте село, назвали Заливками. Гору — Чертовой...

Расстилается вокруг задумчивый край — Ополье. Название такое получил, наверное, от первых беглецов, что добрались сюда, под защиту лесов, из вытоптанных Ордой степей.

Шло время, забыли люди, что нашли здесь изначальный приют. И далеко от Заливок пролегли битые-езженые шляхи, не по соседству стали нынче селиться и строиться...

Село оскудело — не насчитывало и тридцати семейств. Жили без школы, без церкви и читальни, связанные с миром единственной, через поля, тропинкой. Да и ту перерезали два полноводных ручья без мостков.

Недобрая шла о Заливках слава...

Беспокойные ночи. Тревожная, гнетущая тишина безлюдья — днем. Видать, кружит здесь нечистая сила с той поры, как стала на страже села Чертова Гора...

...Под защитой набухавших верб, за частоколом из цельных осиновых бревен, охраняемый спущенными с цепи волкодавами и двумя дозорными с чешскими карабинами наизготовку, за стенами дома, поставленного, как церковь, на фундамент из гранитных валунов, при дрожащем огоньке толстой свечи, которую держал, сидя и вытянув руку как в наказание, сам надрайоновый Ярема Вир, уверенно поднялся с дубового, скрипучего кресла неизвестный человек. Уже в годах, солидного телосложения, с безупречной военной выправкой...

За каждым его жестом, даже за малейшим движением тяжелых, подпухших век напряженно следило тридцать пар глаз «рыцарей беспеки». Все собравшиеся здесь хоть и были из разных сел, но люди в основном молодые, друг друга знали. А того, кто стоял перед ними, видели впервые. Впрочем, тревожило не только это. И раньше приходилось слушать выступления неизвестных, но никогда еще не было, чтобы человек, не произнеся ни слова, заставил дрожать от страха...

В нетерпеливом ожидании ели глазами надрайонового — Ярему Вира. Такого выражения предельного усердия, униженного поклонения они на лице своего шефа до сих пор не наблюдали. И еще мучила мысль: почему Вир перед выступлением неизвестного не дал ему слова, как это делалось обычно?

Догадывались: перед ними стоит один из тех, кто все последние годы ведет их нагими сквозь терний...

— Друзья дорогие! Цвет нации нашей! Вернейшие рыцари неньки-Украины! — приподнято начал оратор, и все замерли, услышав голос, каким говорят с трибуны, выступая перед тысячной толпой. — От имени верховного провода передаю вам искреннюю благодарность. За верность! За ревностное исполнение указаний!

Надрайонового вместе со свечой будто выбросило из кресла — свободной рукой он взял под козырек, лихо стукнул каблуками и первым возгласил:

— Слава Украине!

— Слава! Слава! Слава! — с металлом в голосе, дружно выкрикнули затверженные еще при Польше слова — символы преданности и покорности.

В душную комнату, внеся аромат первого весеннего дождя, поспешно вошел дозорный в черном плаще и что-то, видимо, конфиденциальное, шепнул на ухо Яреме Виру.

Надрайоновый и перед этим зябко ежился, поглядывая на окна, завешанные мохнатыми гуцульскими покрывалами. Но молчал. И остальные молчали, плотно усевшись на широких, ясеневых скамьях, на дубовых креслах. Только хозяин дома, приземистый, щуплый человечек с висящими усами, которому из-за избытка гостеприимства самому не на чем было сидеть, не мог остановиться и продолжал кричать «слава!». Возгласив пять раз, открыл рот для шестого, но оратор остановил его:

— Друзья! Мы перешли через страшные большевистские кордоны не для того, чтобы развлекаться вместе. Мы шли, чтобы сказать лучшим сынам нашей неньки: уже пора! С помощью вернейшего нашего союзника, через сотни лет наш край станет наконец самостийным!

Слова незнакомца словно железными клещами хватали за недра душ, хотелось снова, для большей уверенности в «самостийности», вскочить и орать до беспамятства...

Но, как только что было сказано, — и он здесь, и они не для совместных развлечений...

— Как живете в этом раю, товарищи? Кто из вас уже колхозник, комсомол, партиец? Кто отрапортует о трудоднях?

Испуганно поникли воинственные головы. Тайком переглянулись и те, кто имел в прошлом и морги, и батраков, горько усмехнулись.

Оратор отлично понимал все: перед тем как повести на гибель под Крутами студентов, сам, с такой вот усмешкой, отдал свои гектары и хоромы. Но изобразил простака:

— То, о чем спрашивают, не так уже смешно... Кто не считает, тот не понимает... У вас, в так называемой области, набралось уже около ста семидесяти колхозов. Выходит, на район — пять-шесть. Темпы неплохие. Народ, голодранцы тянутся к ним. Как же, теперь их верх... Но если босячня такими темпами двинется в коммуны, то вы лишний раз узнаете, как умеют большевики с вальса переходить на быструю коломыйку... И в связи с этим меня интересует... Ну вот хотя бы вы, друже, встаньте и скажите, — неожиданно обратился к темнолицему человеку, под которым трещал дубовый стул, — в каком темпе растет количество подлинно украинских семей, выселенных из вашей местности? Прошу отдельно: за тридцать девятый год, за сороковой, за нынешний...

Человек вскочил, щелкнул каблуками и старательно отрапортовал:

— В тридцать девятом — ни одной. В сороковом — ни одной. В нынешнем — моя семья. Я, извините, перед этим несчастьем перешел на нелегальное...

— Искренне соболезную... — сочувственно вздохнул незнакомец. — Вижу, кроме того, что человек вы с образованием... Благодарю. — И к сидящим на скамьях: — Вот, значит, так... Предсказывать всем вам высылку не стану, но, будьте уверены, лет через пять те, кто останется, запляшут под коммунистическую дудку... Да, да,

хоть вместе, хоть врозь с собственными женами... И еще: извольте разъяснить... Нам известно, что здесь даже с женами членов «службы беспеки» забавляется, э-э-э, некий большевистский маляр... — Говоривший нащупывал тяжелым взглядом в потемках очередную жертву.

Представитель центрального провода не назвал имени Цизорика, даже не взглянул в тот угол, где дрожал в холодном поту несчастный муж: наоборот, его внимание отчего-то привлек Илько Смалий, рослый, могучий парень, Семкин односельчанин, сидящий на другой скамье. Те, кто был рядом, старались отодвинуться — знали, что здорово наловчился Илько вешать провинившихся на собственных своих плечах. Оттого и носил всегда намыленный шнурок, которым любил многозначительно помахивать. И соседи побаивались: а вдруг «подшутит» и при высоком госте?!

— Боженька! Пусть и там знают. В самых верхах... И братики пускай услышат. Такую бабоньку... Ради победы... Отдаю. На крест... Долго будет Украина помнить... — вслух причитал Цизорик и видел себя то с петлей на шее, то на белом коне в стольном граде Киеве...

Позади удивленно зашумели, хохотнули, даже заулюлюкали. Кто-то, развеселившись, дернул Семку за полу, его кожух, треснув, издал непристойный звук. Все заржали. Без вины виноватый Цизорик побагровел и невольно оглянулся. То, что увидел, не имело названия: в глазах побратимов, особенно односельчан, были только злорадство, только издевка. С рябого лица Олексы Нарытника еще не исчез беззвучный смешок.

Уж такое везенье, такая судьба у человека: не сделать, не сказать в нужную минуту то, что приготовил заранее, что знаешь вроде бы наизусть... Еще в тот момент, когда одноглазый Думпель бесцеремонно встряхнул его сонного на постели, решил Семка выложить проводу все, как было с тем довбеняковским гостеваньем... А грехи начнут пришивать — свалить на жену. Еще не зная,

где и когда сможет осуществить это, чувствовал по всему: позже этой ночи тянуть не следует. И приготовился, некоторые ответы заучив на память.

Если бы не оглянулся...

Секундная встреча с подлыми глазами сообщников перевернула в нем все. Но нужно было начинать исповедь, и уже не ту, что знал, как молитву...

— Прошу... Прошу пана... посла, — Семка долго не находил, как обратиться к верховной власти, и в конце концов измыслил этого «посла». Самое величальное, даже не государственное — сверхгосударственное слово! От удачного вступления стало чуть легче, он начал входить в новую роль.

— Прошу пана посла, это самое, про женушку, так уж зацепило меня... С глазу на глаз... — Теперь Цизорик оглянулся нарочно: посмейтесь, посмейтесь! — Должен рассказать с глазу на глаз великую тайну врагов наших, а сейчас скажу только: маляр этот — такой маляр, что всех нас уже, — снова зыркнул на сообщников, — разрисовал для отправки в Сибирь...

Семка почувствовал — натянута пружина до отказа, пора остановиться: и задаток господу дал в счет выкупа души своей, и обидчиков поставил у ямы, которую рыли для него. Но мстительная, а может, уже и полубезумная душа жаждала расплаты... Мысленно подмигнув всевышнему, повел дальше слащавую речь, ерничая и подзуживая:

— А кто может поклясться, что маляра этого нет сейчас неподалеку? — смотрел с вызовом на насмешников, но тем было не до смеха; удерживали оскорбленного хозяина дома, что петушился, размахивая кулаками.

И Цизорик продолжал:

— А кто знает, не сидит ли между нами маляр этот в темном углу да переодетый? Извиняюсь, конечно, но готов присягнуть: он и не такое выкинуть может...

И увидел: рука падрайонового молниеносно скользнула в карман, все остальные, вскочив, как бы выдохнули

единой грудью: а-а-ах и шагнули к занавешенным окнам. Опомнившись, стали недоверчиво присматриваться друг к другу...

Только представитель верховного провода молча, спокойно стоял на том же месте. Выждав несколько минут, резко сказал, обращаясь к Цизорику:

— Это так: бдительность прежде всего! Но не бросайте тень на нашу службу, не клевещите на нее... Если бы не то, что вы сами преданный идее рыцарь... — И снова посмотрел отчего-то на Илька Смалия. А может, почудилось?

Семкины ноги подкосились, в голове загудели шмели, и он стал медленно оседать. Как сквозь вату услыхал: люди из чужих сел рассказывали, что у них тоже побывал какой-то маляр, водился с батраками, комсомолом...

«Верховный» решительно взял быка за рога:

— В сообщениях этих кое-что есть... Пусть займется районовый провод — такая мелочь вне нашей компетенции. На все же вопросы, страхи и надежды уполномочен категорически заявить: не сегодня-завтра придут сюда с запада стальные армады, а небо почернеет от карающих беркутов... И в этот исторический час верховный провод возьмет на себя все тяготы освобождения родного края... Но пока огласка сказанного даже рядовым членам ОУН повлечет смерть... и не только смерть... Итак, прошу внимания...

Все стояли навытяжку.

Представитель верховного провода отвинтил набалдашник толстой трости, достал из тайничка скатанный в трубку лист серой бумаги и начал читать:

— Универсал в готовности...

Как в каждом «универсале» — здесь было все: номер, дата, параграфы. Громкие слова... Пышные обещания... Неоплаченные долги... Предложения: особо налегать на военную выучку. Добывать оружие. Не хватит — оструть косы... Не пускать людей в колхозы. И ежеминутно, ночью и днем, ожидать сигнала. Как будет дан — плечо

к плечу, не щадя крови и жизни своей, — резать красных...

— Так дадим клятву и подпишемся под святым документом... — распорядился уставший оратор, закончив чтение. И отчего-то выложил со стуком тяжелый кольт. — Все? Пора! — Проводил глазами от стола последнего, дунул на свечу. — Прошу поторапливаться. К работе, к работе... И помните, под чем поставили подпись...

Поднялся и собственноручно распахнул дверь перед выходящими в темное, пустынное заливецкое поле...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Благовещенье приходилось на понедельник. А за два дня до него получил неожиданно Довбеняк задание, связанное с немаловажными событиями. И, как ни странно, успех дела зависел от Семена Цизорика...

Органам государственной безопасности стало известно: со второго конгресса ОУН, сборища, состоявшегося в оккупированном фашистами Кракове, на Западную Украину отправлен некий Ворон, в действительности оргреферент верховного провода и уполномоченный так называемого повстанческого штаба украинских националистов.

Днем в субботу Довбеняка уведомили: сбор изрядно потрепанного прошлой весной надрайонового провода СБ состоится в эту или следующую ночь где-то в окрестностях Скоморохов. И Ворон будет выступать...

Пилип Довбеняк и Юрко Мельник, секретарь сельской комсомольской организации, должны были разыскать место сборища. В помощь им была выделена оперативная группа капитана Чайченко.

Навести на след этого тщательно подготовленного и хорошо охраняемого тайного места могли только его же посетители...

Скоморохи... Трудное село... Еще при Польше разрос-

ся тут националистический чертополох, и можно было заподозрить кое-кого в принадлежности к ОУН и ядру ее — «службе беспеки». Но не подозрение, уверенность была в том, что предательскую эту службу несли здесь четверо: Илько Смалий, могучий, стриженный наголо парень — от духа его сатанели деревенские псы; Олекса Нарытник, неразлучный с ножом бандит, широкоскулый, черночубый сын богача; Онуфрий Кунька, в прошлом хозяин немалого количества моргов поля и леса, гимназист-недоучка, слюнявый соблазнитель родительских батрачек, не упустивший и двух своих троюродных сестер... Ну и Семен Цизорик, больше называемый Боженька...

Еще весной сорокового года, когда арестовали оуновское подполье, честные люди Скоморохов называли этих четверых... Но попался из них только Кунька (сестры помогли), был выселен из села и по дороге сбежал. Нарытника и Смалия вызвали, но улик не хватило, и пришлось временно оставить их в покое. Чтобы не вспугнуть остальных, Цизорика не беспокоили...

Взвесив и обдумав все, Довбеняк решил: Семка Боженька. Многое подтверждало причастность Цизорика к темным делам, и было более чем вероятно, что именно этот след приведет к цели. А такие, как Смалий и Нарытник, доверием у провода сейчас не пользовались.

Дело обстояло сейчас так: верховный провод ОУН, переизбранный в сороковом году, сразу же обжегся на своих тогдашних «повстанцах»: уголовном сброде, белопольских шпиках, бандитах со стажем... Тут же спешно пришлось заняться чисткой собственных рядов, убрав, далеко не бескровно, некоторых зарвавшихся вожаков...

Но, свалив вину за неудачу прошлогодних беспорядков на рядовых членов организации, оуновцы искали теперь новых людей. Нужно было привлечь в свои ряды некоторых представителей западноукраинской интеллигенции, граждан с положением, тех городских и деревенских «простолюдинов», у кого не было ясных политиче-

ских взглядов, кто колебался, не принимая по разным причинам Советскую власть.

А тут в освобожденном крае началась коллективизация, и враги спали и видели, что село расколется сейчас на два лагеря...

В это же сложное время тянулись к Советской Украине руки Гитлера, основной надежды националистов, и бандеровская пропаганда, и реакционные церковники не оставались в стороне, делая свое... Слухи расползались один лживее другого...

Так что вряд ли могли понадобиться теперь прежние, такие, как Нарытник и Смалий...

А Цизорика, ничем не скомпрометированного перед двумя властями, тихого, зажиточного сельского интеллигента, позовут. Должны позвать... И тогда он покажет след, который потянулся за ним давненько...

И за тихим Цизориком началась слежка.

Под вечер еще проверили: Семка дома и выходить вроде не собирается. Колол старательно дрова допоздна... Ольга вареников наварила, муженек вокруг миски ходит, прикладывается... Напевает «Верую» — завтра служба в селе с хором, с дьяконами, с приглашенными священниками... В Скоморохах на редкость ценят уменье петь и любят пышные церемонии... Никто подозрительный не заходил... Семка угли в утюге раздувает, жена гладит простыни...

И вдруг в мастерскую Довбенюка пулей Юрко Мельник:

— И не выходил Боженька, и дома нету...

— Будем считать, Юрко, что вышел... Иди. До двадцати трех ноль-ноль ты свободен, если сию минуту снарядишь и отправишь Стася Гринчука на мельницу с помолом. Пшеницу, или что будет, бери свою, на худой конец — старика. Смолоть Стась должен до двадцати двух и тут же двинуться с мукой на хутор... Дорога там — погибель. Да парнишка такой — из всех колдобин выбс-

рется... А если дед лошадей пожалеет, упрется, сошлись на меня... Встречаемся, как условлено: в двадцать три у вас дома. Чайченко будет ждать.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Сумерки предпраздничного вечера принесли тревогу. Не потому, что внезапно неведомо куда, исчез ее законный... На душе у Ольги тревожно, наверное, оттого, что совпало в этом году благовещенье с весной. И будто кто-то нашептывает: не одна пришла весна, не одна, привела с собой диво дивное... Заберут Ольгу, уведут далеко-далеко от опостылевшего мужнина дома. И уйдет навсегда прочь...

И раньше, бывало, чувствовала: не сошелся свет клином на Цизориковых достатках, на богатой его хате. Но не случалось никогда, чтобы почти въявь слышала: приду, верь, приду и заберу с собой...

Недоумевающая, испуганная, перелистала Библию, задумалось над строкой: «И убоялась Мария ангела своего...» Сказала вслух:

— А я убоялась бы?

Ясного ответа не было. Для нее.

А вокруг столько людей получили ответы на самые мучительные вопросы: принесла счастье Советская власть. Но в Ольгиной жизни ничего не менялось — все обходило хату стороной...

Вот и сейчас — веселые голоса на улице. Смеются девушки, ее ровесницы, спешат в клуб на танцы.

Прислушивалась. Всматривалась в вечерние сумерки. В окошках неподалеку зажглись огни. За ними прошло когда-то детство, теперь там хата-читальня. И горит за полночь лампа, а Зореслава Король, тоже ровесница, читает людям вслух о новой жизни. Согласно кивают головами Пригода с дедом Русином, поддакивают, довольные,

сменат на радостях бывших батраков шутками-прибаутками...

К этим шуткам Ольге дорога заказана.

Семен обещает другие радости, привычные, сто раз описанные. В них соборная Украина с колокольным звоном, сечевые стрельцы в необъятных шароварах, мельницы-ветряки — давнее все, застывшее, окостеневшее...

И единомышленники его твердят: вот-вот... Но вместо ожидаемого расползалось по краю, недобро припахивая: «Украинский хлеб и немецкий меч могут сделать все...»

«С кем сделают?» — спрашивала себя и, как с горы в пропасть, глядела в этот оуновский мирок. Голова кружилась.

Словно на вершину поднималась. Страшилась высоты, но шла все выше и выше. Вокруг нее завывал ветер, холодом дышал камень и где-то рядом — обрыв. Поскользнешься — и все...

Но, запрокинув голову, не отводила глаз от другой, выше этой, вершины, где стоял Довбеняк и молча смотрел на нее. Так, будто было ему безразлично: поднимется ли, сорвется...

И вот теперь, под головокружительную музыку высотного ветра, над душным дыханием бездны, кто-то торопился к ней вместе с весной. И Ольга гадала:

«Довбеняк? — и тут же отвечала: — Нет, не он. Кто-то другой. Мой ангел?»

Час был поздний. Постелила постель. Такой уж был характер: от всего пугающего и влекущего пряталась под одеяло.

И только сняла жакетку, кто-то постучал в дверь.

Если прибегали соседи одолжить чего-нибудь, никто не стучал.

«Наверное, ангел?» — засмеялась шутке и так, смеясь, сказала темной двери:

— Входите.

На пороге — Довбеняк. Словно обманувшись в ожиданиях, отступила на шаг:

— Ах, это вы? А мужа дома нет, — смутилась, поспешно надела жакет, но застегнуть не успела.

— Угадали. К вашему мужу. А что, разве его нет? — спросил, будто не имел права войти в отсутствие хозяина.

— Нет.

— Что ж, пойду...

Довбеняк, натянув шапку, повернулся к выходу.

В эту минуту Ольга почувствовала себя такой одинокой, такой несчастной. И опередила гостя.

Он невольно как бы шел на нее — женщина отступала к двери. Стала на высокий порог и оказалась почти одинакового с Пилипом роста. Так: глаза в глаза — еще никогда не смотрела.

— Не уходите. Не пущу... Сегодня вы не такой, как всегда. И я тоже...

Много дней, стоя перед ним, думала: знает его наизусть. А оказался совсем другим. Может, видит сейчас таким потому, что там общественный дом (и чего выбрал для работы это место, а живет у Зелинского, где Зоське восемнадцать?), а в общественном все на глазах... Они с Пилипом там как рыбы за стеклом... Да и служат одному, прекраснейшему на земле — искусству. А в ее хате витают духи-покровители других утех. Разве этому диковато-красивому парню не дозволено на минуту укрыться от глаз своего строгого бога и пзведать иное: реальное, живое, осязаемое... С каждой минутой все больше росло дразнящее любопытство к гостю, которого (поняла только сейчас) почти не знала. Во время работы он был сосредоточен, молчалив, лишь иногда, словно проснувшись, задавал неожиданно какой-нибудь вопрос: холодно, нетерпеливо. Отвечала как на духу...

И вот стоял он перед ней совсем не такой, как там... И не такой, каким был тогда в гостях, и чем-то всполошил Семена.

Недоумевая, отошел от двери, сел на стул. Ольга метнулась в сени, повернула ключ; вернувшись, задвинула занавески, прикрутила в лампе фитиль.

— Свет весной глаза режет. Болят и болят. Не опасно ли?

— Если сердце болит, опаснее... — Голос Довбеняка дрогнул. Она заметила — что-то с художником творится.

А вот что на душе — не поняла. И это злило. «Ох, сбил, видать, тебя с толку расстегнутый мой жакет... Смелее, парень, смелее... И не думай, дурачок, такая, мол, святая, как на картине... Была когда-то...»

На улице пели веснянку. Смеялись девушки.

Он продолжал сидеть, но, казалось, вот-вот рванется — и не удержишь...

— Сколько же мне было тогда? — продолжила вслух. Глаза их встретились, и, словно вспомнив что-то потаенное, милое, оба усмехнулись. Но и тут — она звонко рассмеялась, у него — только вздрогнули губы.

Казалось, держит его в руках. Одного страшилась: неверным движением спугнуть, оттолкнуть...

Горела, как в огне. Сбросила жакет, шагнула к постели. Пусть видит всю. И стройные ноги... «Смотри, смотри, такою еще не видел! Не нарисуешь ли наново? Не белым днем в казенном доме, а здесь, при керосиновой лампе, под гуцульской, памятной вешалкой. А Семку куда деть, если явится?»

— Не скажете, Оля, скоро муж придет? — словно подслушав мысли, спросил Довбеняк, вернувшись наконец к давнему вопросу. И она, пугаясь, почувствовала: ускользает, отдаляется Пилип. Стал холодным, словно не из плоти человек — из металла...

— Заладили одно: где муж да что муж... Все уже сказала. Да к тому же безбожник, вот-вот благовещенье. Пошел Семен по селам, петь будет в церквах. Далеко-далеко, отсюда не видать, — засмеялась деланно, когда, услыхав «далеко-далеко», раздвинул занавеску и стал

всматриваться в ночь, словно церкви эти высились за окном.

— Так послезавтра благовещенье девы Марии? А знаете, Оля, у Иисуса не было отца. Иосиф, муж Марии, был, так сказать, опекуном. Чудеса с этими святыми, не правда ли? А вы, часом, не ревнуете мужа? Так уж в точности знаете, какому богу по ночам молится?

— Вот еще, скажете...— Передернула плечиком, удивляясь, что знает Новый завет, но тут же холодком, холодком по коже страшный его вопрос. Держалась хорошо — в жизни привыкла ко всякому. — Опять вы о муже да о муже... Каждому человеку нужно своего бога иметь. А вот ваш где?

— Думаете, совсем не имею? А?

— Это не бог. Богиня... — И, дразня, рассмеялась.

Жадно смотрел на нее, губы пересохли, но ответил неожиданно:

— Наговорились мы, как никогда. Пойду. Вы одна, а по селу и так болтают. До завтра, на сеансе...

— Завтра? Но там я не живая. И запечатленная на полотне, и распятая на постели — мертва для всех. А для вас, Пилип, для вас хочу быть сегодня... Какая весна! Сердце щемит. Не чувствуете? А может, есть у вас девушка, жена?

— Нет, — ответил, как отрубил. И, помолчав: — Нет у меня, Оля, никого, кроме той, на полотне... Что в мастерской...

— Говорят, и ночуете там иногда?

— Ночую.

— Неужели... — вырвалось у нее, но, спохватившись, продолжала насмешливо: — Со мной? И не боитесь?

— И не боюсь.

— А если на самом деле, если сейчас доказать это мне, а не той! — крикнула с вызовом.

Довбеняк, подавленный, встал со стула и прошелся по комнате.

— Ольга, — сказал холодно, почти враждебно. — Говорил вам кто-нибудь хоть раз в жизни, что тело ваше священно, что нельзя так... Поймите, мир широк... Вы должны...

— Что? Оставить законного мужа и пойти казать себя широкому миру?! А с кем? Где мой поводырь?! — Швырнула внезапное слово, словно крючок. И тут же, не дав опомниться: — Говорил как-то муж о святости моей... А тот, с кем на край света готова была, не говорил. Говорят с ним теперь буйные ветры... А мне уж и все равно... — Побледнев, выдохнула: — Так и не узнала никогда того, что называют лаской любимого... А вы... — вскочила и рывком припала к груди Довбеняка.

Он стоял неподвижно. В голове Ольги, за минуту этого спокойного сопротивления, вспыхивали и гасли надежды и разочарования. Не успела прислушаться к ним: вдруг охватило пронзительное чувство — не одни они, кто-то стоит третий...

Невольно вспомнила Дашлу. Соскользнули с плеч Довбеняка ее тонкие руки:

— Пилип! Идемте со мной! В широкий мир... Оставьте ту, на полотне. Вот я — живая! Уйдем отсюда, слышите... А то...

— Успокойтесь, Оля... — Он выпрямился, лицо потемнело...

Он не готов идти с ней? Что случилось? Неужели любил только нарисованную? Стало страшно за него, потом за себя...

— Уходите, Пилип, уходите... Умоляю. Я пошутила. Поняли? Такая вот — шалая... Уходите, а то закричу... Поверните только ключ.

Он понимал внезапный порыв отчаяния, вопль души. И чувствовал: сейчас раздастся исступленный крик.

А такое в хате Цизорика не должно было произойти. Раньше времени. И Довбеняк шагнул в ночь.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Нелегко далось это, большим усилием воли возвел Довбеняк между собой и Ольгой преграду — крепкие Цизориковы двери. И за порогом почувствовал: ноги не слушаются. Казалось — упала на него черная ночь, хочет пригнуть к земле всем грузом низкого неба. Вздохнул глубоко, огляделся. Еще с прошлого прихода запомнил (светло было): тринадцать ступенек, внизу старый, с войны, ящик из-под шрапнели, а в нем рваные Семкины башмаки...

Давила ночь, давило беззвездное небо, и показалось, было уже такое... Но, может, неба тогда не было совсем? Шагнул, как в колодец, не чувствуя опоры. И вдруг услышал свой голос:

— Ах, Ольга, Ольга...

Встали перед ним, перед мысленным взором, две Ольги — такие похожие и такие разные... Та, в хате, что не отпускала и прогнала, и другая — им изображенная, что живет на картине, в мастерской...

Закружилась голова, закружилась ночь. Где-то близко заухал филин. Угрожая? Предупреждая?

Привычным движением сунул руку в карман кожанки.

«Как коротка жизнь! И может стать еще короче...»

Снова зловеще, человеческим голосом захохотал филин.

Вернулась к Пилипу трезвая ясность: он приходил в этот дом, чтобы... Наклонился и взял из ящика старый Семкин башмак...

Передышки не может быть...

Второй уже год идет война. Второй год воюет и он — боец невидимого фронта. Уже разграблены хранилища шедевров Европы. Уже поднялся в небо дым невиданных человечеством печей... И к родине социализма протянуты преступные руки...

И националисты, выученики кровавых учителей,

стремятся задушить счастье освобожденного народа. Очередное сборище — краковский конгресс ОУН — разослал «универсал» о сотрудничестве с любыми силами, которые жаждут гибели СССР, составил «черные списки» советского и партийного актива...

«Не спеши, не спеши, Пилип, — сказал себе. — Все варианты операции обдуманы. Проводник с собаками выйдет в назначенный час. Торопиться по горячим следам — зайца ловить. Вспугнешь — ниши пропало. А накрыть нужно всю шайку. Не суетись, время еще есть...»

У ворот Гринчука задержался. Издали заметил — на подворье кто-то словно балуется: рассыпает искорки. Подошел ближе: это хозяин дома трубку раскуривает. Видно, тоже наслушался уханья зловещей птицы — обратился к подошедшему, еще не признав:

— Кричит, окаянный! Отважно кричит, когда самого не видно...

Перебив старика, Довбеняк поздоровался.

— Это вы, Пилип? А я к вам собрался. Думал-гадал, где искать? В сельсовете или у Зелинского? Хорошо, что подоспели. И что перебили: беседа у нас будет, какой не бывало... Это вы, прощения прошу, от своего имени Стася моего отослали?

— Я.

— Как считать — это для наилучшего укоренения свободы сделано или, не дай бог, кому-то взбрело паляницу завтра съесть, а времени замесить да испечь не будет?!

Перед глазами Довбеняка пестрыми стеклышками калейдоскопа промелькнуло виденное и слышанное здесь, в Скоморохах, об этой семье.

Погиб сын старого Стася от панских пуль, вместе с невесткой. Остались внуки... Какой будет Катерина? Разгорается в девушке с каждым днем неведомый еще пламень... Мария старше. Мужа ее, Олексу Нарытника, сегодня должны взять. Он станет яростно сопротивляться, станет стрелять в новый, вольный мир, в младшего из Гринчуков, Стася, что послан туда, ох, не на свадьбу...

— Для укоренения свободы... — ответил твердо.

Старик молчал, курил. И вдруг, встряхнув Довбеняка за плечи, зашептал сквозь слезы, давясь едким табачным дымом:

— Пилип, дорогой, один ты можешь ответить... Скажи, не хватит ли жертв в моей семье? Не знаешь? Узнай: четверо братьев моих не вернулись с войны. Не парни — дубы. Жить бы каждому до сотни... Таких теперь нет. А Стась — последний из Грищуков. Сердце у тебя есть, человек? Говорят, ворожить могу. Что ж себе самому счастья не наворожил?! А горя... Знаю, знаю. какую мучицу сегодняшней ночью намелете... Шел-то я не для этого разговора, да, вишь, филина проклятого наслушался. — Старик отпустил плечи Довбеняка и уже громче спросил: — И отчего ты, мил человек, на такие помолы Вавра Цебрика никогда не посылаешь? Он ведь про свою отвагу всем трубит, на рожон просится... Словом, печь, моя печь, если я на тебя, а ты на коня — славный казак тут бы был из меня... А ты — Стася! Но не потому шел. Сказать хотел: выхвалялся сегодня Вавр, что, как придет и в наш край война, выдвинут его на генерала... Не скажешь, почему сейчас не выдвигаете? Не отвечай — жизнь ответит. — Старик запихнул трубку в карман и, не повышая голоса, жестко сказал: — Торопишься... Трудная предстоит дорога. Не встретишься ли с моим зятьком? Не щади его — он никого не пощадит. А Стася, внучка родимого, препроводи обратно таким, какой отсюда уехал. Иначе — прокляну! Господи, кого же это я прокляну?! — Старик всхлипнул и, закидывая вбок искалеченную ногу, заковылял не попрощавшись.

«Ох, дед, дед... Может, правда нет у меня сердца? Но откуда знает, что быть этой ночи воробьиной? Юрий не скажет, а внук, уезжая, подробностей не знал. И кто мог оказать, что на дороге, ведущей от мельницы, может встретиться Стасю Олекса Нарытник? Да и обо мне много знает. Чудеса прямо... Видно, люди в селе обо всем догадываются. Прав был товарищ Груленко, секре-

тарь обкома: тайну государственную береги, но смешон тот, кто пытается прятать шило в мешке от своего народа...

Ох, Гринчук, Гринчук... Первым в селе признал меня, первым пришел в мастерскую. Прослезился и сказал: «Когда нас не будет — она будет... Нарисуйте так, чтобы говорила... Придут к ней люди лет через триста — что скажет им?» А что может сказать людям Ольга? О радостях материнства? О счастье женщины, вызволенной из-под вековечного ярма? О чем она тогда, молчащая, скажет?!»

И снова встала перед мысленным взором Довбеняка Ольга. Охватило горькое чувство: взгляд ее, образ, постигнутые наконец такой дорогой ценой, ускользали из памяти... Если бы удалось передать на полотне эту трагическую экспрессию — главное в лице женщины, может, и суждена была бы его картине долгая жизнь...

Трудно давалось постижение: вспыхивало и гасло вдохновение, уходил день за днем, не принося удовлетворения... Тогда сделал он как-то маленький эскиз с незавершенной работы и решился послать известному мастеру. Тот долго не отвечал. Кисть выпадала из рук Довбеняка... А когда совсем забросил работу, пришел ответ:

«Приветствую с весной. Перед вами большое будущее... Но произведению вашему не хватает, я бы сказал, чего-то самого-самого... Чего? Не знаю. Найти можете только вы...»

Снова бессонные ночи. Эскизы. Но «самое-самое» не приходило...

И вот — найдено!

Что же, что же увидел в ней сегодня?

И в обманной тишине ночи будто кто-то прошептал странно знакомые слова:

«...Я ныне великому страданию ее поклонился... Был такой у нее один взгляд... И мгновенно ужаснулся я сердцем своим от того, что уготовил этот человек для себя. Раз или два за жизнь видел я подобное выражение ли-

да... Оно словно отражало всю судьбу этих людей, и судьба их, к сожалению, сбылась».

Слова Достоевского...

Времени оставалось в обрез. Но он успеет сделать два-три штриха и в условленное время будет на месте сбора.

Уже возле сельсовета почему-то оглянулся и увидел Ольгино окно. Оно светилось, и на занавесках плясали тени. Одна большая, вторая поменьше. Не чудится ли? Может, Семен? Прятался в хате и сбор в эту ночь не состоится? И порыв Ольги, тяга ее к нему — игра, обман? Нет, так не обманывают. Это невозможно.

Распахнул дверь в мастерскую. Холоднее, чем на дворе: признак побеждающей весны. Вздрогнул. Но куртку снял. Зажег лампу. Выкрутил фитиль — в стекле застреляло. Вгляделся в лицо на картине.

Да, только так, не иначе. Вся суть —в ее взгляде. Вот оно «самое-самое»... Теперь уже знал, что скажет людям этот взгляд и через много лет...

И за минуты, украденные у ночи, не предназначенной для искусства, он закрепит только то, без чего картина не может жить...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Когда Довбеняк тяжело шагнул через порог, в ней словно что-то оборвалось.

Немело тело, лицо заливали слезы, как дождь в ту давнюю, предпасхальную ночь. Шептала молитвы, но легче не становилось.

С головой нырнула под одеяло — привычное, единственное убежище. Не успокаивалась: все прислушивалась, все ждала...

За полночь забылась в тревожном сне. Сколько длилось — не знала. Вскинулась от легкого постукивания в окно со двора. Стук показался знакомым...

— Открывай, Ольга!

Стекло снова тихонько задребезжало. И еще услыхала: во двор вкатилась телега, мягко постукивая колесами. Ночь распогодилась, посветлела. В хате угадывались очертания предметов. Нерешительно подошла к окну — под ним длинная тень: человек. Повозки или телеги видно не было — звук колес затих. Только будто пофыркивали кони и доносилось чье-то шушуканье.

«Воры? Какая еще напасть?» — подумала.

Длинная тень снова замаячила под окном. Снова стук — три раза по три. Задула только что зажженную лампу. И узнала тупое лицо Илька Смалия.

«Судьба моя!» — с ужасом вглядывалась в черную за окном тень, застыв, не в силах оторвать глаз.

Уже поняв невозвратимость того, на что надеялась еще этой ночью, вышла в сени в ледяном ознобе и повернула ключ в дверях, словно нож в собственном сердце...

Пригнувшись, ввалился Илько Смалий, прикрыл дверь и, засопев, неожиданно прижал Ольгу к себе.

Съежилась от прикосновения, уперлась в его грудь локтями.

Илько, отшатнувшись, прошипел:

— Сдурела, баба? А тот год — другая была... Жаль, времени не нашлось... Да и сейчас... Слушай, там Семка на телеге, муж... Чего-то ослаб, дурень... А при нем большой человек. И ласка твоя нынче для него. Тихо, уже идут...

Незнакомец вел Семку, поддерживая под мышки. Поравнявшись в темных сенях с Ольгой, сказал непривычным, интеллигентным языком:

— Господи, как давно не дышал я запахом родной хаты, ароматом святой женской красоты! Не пугайтесь. Муж немного прихворнул. Вы, женщины, должны привыкнуть к страданиям: нам будут нужны тысячи милосердных сестер. Многое еще будет нужно... А пока обойдемся сами... — И распорядился тоном, не допускающим

ослушания: — Прошу посторожить. Я врач. Если запо-
дозрят в частной практике, возьмут налог...

Замигал карманный фонарик Смалия. В прыгающем лучике нежданный гость, Ярема Вир, разглядывал Ольгу. А она, моргая от внезапного света, смотрела в эту минуту на побледневшего мужа, и тень сочувствия мелькнула на ее лице. Ничего не спрашивая, убрала со лба Цизорика влажную прядь волос.

— Не пугайся, Олюня... — Семка с трудом перешагнул порог ослабевшими ногами.

Неизвестный не отводил глаз от Ольги.

И она взглянула на него. Таких мужчин боялась всю жизнь: видя красивую женщину, они не робеют, не теряются... Отчего-то казалось: приходит с ними беда...

Прибывшие вошли в хату. Ольга, набросив безрукавку, выбежала во двор. Полной грудью вдохнула резкий ночной воздух. Такие обязанности выполняла не впервые. И никогда толком не знала: какие беседы, какие встречи сторожит в своем доме. Но чувствовала: все эти пришельцы, да и муж тоже, таятся от нее. Стоит войти — сразу меняют разговор, ничего не поймешь...

До сих пор все исполняла покорно. А сейчас стало невмочь. Обошла вокруг просторного Цизорикова дома. Оглянулась и прижала ухо к углу оконной рамы.

Отчетливо слышался голос незнакомца. Казалось, он торопится, как кузнец, когда лежит перед ним раскаленная добела заготовка... Только вместо молота был неизвестный в Семку словами:

— Чего упираетесь, друже? Не выдумывайте ерунды... Только что в Кракове... Второй великий конгресс... Наши батальоны... Свобода... Кажется, шопот во дворе? Хотя показалось... Лошади — в стойле, телега — под навесом, жена надежная. Хорошая выучка! Итак, повстанческий штаб готовит... На вас, дорогой, возлагается великая миссия. Будьте мужественны... От вас, так сказать... Вы столкнете камень, лавина покатится сама... Так что Довбенюка... Первым...

— Я? Мне нести такой крест?! Бремя славы... Не выдержу... Я...

— Это семизарядный? Хорошая амуниция! Впрочем, пусть подождет. Ножом! Именно ножом... Поскольку террор — наилучший метод агитации и пропаганды. Отчего, спросите? Оттого, что известие о террористическом акте распространяется молниеносно... Да, да... Такой подходящий случай... О политике временно помалкивать. Потому — общество... Ни шагу самому... Сигнал будет дан: когда, как... И в тот же день народ последует за вашим бесстрашным примером.

В хате кто-то крадучись подошел к занавеске. Ольга пригнулась, отползла за угол. Выпрямиться, встать, уйти бы подальше! Но напряжение слуха, нервов, тела словно сковало. Прошло несколько минут, прежде чем смогла встать во весь рост и до конца осознать услышанное...

Подгибались, дрожали ноги. Прислонилась к стене — не упасть бы, и прислушивалась уже не к тому страшному, что говорилось там, в хате, а к бешеному стуку своего сердца.

«Господи! Что задумали?»

Ответить себе не успела, услыхала: кто-то месит землю, шагает по вскопанному огороду Пригоды, топает через дорогу, к развалинам Гершковой корчмы... А еще через минуту возле дома ее детства, хаты-читальни, что-то хлестнуло по окнам... И еще... И еще... И послышался отчаянный крик...

Нужно было вернуться, сообщить.

Сделала несколько шагов. Все медленнее и медленнее... Запрокинув голову, посмотрела на бездонное небо, на красу почного мира. И вдруг, обозлившись, с какой-то еще неясной мыслью вышла за ворота, на дорогу, по которой только что кто-то прошел.

Нашла в грязи камень-кругляш и наотмашь, по-женски, швырнула в черное окно собственного дома.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Из-за небывалого успеха теперешних забав, что растанцовывались вовсю только к рассвету, вошел в этот вечер в хату-читальню Матвей Русин первым, да, видать, и последним. Время было позднее. И дед мысленно сокрушался: дал, выходит, маху. В комнате сидела одна-одинешенька сельская комсомолка Зореслава Король.

«Послал бы бог Пригоду... Посидели бы, послушали, как жить по-новому — ох и здорово! А то кулаки наши всякое по селу брешут. Злые они, как псы...» — размышлял старик.

Только вспомнил о Пригоде, а он, легок на помине, уже тут: открыл тихонько двери и возник перед обрадованным Матвеем. Выбритый. Вымытый. И чуть, может, хмельной. За руку поздоровался с девушкой, сказал:

— Давай начинай, Зоря. Сегодня, знаю, никто больше не придет: песни в клубе завели. Разве что младшего Нарытника принесет — выперли его из клуба вместе с родителем...

— Какого Нарытника? Того, злющего, что теперешние читальни десятой дорогой обегает? — Зореслава выжидательно посмотрела на Русина, не растолкует ли странные слова, не остановит ли Пригоду? Но дед, услыхав знакомое имя, испуганно передвинулся со своим стульчиком подальше от дверей и промолчал.

Олекса видел это, но продолжал:

— Ох, Зоря, наварили мы кулеша еще на прошлой забаве! И так насластили и себе и богатеям вместе с Ганькой Башовской, что о вуйко Матвее, да и обо мне в книгах начнут писать. А пока — читай, дочка...

Зореслава, придвинув лампу, начала читать. Увлеченно, долго.

— Не хочет ли еще кто к нам прибиться, да в двери не попадет? — перебил девушку Пригода. Такое случалось редко, и она удивленно подняла глаза от книги. — Вуйко Матвей, не знаете, часом, кто там скребется?

Может, твоя симпатия, Зоря, намекает, чтобы целоваться вышла? А? Нет, говоришь? И вы, вуйко, отчего-то не имеете желания дохнуть свежим воздухом да заодно помочь заблудившемуся попасть в двери? Ладно, сам пойду посмотрю... А ты, Зоря, хочешь — подожди минутку, хочешь — продолжай. Мне вуйко Матвей по дороге домой пропущенное разъяснит...

Олекса вышел в сени, нажал на давным-давно знакомую щеколду работы Грицка Коваля, и она, как положено, безотказно соскочила с зубца. Но когда дернул двери, они, к удивлению, не сдвинулись.

— Или я ослабел, или тоже не за то тяну? — недоумевал Пригода и, взявшись за двери здоровой рукой, так рванул, что чуть не сдвинул вместе с притолоками. Ничего не изменилось, только с наружной стороны, в том месте, где когда-то сам подсобил Грицю вбить добрый крюк для замка, что-то крякнув, заскрежетало. И снова — тишина...

Может, кто другой задумался бы надолго: что приключилось с дверями? Пригоде же не впервые доводилось наблюдать подобное, только, правда, не с этой стороны... И поэтому он, словно на ветру, глубже натянув шапку, сказал себе:

— Матвея Русина и Зорю Король закрутили проволокой среди темной ночки в хате-читальне. Искусно закрутили, я бы сказал... Оно бы совсем здорово, кабы не я...

Что ни край, то свой обычай. Так и в Скоморохах: здесь с незапамятных времен считалось более позорным, чем деготь на воротах, запереть наедине в хате какую-нибудь парочку даже днем, а уж среди ночи... Да, это было унизительным издевательством над теми, кто, оказавшись на запоре, отсидев там, выбирался потом через окна. Выбирались на глазах зевак, под насмешки и хихиканье...

И потому на всякий случай добрая половина хат в селе уже не имела дверных пробоев со стороны улицы...

Олекса вернулся из сеней встревоженный:

— Не послушался бы в свое время Гриць Коваль Цебрика, не присобачил бы на окнах решетки, когда устраивали здесь читальню, чтобы, часом, Зореславу не выкрали, — плевал бы я сейчас на те обычаи: через двери ли выходить, через окна... Не таращитесь на меня так, люди добрые, потому, как скажу сейчас вам одну деликатнейшую вещь, то...

И в эту минуту, словно обрушился мир, страшно ударило в верхнюю раму окна — мелкими брызгами разлетелось стекло по хате. Снова, еще сильнее, и, чиркнув о прут решетки, большущий кирпич пролетел над головой Зореславы, шлепнувшись у ног Пригоды.

Кто-то тяжело топтался у хаты, и тут же в другое окно с такой силой саданули дубинкой, что высаженная рама повисла на прутьях, а осколки помельче вцепились в бороду Русина.

Неожиданное нападение подняло всех на ноги. Матвей, оскорбленный надругательством над своей роскошной бородой, клял кого-то, угрожающе размахивая костылем. Девушка поспешно прятала в шкаф Конституцию, а Пригода рассматривал у лампы надбитый кирпич, почерневший, влажный, поросший мохом с одной стороны.

— Вот и знай, Зорька: не приделай я тогда с Грицем решетки — искры полетели бы из хорошенькой твоей головки. С близкого расстояния, вижу, целился, гад, прямо в лицо хотел...

Еще раз глухо ударило: бросали, видно, издалека и вместо окна попадали в степу.

— Зажмурься и прячься за меня, дочка. Кто знает, сколько таких кирпичин припасли. Вуйко, смотрите, я узнал — этот из фундамента старой Горшковой корчмы. Понюхайте, понюхайте, не брезгуйте — сами на него не одну кружку пива пролили, когда на месте был...

Зореслава весело, как на гулянке с парнями, рассмеялась. От звонкого, молодого смеха стало легче, напряжение начало спадать. Ведь страх за свою жизнь — штука

такая, что не может парализовать надолго... Особенно если когда-то рвалась над человеком шрапнель, а теперь созидается новая жизнь...

— Читаем дальше или отложим? — Девушка стояла с ключом у шкафа, отчего-то не попадая в замочную скважину.

— Идти нужно! — в сердцах решил Русин. — Дать знать, что государственной читальне такой ущерб причинили. И что Зориной жизни...

— Вместе с бородой Матвея Русина, — попытался закруглить обвинительное заключение Пригода, видя, что старик хрипнет на глазах...

— Именно! Пора с ними рассчитаться! К Юрку Мельнику пойду, — заторопилась и Зореслава.

Но планам этим Пригода нанес сокрушительный удар:

— Так-то так, да из хаты как?! В суматохе сказать забыл: вы, вуйко, вместе с Зореславой Король заперты в этой самой государственной читальне...

Нужно было видеть, что здесь делалось после сообщения Олексы!

Девушка стрелой промчалась в сени и тут же вернулась. Села на скамью, тайком вытирая слезы, но они капали и капали... А Матвею проверять зачем? Никогда еще он не сомневался в правдивости сведений друга. Для чего-то открыв печную дверцу, со скорбным видом заглянул вглубь...

— Ах, вуйко, вуйко, жалеете, что не родились котом? Раз-раз, и были бы на трубе... Кошечка Башовской именно так сигает...

Русин, перебив эти рассуждения, попросил у Зореславы прочитанные газеты и начал мастерить из них занавески на окна, свидетельствуя тем самым: стыд желательно прятать, и дороги к Юрку Мельнику заказаны. Будучи в таком полоне, никого и через решетки на подмогу не позовешь... Лучше уж играть в прятки за бумажными занавесками. Даром что сидит и плачет здесь

сельская комсомолка, которая еще вчера выбросила прочь весь старый, прогнивший мир с его писаными и неписаными законами...

Сквозь выбитые стекла по хате гулял зябкий весенний ветер, а новомодные занавески деда давно уже лоскутки-полем искали по селу пристанища. Коптящий язычок лампы потрескивал и вздрагивал, вздрагивала и легко одетая девушка.

— Ну, вуйко, трижды за неделю, без воскресенья, влипли в мировую историю! А третий, последний, потянет и четвертый... Потому тетушка Василина не из тех, кто потерпит мужнино отсутствие почь напролет. Тем более что заперли вас с нецелованной девкой... Может, ошибаюсь, Зоря? Как скажешь? А меня, если кто спросит, тут нет. Мол, влез к вам... потом... сквозь решетки, когда стекла побили...

Да-а-а, не припомните ли, вуйко, как перед войной, в тринадцатом, заперли было старого Харивуду с овечкой молоденькой, Каськой Рудой?! Помните, старая Харивудиха из-за такой ерунды отреклась от мужа, простила только, когда мы с войны пришли? Да и то потому, что поставили «сечевики» старика старичным, а в ту кутерьму, сами знаете, никто на такое не соглашался... А кто, скажите, выдвинет сейчас Матвея Русина на сельсоветского председателя, если Цебрик имеется — такой видный, такой обходительный человек, да к тому же нынче за службу обществу платят не плетями, а деньгами, и немалыми? Так, значит, вуйко... Я-то невинно пострадавший. А вам, старый греховод, нарекать не на кого. Сами людей запирали. Помните, еще я, Федь Кириллов и Дмитро Сыроветник переоделись в жандармов, а вы, женатый уже, составили нам компанию? Штатским, так сказать, кавалером... Забрались мы тогда под окна старого Подвального, потому знали: самого дома нет, а дочки молоденькие. Мы, значит, стали с южной стороны, вроде жандармы, а вы с другого бока один, и проволока в руках. Подумать только — женатый человек! Безусому-то

негоже с таким солидным родичем под одним окном ошиваться...

«Стук-стук-стук!» — Дмитро Сыроветник папиросницей в окошко. Подбежала старшая. Та, что вас не захотела, когда женихались. Жандарму по-польски объясняться нужно, Федь Кириллов и зашипел гусаком: «Гдзе ойцец?» А она: «Ой, наше жандарм, исту его вдома. Пошедл до дзедзица яблица шильновать...» Мы от этого панского разговора со смеха попадали. А вы... ох и глаза у вас тогда были... Заметили, что по огородам настоящие жандармы подкрадываются. Что дальше было, наверняка помните...

Говорите, и я грешен? Грешен... Еще мы вместе дочку Самойла Бадыляка запирали. С каким-то городским фраером. А знаете, потом продал кто-то... и бежал Самусь за мной до Липицы! С тем топором, что Гриць Коваль, холера, смастерил. А какие топоры Гриць ковал — всем известно! Теперь за Бадыляком зять его так гоняется. Ну, может, чуток потише...

Говорите, хватит? Тогда советую — свет гасите. А то ненароком сглазит какая-нибудь языкатая ехидна. Господи спаси, чтоб не принесло сюда Ганьку Башовскую, когда ранним утречком приползет клуб запирать... Тушите, и все. А Зоря теперь вычитает вам кое-что на ощупь. Ох, подмораживает! Весна нынче с норовом. Дайте, вуйко, девушке свою кацабайку. Потому как я начинаю обдумывать ваше спасение. И позарез надо, чтобы хоть с полчаса было еще тепло, и не только голове. Кто сказал, что человек думает одной головой? Если бы вы, вуйко, тогда только ею пользовались...

Пригода наладился гасить свет, но Русин — ни в какую:

— Будем в сенях сидеть, а лампа горит, людям и видно: не творим в потемках черт знает что... Для того и закрутили нас вороги лютые, чтобы возвести на меня последний, смертельный поклеп...

— Будет смеху, будет, — согласился Пригода.

— Ох, подозрительно мне, Олекса, нет ли, часом, тут твоего наущения? — дед Матвей расхаживал, прихрамывая, по хате.

— А я говорю — политика тут есть, вот что, и не записывайте меня в злоумышленники вместо заклятых врагов. А то Башовская и так зуб здоровенный на меня имеет: присягнет, гидра, что видела своими глазами — одним сивым, другим рыжим, как я лупил по стеклам, загибал зубами проволоку на дверях, да еще грозился Савра Цебрика измолотить...

Зореслава согласилась с Пригодой.

Когда допекло протирать углы в сенях, а прочность всех железных преград была уже проверена, Олекса забрался на чердак. Долго ворожил там, барабанил в жестяную крышу, чихал. Спустился вниз: на востоке заметно посветлело, и петухи прокукарекали второй час пополуночи.

— Нельзя на небо влезть, штаны снять через голову и еще выбраться из этой хаты... Крепкие запоры были у Ольги, так и не соображу: через какую щелку пробрался к ней Семка Боженька?

Пригода заметно терял охоту точить лясы и принялся за дело — искал на ощупь в трубе какую-то, как выразился, «железячку», пытался просунуть крупную голову между решетками... Ничего не вышло. И, потеряв терпение, заявил, что ждет еще полчаса, а тогда зовет на подмогу...

— Не дадут наши комсомолы осмеять свою дорогую Зорю. А с ней вместе, может, и Олексу Пригоду. А вот с вуйком Матвеем пусть уж будет воля божья. Он в церковь ходит. Святых заступников имеет...

Русин не отвечал: тихо похрапывал в уголке на своем низеньком стульчике. А Зореслава всполошилась, стала умолять, чтобы дождались утра, не поднимали шум глубокой ночью...

Посидели еще с часок. Олекса словно к чему-то при-

слушивался. И наконец все явственно услышали, как на дверях заскрежетала проволока.

Вытащили тихонько из сеней в хату заспанного Русина. Стали дожидаться. Насмешек, подмигиванья, пересудов...

Появление открывшего их не задержалось: на пороге возник незнакомец, в одежде, потрепанной ветрами и непогодами. Издевки, хохота не было. Человек сказал как бы себе:

— Окна выбиты, двери закручены проволокой, огонек мигает, как лампада на могиле в поминальный день. Решетки... Что за напоминание в это первое мое утро?! И люди? Как из-под земли появились... Минуту назад — живой души не видел...

И гаснувшая лампа, и зарождающийся рассвет наполняли хату серыми сумерками. Стоящие не могли разглядеть друг друга.

Пришелец, протянув руки, шагнул к девушке, что застыла у стола, но остановился на полдороге. И произнес какие-то незнакомые слова. По-цыгански, что ли...

Зореслава дрожащими руками подкручивала все выше и выше фитиль лампы, а на дворе все больше и больше светало. Пытливый Пригода осторожно пододвигался поближе к незнакомцу. Всматривался в красивое, будто виденное раньше лицо и, казалось, готов был вот-вот опознать, если бы не лежал на этих чертах отпечаток чего-то тяжкого, мучительного... Даже Италия вспомнилась. Та волокуша из виноградной лозы, на которой тащил его по красным острым кампям верный камрад Гринчук. И ночь... А еще потом: день и черное поле... И уже не он — Ольга. Гонит, гонит на ошалевшую толпу... Ольга... Бывшая хозяйка этого дома и нареченная. Чья нареченная? Чья? И, пытаясь оттянуть ответ на неверо-ятную догадку, спросил шутливо, просто лишь бы спро-сить:

— Это ты, цыган, закрутил нас?

— Не я, люди добрые.

Ночь отступала перед рассветом. Светало.

— Или с ума схожу, или пророком становлюсь?! — голос Пригоды так не звучал никогда. — Брось ты эту проволоку, что держишь, и скажи... скажи, не знавал ли ты раньше паренька из нашего села... Данилку Журака?

И человек, чье имя произнесли, под короткий вскрик Зореславы упал на широкую грудь Олексы.

Когда над юной девушкой и старым дедом пронесся этот шквал, воскрешающий из мертвых, они стали медленно оживать и сами.

Казалось, наступило время безграничности человеческих слов. Но в жизни людей бывают минуты, когда слов не хватает.

Все замолчали. И молча обнялись.

Лишь заторопившись домой, Русин сказал, еще раз обняв своего спасителя:

— Ни во что нечистое за дверями, что открыл, — не верь... Отощал, парень. Ничего, выходим. Приходи к нам трижды на день парное молоко пить. Коровой разжились. Наша власть. Оставайся здоров!

А девушка ушла как девушка. Тихонько. Молча. Только глаза говорили о многом. Может, о том, что не забудет никогда эти руки, что распахнули перед ней двери, избавив от липкого болота пересудов. И впервые в жизни она покраснела...

А Пригода, что-то тихонько сказав Зореславе, уселся опять, будто решил снова отсидеть здесь такое же время...

— Эх, парень, где ты так вырос и где тебя так мололо? Расскажи. Расскажи, — шарил в пустом кисете и ловил себя на том, что, как и Русин, избегает называть имя — Данило.

Журак долго молчал. Потом спросил, запинаясь, с трудом:

— Живы ли, здоровы тато... мама? И тут вижу: ее хата, вроде не ее... Что случилось? Говорите, вуйко, все...

— Живы, живы... И мама и тато. А еще кто-то цве-

тет. Только и ты скажи чего-нибудь для начала... Как там чужие края? Сердце подсказывает — был там. Да и что говорить?! Похоронили тебя в селе. Крест воздвигли... Ох, парень, докажи хоть чем-нибудь, что ты... Данилка, которого я знал и о котором так убивался... Не хмурь бровей. Не удаются мне грустные слова. Я же на селе шутник. А что там курят?

Угостил. Закурили. Пригода видел, что табачок не из чужих краев, но помалкивал. Курево хвалил, торопил с рассказом:

— Рассказывай. Рассказывай...

— А что? Разве только — как ни крути, — а в одном повезло на родной земле: во встречах... Такое, говорите, могли выдержать только самые крепкие: вы и дед Матвей — старые вояки. Да девушка, которую я не узнал... О чем только не думалось, не мечталось... А встреча с матерью... Прошу вас... Пойдите к моим. Так — никто на свете не предупредит.

— Олекса Пригода готов...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В ночь под благовещенье потеряла сон и Ганька Башовская. Не от тоски сердечной, не от горя... Из-за нестерпимого зуда, что расползался по телу с ног до головы. Вот и не спалось. Только-только задремала после вторых петухов, как почудилось: пронесся над селом странный вихрь. Будто молотят на сильном ветру по дороге кованые копыта, а заодно, в общем ералаше, лупят и по чьей-то дурной голове. Ох, по дурной, потому никто ночью не высунет из хаты на улицу умную голову. Вот хоть бы она, Ганька Башовская. Пригода, злейший враг, и тот вынужден признать ее отвагу: «Это баба такая, что сам черт сапоги на вилах в окно подает — подступиться боится...» И хоть ночью толком глаз не сомкнула, по во двор, даже по естественной надобности, не вы-

шла. Кое-что да значит, когда, кроме отваги, разум имеется...

Зуд добрался до подмышек, и охватило Ганьку жгучее желание дать рукам волю при виде чьей-нибудь ненавистной хари. Встретилась бы такая по дороге! Но в селе тишина, спокойно рождается день — все как назло...

Так взозлилась с утра, что белый свет вокруг видела плохо. И потому углядела Цебрика только перед самым своим мокрым носом: шагал с деревянной саженью в руках, ровненько, как по линеечке, вымеривая от забора Пригоды аж до хаты-читальни...

«Сажень как раз уперлась в давно не беленную стену. Ганька, сбитая с толку таким зрелищем, взглянула туда же и шлепнулась бы оземь от увиденного, если бы не ухватилась за привычное славословие:

— Кондрашка бы меня трахнула! Оглохла, что ли?! Из-за забора Пригоды окна перебили, а я... дрыхла?!

Цебрик, что-то записывающий в книжечку, вздрогнул от неожиданности, но, овладев собой, даже не оглянулся на знакомый голос, а продолжал выговаривать стене:

— Спите тут все... А ты один ищи нитку от клубка... Зорька, демонская девка, целыми ночами керосин жжет и... — запарившийся, оглянулся на Башовскую, переменил тему. — Удачно подошла, Ганя. Первым свидетелем...

— Рехнулся? Свидетеля первым и бьют. Тащи присягать тех, кто здесь по ночам шлендрает. А мне, Вавр, за твои слова знаешь что?! Разве я чего видела? Чтоб ты маму свою так видел... — Только юбка Ганькина мелькнула.

Зашагала дальше. Шла и поглядывала искоса на окопные стекла. Оттого спотыкалась, не замечая рытвин и выбоин, кляла раннюю весну, Цебрика с дурацкой саженью, себя...

Напротив хаты Семки Боженьки по колени влетела в глубокую лужу, но даже не пискнула. Глаза уткнулись в такое несуразное, что себе не поверила. В окне бого-

мольного зияла здоровенная дыра. Как нарисованная. Как на собственной ладони. За дырой — занавеска в грязи. Кидали, видать, с улицы.

— Ха-ха-ха! — так хохочут гиены в кошмарных человеческих снах. Радость охватила душу и тело, прогоняя ночной зуд. Остался только в ногах. Глянула: увязла по щиколотку в холодной жиже. И холодной не показалась. — Ха-ха-ха! Гляди, в читальне ветерок гуляет! Окна-то государственные. Вот тебе и политика. Ну как, вражина мой косорукий, Пригодушка, толстую задницу снова подставлять придется?.. Из-за твоего забора казенные окна выхлестали... Австрийские гостинцы получал, польские боком лезли, теперь и советских не миновать... Нюх у меня хороший...

Столько нежданной радости принесло Башовской это благовещенское утро, что трудно было сразу в нее поверить. Домой от читальни возвращалась именинницей...

Раннее чистое утро. Но отчего-то всюду за воротами полно людей. Только у дома Боженьки тишина да грязная занавеска на разбитом окне. Дом как зачумленный... А Пригода, придавленный, видно, грузом новостей, с мостка на мосток, от тына к тыну. От одной кучки людей к другой. И Ганька, спрятав руки под передником, показывала всем встречным могучие фиги:

— Блей, блей, пан Пригода, посмотрим, что из этого выйдет!

Дома заметила: муж чем-то напуган, старуха свекровь шарит по сторонам глазами, словно у нее только что сок межи отчекрыжили... С ходу выпалила новости, по восприняли их в хате без интереса. Обозлившись, стукнула мужнина брата головой о притолоку и, чуть этим успокоенная, пытливо посмотрела на своего чем-то обескураженного неповоротливого мужа. Он молчал. Тогда, не задерживаясь больше, выскочила на крыльцо и схватила рядно.

Для успокоения трепещущего сердца дальше следовало поступить так: развесить на заборе рядно, там же не-

рехватить Журачиху и поздравить со святым благовещеньем — чем еще на шаг приблизить к могиле... Вторглась с такими мыслями на словно разбомбленное подворье Жураков, млея от предстоящей утехи. И как не тешиться?! Другая от радости вверх тормашками пошла бы... В отличие от сыночка ихнего, кем-то ухайдаканного, не перлась ни в политики, ни в гимназические классы, и, думаете, как? Хуже вышло? Не-е-ет, ни одна власть ничего у нее не забирает, а чего-то да и принесет. Новая принесла землю. Год уже — шепнула, где нужно, и помогла выкурить в дальние края умпика соседа слева. А хозяйство его и огород Вавр Цебрик властью своей ей приписал. Теперь с самим Пригодой соседями стали. Ну и что? Не даст себе хваленый адвокат супротив нее толкового совета. Недавно вот, увидев, так драпал, чуть не сдох...

И у Жураков здесь тоже все к черту лысому идет. Не первый день лелеет Ганька надежду: скоро уже, скоро потащат на погост старых плакс — больно зажились. Вот и еще одно хозяйство к лону своему прижмем, наследников-то тю-тю... А там, смотришь, за Пригоду возьмемся — и здравствуйте, дед Гринчук, соседушка... С ним легко управиться. Совсем никудышный стал: все полеживает. Сын с невесткой ясной кровью изошли во благовременин... Внучка старшая за бандита пошла... Средняя тоже хороша: пустодомкой вырастет... Землю не любит, не гляди, что дед такой хозяин! Давали, дуре, кусок панской пашни — отказалась. Грамотная сильно... О школе технической пищит чего-то, на собраниях про тракторы долдонит, про колхозы богатые... А младшенький, Стась, совсем головой слаб. Шатается по белу свету, бродит, словно цыган...

А тут под сердцем новая вроде жизнь зашевелилась... Будет, будет землю тоже любить... Насобираем помалепьку соседскую. Да и сами чуток жирных кусков пашни имеем: отцу дали в вознаграждение. Потому — мастер: крыши лучше всех настилает. Да, когда имеешь землю —

ты все! А эти газеты большевицкие да россказни Довбенячка про колхозы — байки одни пустые...

Но самые большие надежды возлагала на Журавков. Оттого и старалась — день за днем вбивала лишний гвоздь в их сердца, пора, мол, пора на тот свет...

И в удачливый день, в минуту радостного подъема, надо же было случиться такому...

Еще перед тем, как пойти подметать читальню и произвести утренний обход своих владений, у межи с Журавками дважды стрельнула в правый глаз какая-то нечистая сила... Что-то было не так на подворье стариков... И когда возвращалась, слыхала краем уха по дороге непонятные разговоры — не об окнах разбитых, а все больше о Журавках. И ох как не понравился ей ветер, которым подуло с их двора...

Сегодняшняя радость началась с окон. И потому сразу уставилась на соседские. Стекла целы. Но верхние форточки распахнуты на четыре стороны света, и валит из них синий-синий дым... Зашныряла глазами по двору. Может, жарит что старая перечница? Молоком подгоревшим здесь не зачадит: давно уже вывел Мордко из хлева последнюю корову... Не горит ли, часом, их развалюха?! На самое святое благовещенье... за грехи! Послюнила палец, поискала ветер. Куда шарахнет, если ветром раздует, если разбушуется? Ой, боже, да к ее же хате потянет! Уже набрав полную грудь воздуха для крика: «Караул! Горим!» — сдержалась. Времени на это хватит. Поводила носом, принюхалась. И медленно осела наземь. Дым был табачный! Ах, пусть их кровь нежданная зальет, как ихнего сыночка! Полна хата мужиков... Табачищем дымят. Старый арап на двадцать лет насушил. До будущего потопа. Чтоб ты усох вместе со своим зельем!

Ухватилась за перекладину изгороди, поднялась. Но половины кипящих в горле проклятий не высказала. Вспомнила, какого маху дала неделю назад: пророчила старухе, что в их хату сама нечистая сила не завернет,

а про честных людей и говорить нечего... И вот тебе — полна хата, полнехонька... Чем целое утро ее болван занимался, если не устерег — что же там такое случилось?! Может, старый дуба дал? Выходит, хорошо, что не выпустила кур из сарая...

В Башовскую вселился ее злой дух. Не могла уже устоять на месте, переступала на цыпочки, брызгала слюной, сама с собой шипела, как змея. Такое Ганькино настроение ближайшие соседи знали отлично. Видела, криво усмехаясь, как они, будто от ливня с градом, торопливо убирались со двора: кто прятался за двери хаты, кто спешил в село. А слезливцы Жураки сегодня и в ус не дули... Такие смелые стали? С чего бы? Схватила с насеста крайнюю, пеструю, уже ученую, подошла вплотную к их двору. Выпустила курицу на соседскую землю. И, таким образом, теперь имела полное право проникнуть на чужую, вражескую территорию, навострить глаза и уши на что пожелается — никто из хаты и дверью не посмеет скрипнуть, потому скрипнул было сосед ее слева. Да и того не стало...

В самый раз подслушивать, да в хате полно. Старики сидят под образами, молодежь посредине комнаты толпится. Гуденье, как на пасеке Гринчука, чтоб и его вместе с Жураками черти побрали.

Голоса молодых, перебивая друг друга, расспрашивают кого-то неизвестного.

— Ой, ты аж из тех стран? Правда? Говорят, Гитлер... Муссолини... А у девушек нет кос? Цыганки... Лягушек там едят?

А неведомый этот, тоже тварь, видать, крепко потеет: запинается, толком не отвечает. Кто бы это? И ненавистный голос Пригоды. Так и представила себе: расселся старый балагур посреди хаты, и к старым близко, и к молодым... И все хитрые вопросики переводит, шельма, на такую ж дурную, как сам, болтовню.

Заговорил старый Журак. Ну и голос! Будто три светлых воскресенья вместе сошлись:

— Разве кум Матвей еще не уведомлен?

А Пригода:

— Как же, как же... Вместе со мной. И Зореслава еще была. Чуть не влипла девка. А заодно и кум ваш... Пускай теперь откажется...

Из хаты, в которой не смеялись долгие годы, вырвался такой оглушительный хохот, что Ганькины уши увяли, как зеленый лист на жарком огне.

— Ох, боже мой, боже, выходит, никто не окочурился, — сказала про себя, чуть не плача.

Кое-как перетерпеть этот смех еще могла. Но когда уже отошла от небеленой соседской стены, резанул вдруг по Ганькиному сердцу звонкий, почти девичий смех, вечно мокроглазой Журачихи! В это же время кто-то тяжело прошагал рядом, по дороге, и свернул опять же к проклятым старикам. И Ганька, икнув, схватилась за печенку. Но тут же как сумасшедшая кинулась ловить свою пеструшку. Поймав, шмыгнула с ней в тайную дыру ограды. Спешила как на пожар в хату за очками. А когда выскочила обратно в очках... да, в очках, тут-то все и произошло...

К хате Жураков нес свою крупную фигуру сам Михайло Байда. Тот, что водился когда-то с их сыночком. Вместе ходил в гимназию. Потом его выгнали оттуда, гноили в Березе Картузской *, а совсем недавно, с год, наверное, вернулся он с войны. С той, что на лыжах, с белыми финнами. Могучего силача-красавца узнала бы и без очков. Ганькина печенка продолжала ныть, но прислушаться к боли не было времени: кто-то скрипнул дверями навстречу Байде, и скрип, и то, что предстало после него, не вмещалось в четыре ее глаза.

— Дурею! Свят-свят-свят! — закрестилась мелко. Но видение не помещалось в очках. — Юлько! — позвала не своим голосом мужа. Когда выбежал навстречу, она потеряла речь, только размахивала сжатыми кулаками. Очк
стекол.
Муж,
— Рех
даже у нас
— Свя
жу... Его ж
А на по
старевший,
нило Жура
После э
пришло что
ивно:
«Успоко
ко раз в жи
Может,
под рожь зе
не будет у
пана Мацибо
Впихнула
снова отняло
скамью. Но
жа и сказала
— Ой, Ю
дели такого
нам людей...
вместе с Циз
ня кондрашк
Жураки!
И без Баш
счастье позади
ропится...
Как изменч
нуту выстрада

* Береза Картузская — концентрационный лагерь в панской Польше.

ками. Очки, соскользнув, шлепнулись, брызнув осколками стекол.

Муж, крепко схватив ее за плечи, шипел:

— Рехнулась! Это же Данило. Пригода с новостью даже у нас был...

— Свят-свят, сгинь... Ой, нечистого с того света вижу... Его же на смерть замордовали...

А на пороге отчего дома живой-живехонький стоял постаревший, изможденный, но собственной персоной Данило Журак!

После этой немоты, после криков вдруг на мгновение пришло что-то из далекого ее детства. И шепнуло наивно:

«Успокойся. Пойди поздоровайся... Такое бывает только раз в жизни...»

Может, так бы и случилось, если бы не вспаханная под рожь земля Жураков... Ганька поняла: никогда уже не будет у нее такого обширного хозяйства, как было у пана Мациборского...

Впихнула одеревеневшими руками мужа в хату, и снова отняло у нее речь. Как подкошенная упала на скамью. Но ненадолго. Подхватилась, посмотрела на мужа и сказала, как цепом ударила:

— Ой, Юлько! Чего остолбенел? Глаза бы мои не видели такого — насмерть перепуганного. Беги, зови и к нам людей... Я что-то знаю! Знаю, кто высадил почью вместе с Цизориковыми и в читальне окна... И пусть меня кондрашка хватит, если не заплачут снова чертовы Жураки!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

И без Башовской знала Журачиха — самое большое счастье позади. И казалось теперь — ускользает оно, торопится...

Как изменчива судьба человеческая! Еще утром, в минуту выстраданной встречи, в последнюю минуту беско-

нечной жажды сердца началось это. Да, когда молча, чуть живая, прижимала сына к груди, слыхала свои безвучные слова: «Теперь ты мой, пока живу...» И настала первая ночь. Сын спал. Стерегла его сон. И не могла устеречь...

Не дождь — черные тучи, что упали когда-то тяжким, все уничтожившим градом на душу, с возвращением сына собирались паново... Что произошло, отчего в первые же мгновения почувствовала в небе своем ледяное дыхание?! Не умела выразить. Будто пришел он домой только погостить. На денек. И скрывал пока скорый уход и ту тяжкую ношу, с которой скитался по свету, да так и не смог расстаться с ней даже в родной хате. Поняла — будет это новой бедой и сына, и ее самой. «А может, а может?..» — уговаривала себя. Оттого, что с детства был таким: все короткие радости, все долгие несчастья не делил ни с кем. И сейчас весь день отводил сын шумно-веселые, трогательно-слезливые расспросы отца...

Утром, чуть успокоившись, первой засыпала сына бесчисленными вопросами, но он молчал... А вскоре, когда набилось в хату полно людей, ее оттеснили, и тут издали, именно издали, заметила в глазах сына какое-то непонятное выражение. И снова не ответил он на вопросы седых, даже самых в селе уважаемых... А так как никто, кроме Михайлы Байды, Пригоды и Стася Гринчука, не щадил его, досаждая разговорами, вынуждена была все чаще и чаще напоминать:

— Ой, дайте ему покой, люди добрые! Столько не спал... Прилег бы отдохнуть, сынок. Завтра все вам расскажет. Теперь-то уже никуда из дома не уйдет... — Не утверждала — страшилась, искала защиты у него и окружающих...

И вот заснул. Но и это не радовало мать...

Застелила свежими простынями мягкую постель, положила под голову подушечку-думочку: и ребенком, и постарше спал только на ней.

Улыбнулся грустно:

— Не засну, пожалуй, на такой роскоши...

— Почему? — тревожилась.

— Ладно, пусть и по-вашему, и по-моему: сокровище это, память детских снов — возьму, а остальное, мама, в другое время...

Вышел с маленькой подушечкой в ту хатку, где не топили, там стоял еще зимний холод. Постелил на скамье рядно, укрылся шуршащим, из далеких краев принесенным плащом. А переменить чужеземное, непривычное белье отказался наотрез. Еще с утра заметила: следит, чтобы не распахнулась случайно рубашка на груди. Словно прячет то богатство, то счастье, за которыми блуждал по свету столько тяжких лет...

Когда задышал ровнее, а лампа с прикрученным фитилем была переставлена на край стола, вошел отец. Лицо его светилось — так радовался давно-давно, тогда, помнится, шел Данилке третий год... В то далекое время мальчик тоже любил спать здесь. И каждый вечер, только задремывал, отец приходил посмотреть на его сон.

И теперь тихо вошел взглянуть на выросшего сына, переполненный той, давней, радостью, так страшно потерянной, так нежданно найденной... И, насмотревшись до слез в глазах на родное лицо, покрытое шрамами, взял лампу, чтобы вынести из хаты.

— Перекрести его, мама, пусть спит спокойно, счастливо...

Но только донес лампу до порога — сын встрепенулся.

— Свет! Кто погасил свет?

Мать словно завороженная вынула лампу из похолодевших рук мужа, поставила на прежнее место... И вышла, растерянная, в сени.

— Что это, Гриць? Страх — не пришли бы снова те? Или, может, болезнь какая?

— Не убивайся, мать. Злые времена минули... Не бро-

ди как лунатик. Пускай судьба ему улыбнется... А пока пусть спит.

Не находила места в хате. Тревожилась — не мешает ли сыну ее близость? Но и отойти от него, задержаться хоть на минутку не было сил. Муж сам возился по хозяйству, даже у печи. И хотелось ей вечно быть рядом с сыном, а придет беда — закрыть своей грудью.

Вздрогнула от холода. Вытянула тихонько из шкафа свой, еще девичий, красный кожушок, чтобы надеть. Но накинула на спящего. Пусть согреет. Пусть. Счастливая это одежка. Милого когда-то приворожила... Невольно вспомнилась Ольга. Отчего сын ни слова о ней? Разве забыл? Нет, такое не забывается... Вздрогнул, правда, когда кто-то из молодых завел речь про какие-то Ольгины окна, но Пригода цыкнул, и больше об этом никто не заговаривал.

Ах, зачем запрещала?! Бедности для него боялась? И не убоялась другого... Гнала от себя поздние сожаления и снова вспоминала тот далекий день, когда впервые щеголяла в этом кожушке. На рождество. Тридцать лет тому... Может, и больше... Пришел тогда в их убогую хату Гриць Журак. Завидный парень — на всю округу! Не одна девка о таком счастье мечтала. Прошло оно мимо них — ей досталось... Такой уж свет...

Еще больше прикрутила фитиль, завесила домотканым платком окно. Будто тень какая-то прокралась мимо завалинки. Поправила кожушок на сыне. И тут же пожалела. Вздрогнул, пошевелился... Не открывая глаз, неожиданно сел на скамье, быстро-быстро заговорил:

— Луис? Это ты, брат? Прорвался-таки... Пятая колонна... Пабло.

Дальше — непонятные, гортанные слова. Стало страшно. Сын приоткрыл глаза, но тут же закрыл, задышал спокойно. Ненадолго.

Когда прошелестел за окном шаловливый весенний ветер и стукнула в крышу сухая ветка, он, не просыпаясь, перевернулся вниз лицом, странно съежившись, будто

вжимаясь в доску, и выбросил руки вперед. Так, словно держал в них что-то тяжелое, страшное. Затаив дыхание, резко взмахнул правой рукой и разом выдохнул:

— Viva la Libertad! Они не пройдут! Рота, пли! — И затрясся, как в лихорадке.

Смысла слов не понимала, но всем любящим материнским сердцем ощутила: вот она, та мука, тот крест и тайна, которые принес сын из скитаний в отчий дом.

Чтобы хоть чуть успокоиться, отогнать гнетущие страхи, подошла поближе к затихшему сыну, всмотрелась в его руки. Черные... Не только от солнца... Сильные. Ладные. Да что радости от этой силы и красоты, если вместо того, чтобы сеять рожь-пшеницу, ласкать малышей сыновей, сеял по белу свету... ох, господи, что же сеял ее сын? И что ласкал на широкой своей груди, если боится почему-то показать ее родной матери? Он... воевал? Стрелял... в людей? А если это? Если... Святая заступница, пречистая дева Мария, спаси, сохрани от тяжкого горя, от потери разума... Грешу, грешу в святой праздник твой, наговариваю на сына... А если и так — ты, мать, сама его на грех благословила! Нет, это злые люди так его озлобили, так изменили... А голос прежний... И губы те же: полные, яркие, с приподнятыми уголками. Даром что шрамами перекрещены. Это мой сыночек, тот, маленький, которого несла когда-то из-под чужих деревьев... Его же все село узнало. Только Ольга чего-то...

Заплакала неслышно.

Лишь под утро затих сын. Изнемогшая, но успокоенная мать села у его ног, обняла, прижалась. Так и задремала.

Сын проснулся раньше ее. И оттого, что давно уже не ночевал в такой безопасности, в таком покое, не мог понять: где он, что вокруг, пока не увидел у своих ног мать. Родную, спящую. Ох, какую постаревшую, измученную. С не высохшими еще слезами на старческих — незнакомых — морщинках. Он помнил свою мать другой...

«Это твоя вина!» — кто-то безжалостный будто произнес со стороны, и сразу поверилось... Жестокие, правдивые слова всегда мгновенно возвращали его к реальности.

Быстро, ловко спрыгнул со своего ложа. Выработанные годами привычки, уклад жизни брали свое. Тут же подумал: что должен сделать в эту минуту, за день, в ближайшее время?

И, уже не торопясь как обычно, огляделся вокруг, а потом засмотрелся вдаль... Из-за Скалы (помнил, помнил название горы!) выкатывалось огромное спокойное солнце. Везде, куда ни глянь, — мир, покой... Никакой вражеской позиции, никакой безымянной высотки, которую приказано взять к ночи... Жадно рассматривал окружающее: дивясь, узнавая, называл по именам... Начал осмотр издалека — сколько хватало зрения. Ближе... Все ближе, ближе к родным степям. И когда осознал себя снова посреди четырех родных отцовских, вдруг быстро провел руками по лицу, по груди... И стал вслух называть все домашние, с детства знакомые предметы, зажмурился и снова провел по своему телу: будто не мог здесь узнать, найти только себя самого...

Мягко покачнулась земля. И показалось: он в своей расписной, с конопляными веревочками, младенческой колыбели. Оперся обеими руками о подоконник — так когда-то упирался в ее края — и, не узнавая своего голоса, тихо позвал:

— Мама... Мама!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ночь. Довбеняк упал на постель, зажав подушкой глаза, уши, рот... Хотелось кричать на весь мир. Но нужно делать вид перед людьми, что спишь спокойно, что ничего не произошло. Нельзя кричать. Можно только думать и вспоминать. Эту ночь...

...Вот бледный, взвинченный долгим ожиданием капитан Чайченко. Даже овчарки недовольны: сидят под длинным столом, отвернув морды, хоть стоят перед носом миски, полные молока с накрошенным белым хлебом.

— Произошли изменения, товарищ Довбеняк? — спрашивает нетерпеливо капитан.

— Напротив. Нужно будет выйти немного раньше условленного времени...

— Товарищ Довбеняк, так ведь...

Входит старая Мельничиха и, обращаясь ко всем, говорит:

— Смотрите, люди добрые, думала — шутите, а псы ваши и правда положили зубы на полку... На белый хлеб не глядят... Сходила бы к Климчукам, может, черный пекли... Да час поздний...

— Что вы здесь, сговорились? Какой поздний час? — когда вышла мать, спросил Довбеняк у Юрия, уже обутого в высокие «русинские» сапоги отца.

В глазах жены слезы. Детишки — Богдан и Марийка, уложенные пораньше, давно видят сны...

«Спешит Юрий жить... Еще и до двадцати трех не дотянул, а какая жизнь за плечами...» — подумал Довбеняк. Удивленный молчанием, вынул свои карманные: до назначенного времени — почти пятнадцать минут.

— Почему позднее? — повторил, недоумевая.

Снова не ответили. Только громко тикали висящие над головой старенькие ходики. В уютной хате Мельников Пилип не впервые — все здесь знакомо до мелочей. Но Чайченко, видя, что Довбеняк медлит, глядя то на свои часы, то на ходики, шагнул вперед и странно-спокойно сказал:

— Как видите, Пилип Романович, часы на стене и мои показывают одно: двадцать седьмую минуту после условленного времени...

«Каким образом?! Уже полчаса опоздания? Но они же идут! Совсем недавно смотрел на стрелки... В чем дело?

В том, что не проверил их после визита к Цизорику. Вот в чем дело...»

— Моя вина, товарищи... Выручайте — нужно нагнать упущенное... — взволнованно набросил куртку Довбеняк. Все торопливо вышли.

И снова все началось от Семкиного порога.

Овчарки сразу взяли след на сырой земле и, описывая круги, повели в поле. Каким-то странным, окольным путем... Тянули проводника неведомо куда. Холмистое поле. Петли, повороты. Ров. Болото. Мимо березового креста, поставленного по Жураку. Дальше путь Цизорика, видимо, стал ровнее. Человек почему-то почувствовал себя увереннее.

Когда осталось с полкилометра до глухого, посреди влажной долины хуторка Заливки, овчарки начали трясти головами, повизгивать, тереть лапами носы. Очевидно, с этого места след посыпали табаком или каким-то зельем. Люди разделились на три группы и осторожно, почти на ощупь, стали пробираться вперед. Вот оно, памятное подворье, обнесенное могучей оградой... И в эту минуту с горы, по выбоинам, съехала телега. Возница насвистывал песенку: «Ах, гуляет по рыночку молодой солдат...» Стась Гринчук, ясно...

«Не опоздали. Наверстали потерянное..» — обрадовался Довбеняк.

Высокий забор был уже окружен.

Стась Гринчук восседал на телеге, спокойно причмокивая на лошадей, за ним белели мешки с мукой.

Довбеняк и Юрко Мельник быстро уселись рядом.

— Не напоишь ли здесь коней, Стась? — усмехнулся Довбеняк.

— Разве я таскаюсь ночь напролет, чтобы у такого паршивца водопой устраивать?

— Так-то так, друг, но не будет внук мудрого деда поить разгоряченных коней в ледяном роднике. Сам говорил, здесь на хуторе колодец и ладная девка только за

этим забором, у этого паршивца, — Ишлин терся об мешки, чтобы мука попала на одежду.

Громким «тпруу» остановили лошадей, заговорили полным голосом. И поднажали на ворота. А они, как в доброй сказке, подались, распахнулись, хоть и украшены были с внутренней стороны хитроумными запорами.

Колодец у самой хаты. Во́рот на дубовых столбах. Цепь из мелких колец. Забренчали ведром. До бетонного дна — метров шесть.

— В хате тихо? — шепнул Довбеняк.

— Тихо, — так же ответил Юрий.

— Крути ворот... Воду — под штакетник. Давай еще. До дна... Кто-нибудь да выйдет... Не часто здесь воду в полночь берут... Не выйдут — покличем...

За дверью сеней что-то задребезжало.

На пороге черно-белая невысокая тень.

— Вечер добрый вам. Рады будете ли нам? — веселые, поддразнивающие голоса от колодца.

— Гостей хорошо в пост принимать, — сиплый нестарый голос, деланно зевая, с порога.

«Спать еще не ложился...» — подумал Довбеняк.

— С помолом мы, отец. Островские вперед нас влезли... Теперь аж до Скоморохов глину месить. Кони на дыбы становятся. Ведра у вас лишнего не найдется — напоить?

— Сейчас. Дай грешное тело прикрою...

Не спеша сошел со ступенек, цыкнул на свирепых псов, что рвались с цепей: не к колодцу — к забору...

Хозяин не упустил и этого... Прошелся у забора. Выглянул на дорогу. Там фыркали кони. Сходил за ведром.

— Чей будешь? — спросил у того, кто пониже, у Юрка.

— Федя Кириллова сын. Младший.

— А, знаю. Царство небесное ему... Шляхтичи душу выбили. Наслышаны мы, коней поил когда-то из моего колодца. Хороших копей имел. Ростом-то ты, может, и в отца, а голосом — никак...

— Так ведь мама еще имелась. Может, что от нее...

— Ага, может... А вы чей? — хозяин неожиданно обратился к Довбеняку, отчего-то перейдя на «вы»... — Теперь на мельницу молодежь чего-то ездить стала. И возле телеги, слышу, парнишка насвистывает...

— А мы все трое — молодые, баб, говорят, целовать пора. Покуда обошлось, — снова встрял Юрий. — Интересуетесь, чей он? Зелинского зять...

— Зелинского? Знал я Зелинского. Поляк. План дорог на обе Липицы делал. Дочка уже такая? Стареем, стареем... А про свадьбу чего-то не слыхали. Чей же сын к нему пошел?

— С Острова я, — поддержал беседу Довбеняк. — А какая сейчас, прошу пана, может быть настоящая польская свадьба?!

— А... — только и ответил хозяин. — Сдохли бы! — к собакам, что рвались, хрипя, с цепей.

Ведро, позвякивая, летит вниз. Хозяин ест глазами любителей позднего водопоя.

— Дурной свет! Шляхтичи отца затоптали. А он с поляком среди ночи на помол... Не затопчет? Га-га-га! — фальшивый смех, рычание псов, хлюпанье воды в принесенном ведре.

— Шутите, прошу пана. Не каждый поляк, вам это тоже известно, — шляхтич... И не каждый украинец — богач...

Юрко несет воду лошадям. За воротами, будто им, подсвистывают. Для людей, что залегли за забором, этот свист означает многое.

— О чем на мельнице разговор был? — хозяин снова Довбеняку.

— Все больше про войну да про колхоз.

— А что?

— Про войну? Или про колхоз?

— Про колхоз.

— Холера его знает. Хлопский разговор, прошу пана, такой корявый — черт ногу сломит... Одно говорит, дру-

гое — думает. Пусть Юрко подойдет. У липецких политиков на мельнице газету с простыню раздобыл... Там речь Груленки на областном совещании. Опять же про колхозы, про войну...

— А... — снова на это хозяин.

Тут и Юрко: позвякивает ведром.

— Слышь, оставим пану газету. Пусть вычитает, что на свете делается.

— Знаете, газета... Дать-то могу, только ненадолго...

— Вот и пойди с паном хозяином, засветите в сенях плошку, самое главное и вычитаете. А если дочка имеется — засветите и в хате... Тато на газету смотреть будет, гость — на дочку... Под праздничек... А там и за свадебку...

— Так бедные мы... — Юрко шелестел газетой.

Хозяин оторопел.

— Что ж, пошли, политика не ждет... — Довбеняк зашагал сразу через три ступеньки.

Юрко — за ним. Вроде не спеша, спокойно. Но так, чтобы хозяин не мог его обогнать. В сенях Довбеняк задержался и, когда хозяин с гостем переступили порог, спросил:

— Здесь читаем? Или — прямо, направо, налево, пан хозяин?

В сенях, на все три стороны, темнели двери.

Хозяин, извиваясь как угорь на крючке, бормотал:

— Здесь. — И тут же перебил себя: — Налево...

Довбеняк, словно недослышав, дернул правую дверь. В лицо ударило спертым духом свечного чада и распаренных кожухов. Людей в зальце уже не было.

Остановился посреди комнаты, чиркнул спичкой:

— Подставляйте плошку, пан хозяин, — сделав вид, что разглядывает налипшую на сапогах грязь, быстро осмотрел пол. Свежевымытый, он был еще влажным, хоть терлк его, видно, тем сухим мешком, что так и не успели убрать... Понял — с полом уже управились. Поднес догорающую спичку к еще не остывшей свече. Снял незамет-

но восковые, оплывшие слезы-потеки, сплющенные чьими-то сильными пальцами.

Вот в эту минуту и почувствовал: операция проиграна. Важнейшая операция! Отчего-то в руках, именно в руках, закипела ярость, захотелось выхватить из кармана наган... Или прямо в физиономию этого ощетинившегося сжа ткнуть свое удостоверение и раздельно произнести:

«Вы арестованы. О вас знаем все. Говорите немедленно, где вожак сборища, что было здесь? Только это сохранит вам жизнь. Иначе...»

Захваченные врасплох в таких случаях признаются сразу.

Но такой рискованный вариант тут не гарантировал успеха. И снова нужно решать — как выполнить задание? А единственно правильная мысль ускользала. Только вспомнил несколько раз: не раздавить бы в кармане восковые слезы.

Вышли из хаты. Хозяин проводил за ворота. Погладил коней. И пожелал мукомолам доброй ночи...

Овчарки тут же, от ворот, легко взяли след. Опять в поле. След чьей-то телеги. Собак останавливали, пытались уговорить «по-человечески», но они упорно вели уже пройденной дорогой к Скоморохам.

И снова оказались на подворье Цизорика.

Идя с Мельником к хате, Довбеняк услыхал хруст стекла под ногами. Несколько часов назад этого не было. Ночь рассиялась звездами. Поднял глаза и удивился: в окне зияла дыра.

Забарабанили в дверь.

Долгое молчание. Наконец за дверью послышался загробный Семкин голос:

— Ты, Оля?

— Нет. Это я, Довбеняк. И еще Юрко Мельник.

Показалось: там, в сенях, кто-то осел. Голос доносился уже с пола:

— Чего же, милостивцы, от меня хотите? Ослабел совсем...

— Откройте — скажем. Через дверь не поговоришь...

Зажегся свет.

— Вуйко Семен! Кто это вам окна выбил? Мы потому и завернули. Что с вами? Так побледнели... Неужто заболели?

— Ага, прошу прощения... Шел в жовковскую церковку, по дороге как скрутит... Люди с мельницы ехали, вот и довезли.

— Смотри! И мы на мельнице были. И мы могли подобрать, помочь... А люди-то кто?

— Может, вы знаете. Я же без памяти...

— А Ольга ваша где?

— Как ввели меня — вскрикнула... Видать, за доктором... Она меня так... извините, любит...

— Ну а с окнами-то что? Чья работа? Уже дома были, когда их... А может, сами высадили, когда дурно стало, воздуха не хватило?

— Ох, не шутите... Не видел я...

Теплилась надежда: вдруг повезет. Спешно вызвали расквартированный в школе конный отряд милиции. Двинулись по свежему следу колес, что выехали недавно со двора Цизорика.

Только у Шумлянского леса передовой пикет, что вел Юрко Мельник, стал пагонять поздних Семкиных гостей. Отстреливаясь, они пустили лошадей вскачь, к буковому лесу. Огромному, как море. И до рассвета еще было время...

Беглецы чувствовали себя в родной стихии. А взять их нужно только живыми...

Пуль бандиты не жалели. И кто-то среди них был особенно метким.

Упал от выстрела Юрий...

Вздрогнул рассвет...

«Отчего эта пуля нашла его, не меня?! Поднимался уже после такого... Юрко послабее — вдруг не выдержит?

Сколько времени пробирались к госпиталю по болотам... Отчего это выпало не мне?»

И снова чудится Довбеняку — он не на постели, на брошенной бандитами телеге, с которой сняли ящик патронов и маленький чемоданчик с лекарствами или ядами. Там, без сознания, лежит Юрко, а над ним, в горе, склонился он, Пилии.

Кто-то чиркает спичку за спичкой. Загорается наконец робкий огонек, и становятся видны широко открытые глаза Мельника. Кровь в уголках рта. И звучат тихие слова:

«Товарищ Довбеняк... Дайте руку. Я не умру. Ведь так близко над нами звезды... Вон еще одна — прямо в грудь. Жжет... Верить в будущее... Человечество обязано жить без войн... Возьмите, мама, возьмите с груди эту звезду... Передайте сыну... как мне когда-то отец... Не говорите жене. Дайте руку. Как темно...»

...И Довбеняку хочется закричать на весь мир...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

«Мама», — еще раз позвал Данило, открыл глаза и снова стал взрослым. Холодный пот выступил на лбу, а в хате стояла такая тишина, что слышно было монотонное кап-кап росы, тихонько стекающей со стекол на подоконник.

Мать, прижав голову сына к груди, ласково уговаривала:

— Не надо, не надо, сынок... Недоброе приснилось...

— Нет, мама, доброе... А проснулся, увидел ваше лицо, и страшно стало: сколько же лет кто-то украл у нас!..

— А разве не знаешь — кто? — мать так требовательно, так горько глядела, ожидая ответа, что Данило оттолкнулся от подоконника и тяжело опустился на скамью.

— Забудем это, мама. Поговорим лучше о том, что еще можно вернуть.

— Говори... — мать тихо присела рядом.

— Скажите, где... Ольга?

— И этого не вернуть, сынок.

— Почему?

— При муже она. При Цизорике. А ты, видишь...

Данило рванулся к дверям. Не дойдя, остановился, взял себя в руки. Подошел к матери, присел. Спросил:

— Тот Семка, что в Станиславе учился? И что меня... — оборвал, не добавив ни слова, но мать угадала недосказанное. Держась за сердце, задыхаясь, договорила за сына:

— Тот, что твою грудь...

— Забудем, мама...

— Чуяла душа... Будто знала... Но боялась, видит бог, напраслину возвести... Теперь, сын... — остановилась, прислушиваясь, — кто-то вошел в сени.

Услыхал и Данило: за дверью — чужой. Удивился: после такого долгого отсутствия, после множества чужих звуков-шумов, жила в нем память о родных шагах. Отвлекся от прерванного разговора, отчего-то подумал: может, и правда, сохранила память шаги всех, кого знал здесь когда-то?

— К нам вроде... — прошептала мать. И тут же в дверь хатки постучали. Вздохнув тяжело, Журачиха быстро договорила: — Теперь... паша власть... не будет их защищать... Но есть у них, ох, до сих пор есть потаенные норы... Гибнут люди по селам. Не шел бы, сынок, подождал... Господи, что говорю?!

В хату вошел Ференц Шпуга. Данило сразу узнал его и удивился — почти не изменился человек. Задрал голову, низенький, удивленно разглядывает Журака, даже голос свой громкий умерил, только глазами хлопает:

— Ну, здравствуй, парень! Служба наша — всю жизнь на ногах... И сегодня еще топать и топать. Цебрик

тебя зовет. Гляди, так и написано: Журака Данилу. Точно, значит, явишься?

— Ладно, приду. Только не сейчас. Раньше должен одно сложное дело решить.

Когда посыльный подался по своим делам, Данило, притихший и ласковый, как в детстве, попросил отца, заглянувшего в хату:

— Тато, мне коня бы...

— Бери, сын, бери... Смотри только не загони. Людей увидишь — не дивись, если и сболтнут чего лишнего: мало, мало о тебе знаем... А к властям лучше сразу бы пошел, тогда уж и ехал. Еще скажут — словно бежишь. Бумаги-то привез с тех краев какие нужно?

Мать всплеснула руками:

— Ой, сынок, снова в дорогу?

— На часок, мама. Да и день на дворе. Обдумать кое-что нужно. А дома не получается.

За селом дал Данило волю коню. И своим мыслям. Он повторял тот путь, которым шел когда-то с Ольгой. Тем битым шляхом, что вел далеко-далеко, аж на Чертогору. Уговаривала тогда Ольга дойти до конца, но и половины дороги не прошли: припала девушка к нему — тут и случилось...

Ветра не было. Только-только освободившаяся от снега земля парила, и поле укрывала утренняя дымка. В его родной стороне был первый день той весны, которую словно привел за руку к Раве-Русской. А теперь она пришла и сюда.

Данило догадывался, зачем зовут его в сельсовет. Спросят, наверное, не узнал ли той страшной ночью своих убийц. И оттого решил не торопиться, обдумать все толком. Да и, по правде говоря, не предполагал застать Вавра Цебрика головой села. Помнил: в те времена, когда гулял по краю черный ветер карательных экспедиций, слонялся Вавр по городским кофейням, швыряя невесомо как добытые злотые.

Но мысли эти Журак прогонял.

Впереди, если бы не утренний туман, должен показаться ореховый лесок. Но и сквозь дымку все яснее проступает та горушка. Тот каштан, под которым стояли, вот он, рукой подать. Постой, постой, как же оно было?..

«Черная ночь, а каштан еще черпее», — сказал, помнится.

«Хороши хлопцы, а мой милый лучше», — отозвалась Ольга и прижалась к нему. Руки ее, обнаженные до плеч, были прохладными, и он сказал об этом.

«Так согрей!» — и, словно прячась от него, дразня, юркнула под темный шатер каштана. Данило за ней. У ствола дерева было тепло, как возле печки. Казалось, с веток, уже распушившихся маленькими листочками, стекали невидимые солнечные лучи.

Снова припала к нему. А вместо слов любви задала вдруг странный вопрос: «Скажи, милый, и чего здесь так тепло?» Но объяснить ей, кажется, не сумел.

«А еще который год учишься! Женился бы лучше. А то...» — не договорила отчужденно, и руки ее, и губы стали еще холоднее. Этот холод не забыл он и поныне...

И в ту минуту, когда, упомянув о женитьбе, охладела еще больше, словно донеслось издалека чье-то дыхание. Ольга испуганно прижалась к Даниле, зашептала:

«Уйдем отсюда. Душно мне тут и страшно. Ты не боишься ночи?..»

Слез с коня. Прижал его разгоряченную морду к своей покрытой шрамами груди. Конь затих и, казалось, вслушивался в стук человеческого сердца.

— Хорошо, что ты тут, со мной... — ведя коня в поводу, Данило вошел в ореховый лесок. Показалось: на каждой ветке сидит и поет птица.

— Слышишь? Туманным, влажным утром птицы и вправду поют громче. Они не любят дремучих лесов... Плохо разбираюсь я в песнях этого мирного народца — карканье ворон знаю лучше. Ты, конь, не был на войне? Не был... Знаешь, что напомнил мне сейчас этот лесок? Рассвет перед боем...

Цвела плакучая ива, орешник, хлопотливые ранние пчелы отряхивали пыльцу с цветов, и лоснящаяся, вороная шея коня словно покрывалась позолотой.

— Постой, постой, не шарахайся. Они не тронут. Пчела никого не трогает сами. — И Данило, пригнувшись, зашагал зигзагом траншеи, вырытой еще в прошлую войну, к своему кресту. Стоял он, березовый, покорный судьбе и людям, повернувшись к Жураку ободранной ветрами корой.

А вокруг тонкими стрелками тянулась к солнцу зазеленевшаяся трава и ясными, белыми звездочками весело цвели стожатки.

Сильно и безжалостно, будто клещами, сжало сердце. От неожиданной боли Данило присел, склонившись над белыми цветами. Почудилось: дохнула земля ледяным дуновением...

С трудом выпрямился. Шагнул, глядя под ноги — не растоптать бы бедные звездочки, и стал расшатывать крест. Налег на него. Дерево затрещало, поддаваясь, и обнажило дыру в земле. Обхватил крест обеими руками, поднял и перенес на лесную полянку. Ту самую, куда перетащили той ночью его и неожиданно, услыхав на дороге стук колес и говор людей, бросились в чащу леса... А Данило, когда ехавшие поравнялись с ним, собрав последние силы, закричал... И больше не помнил ничего: ни эту ночь, ни последующие — темные, безмолвные, сплошные...

В леске тихо заржал конь.

Охваченный волнением, напряженный Журак по старой солдатской привычке настороженно оглядел лес. И вдруг увидел девичье лицо, распущенные, как у русалки, волосы, всплеск тонких рук...

Тряхнул головой, провел ладонью по глазам. Видение не исчезало.

— Это же... Это же... Ольга... — И, забыв все на свете, бросился бежать. Не заметил давнюю, полузасыпанную траншею под ногами, споткнулся, покатился в ров.

В леске короткий крик — как выстрел.

Когда поднялся, огляделся: видения уже не было.

Быстро обежал весь небольшой лесок. Осмотрел прилегающие поля... Ни души. Тишина, покой. Только тихо ржал конь. Да птицы не могли угомониться.

Внезапно постаревший, ступая неверными шагами, Данило снова вернулся на роковую поляну. К своему кресту.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Зося Зелинская вбежала в комнату Довбенюка не постучав — не признавала церемоний. Заговорила сразу, певуче растягивая слова:

— Спите, Пилип Романович?! Уже день... Пропадали где-то целые сутки, осунулись даже... А знаете, прошлой ночью окна Ольгины побили... В старой хате и в новой... А тут как раз Данило Журак воскрес. Семку чуть не зарезали в постели... И Ольга пропала... Слыхали, а?

— Нет, Зося, не слыхал. — Довбенюк сел на постели, не улыбаясь, как обычно, усталый, словно бы ставший меньше.

— И Башовская такое говорит... — Зося торопилась, боялась — перебьют: — Такое, что... И правда, может... Потому ускакал куда-то Данило на коне... Я его и на мизинчик не узнала, а тато говорит... Вам сюда кофе принести или?.. Сегодня я на хозяйстве.

— Не нужно кофе. Рассказывай, Зося.

— На чем я остановилась? Ага, у нас сегодня комсомольские сборы! А Юрко Мельник куда-то подевался. По селу разное болтают... А Стась Гринчук приехал. И дед опять ремнем его за что-то.

Довбенюку вдруг не хватило воздуха в хате. Толкнул форточку. Торопливо одевшись, подошел к Зосе.

— Ты что, девочка, плачешь? Кто обидел?

— Вы... вы недобрый... Все с Ольгой да с Ольгой... С ней уже все были... Достаточно... Теперь...

Пилип остановился, обескураженный, но тут же, вспомнив свое, побледнел, сморщился, как от боли.

— Прости, Зося. Трудное сейчас у меня время... Вашего Юрка долго еще не будет... И вообще... может совсем не быть. А Ольгу не нам судить. Много еще нужно нам жить, расти, страдать...

Девушка выбежала в слезах.

Довбеняк накинул кожанку и вышел из хаты Зелинского в туманное утро.

Вавр Цебрик стоял на ступеньках сельсовета и, жестикулируя, допытывался у посыльного:

— Так он сказал вам, товарищ Шпуга, что придет позднее? Что ему, видите ли, нужно решить важное дело? Знаете, это уж... Ну мы сделаем выводы... — Цебрик закруглился, увидев Пилипа.

— Не поздравляешь меня, товарищ Довбеняк? Завидки берут, правда?

— С чем поздравлять-то?

— Будто не знаешь? В лейтенанты меня производят. Вот так-то, товарищ, подтянитесь и пуговицу, пуговицу вон застегните. Ха-ха, не нужно. Видите, я в гражданском. Вы рядовой?

— Рядовой. Давайте оставим шутки. Я уважаю военных. Но нельзя же так стращать партикулярную братию...

— Ладно, ладно, — согласился Вавр. — А скажите, если бы на мне был мундир, отважился бы тот, кого я с утра вызвал, явиться аж под вечер или совсем не явиться?

— Вызывали кого-то?

— Тех, кто за полночь к родительскому дому прибился и своих бывших девок вспомянул... И еще кое-что знаем...

— От кого?

— Между нами говоря, от Ганьки Башовской... Что состоит на государственной должности.

— Мне все ясно. Далеко пойдете, Вавр Панькович... И в такой компании...

— На что намекаете?

Но Довбеняк, подняв воротник кожанки, повернул в мастерскую. И хотел ли нет, снова оказался с глазу на глаз с Ольгой.

Еще не закрыл двери, не переступил порога, как охватило его странное чувство: «Пока отсутствовал, что-то здесь переменилось...» Превозмогая себя, гоня непонятное ощущение, повернулся к дверям, не спеша прикрыл.

Снова нахлынули воспоминания: минувшая ночь, сумятица в хате Цизорика, где уже не было Ольги... Подошел с замирающим сердцем к большому мольберту, стал стягивать голубое покрывало. Наполовину открыл холст и содрогнулся: смотрела на него живая Ольга... Отвел глаза, шагнул в сторону. Будто полыхнуло огнем. Но неведомая сила притягивала к изображению. Вздрагивающими пальцами чуть коснулся нежной щеки. И тут же, оглянувшись, словно ревнивый магометанин, быстро набросил ткань на прелестное лицо.

Внезапно, до сердцебиения, охватила неуемная, пронзительная радость от дерзкой мысли: неужто в тот черный вечер, когда ухал филин, когда случилась беда, в этом старинном селе, затерявшемся среди холмов, произошло редчайшее из чудес: родилось подлинное, высокое произведение искусства...

Сквозняк распахнул окно: кто-то открыл двери мастерской. Вошел Михайло Байда.

— Добрый день, Пилип Романович. Только что из района. Но своих стариков все же навестил. У нас на хате вторая пара аистов поселилась, гнездо сооружают и... — Байда не закончил фразу, увидев, с каким отсутствующим видом поднялся навстречу Довбеняк, и протянул вошедшему руку. И глаза Пилипа заметил: тревожные, полные горечи. — Извините... Я хотел только сказать: — Мы возьмем их!

— Когда, когда возьмем?

— Сразу же, как начнем создавать колхоз. Тогда еще больше озвереют, полезут на рожон в слепой злобе.

— А мне они нужны немедленно...

— Успокойтесь. Над чем работаете сейчас?

— Думаю, как исправить ошибки той ночи.

— Я о другом, Пилип Романович. О вашей живописи...

— Как-нибудь покажу, — устало ответил Довбеняк.

После минутного молчания Байда заговорил о другом:

— Слыхали, сын Жураков вернулся прошлой ночью?

— Да, кое-что... Снова, выходит, судьба распорядилась: недоброй ночью... Окна выбиты. Неведомо отчего заболевший Семка... Ольга... Вы согласны, что есть на свете люди, над которыми от рождения висит дамоклов меч: опасности, издевательства фортуны, коварство бессердечных тупиц?.. Люди, особо ранимые бедами общества... Из таких вот чаще всего поднимаются на гребень гражданственности — революционеры, ученые, поэты... Словом, из преодоления неудач, постижения судеб вызревает в человеке что-то огромное...

— Возможно... — согласился Байда. — Но сейчас не об этом речь, вы начали разговор не для того... Мне кажется, вы хотели сказать, что будет, будет на ваших полотнах не только Ольга. Там поселятся самые разные люди — и ведьма Башовская, и неведомый пока Данило Журак... Кем он будет? Трудно, трудно сказать... Знаем, например, что на редкость красивой Ольге не повезло в любви. Страшила Башовской не повезло с обыкновенным человеческим счастьем: удовлетвориться четырьмя гектарами земли, когда ей, видите ли, требуется двадцать... А в чем не повезло Даниле? Тоже в любви? Может, и так. Но это в прошлом. Он только перед измученной материю прикидывается тем, давним Данилкой. Был я вчера у них. Нужно видеть его глаза — будто пеклом присыпаны... Отмалчивается. Или рассказывает о красотах африканских водопадов да байки о жгучих цыганках. А вот про Испанию ни слова. Я познакомлю вас. Выберем время, сходим к Журакам.

— Нам даже не нужно идти. Ваш Данило приглашен сегодня сюда.

— Кем?

— Цебриком.

— Раз так, не позаботиться ли нам о скромной, но душевной встрече?

— Цебрик уже позаботился. Только не очень скромной... Знаете, по какому поводу вызывает Данилу?

— Ну, ну...

— По поводу выбитых окон, исчезновения Ольги, ну и, может, внезапной болезни Цизорика...

— Так и говорил?

— Говорил. Намеками. А про Башовскую прямо. Будет, очевидно, главным обвинителем.

— Знаете, это уж... Завтра съезжу к первому. Нужно поостудить Савра Паньковича...

Довбеняк прищурился:

— А как, например, вы докажете, что Данило, в затмении чувств, и вправду не бил стекла у той, что когда-то любила его, а вышла за другого?.. И что, вернувшись, не он пырнул Семку ножом и убил или, может, похитил Ольгу?

— Действительно, недобрую ночь выбрал человек... Но все равно схожу-ка к Савру.

Но Байда тут же вернулся.

— Нет Цебрика. Срочно в район подался. Один руководящий Шпуга на месте. Но куда все же могла деться Ольга, Пилип Романович?

— Точно так и вас могу спросить — куда делась Ольга, Михайло Степанович?

Задумавшись, видно, об одном, замолчали. Но, услыхав стук копыт, разом поспешили к окну. Всадника уже не было видно, только привязанный конь...

Кто-то постучал.

И Данило Журак остановился в проеме открывшихся дверей.

Весна родного края, дыхание леса, пашни смягчили,

мысветлили его лицо. Затягивалось неловкое молчание, и Байда нарушил его первым:

— Легок на помине... — Подошел к приехавшему, взял за руку, подвел к застывшему возле мольберта хозяину мастерской: — Знакомьтесь, Данило, это наш агитатор и художник — Пилип Романович Довбеняк.

Молча пожали руки.

— Меня вызвал председатель. Сразу прийти не мог. Мне теперь приходится долго думать, перед тем, как идти куда-нибудь... Вот и съездил в поле: подумать. Скоро зерно ляжет в землю... А вызывают чего?

Снова заговорил Байда:

— Не удивляйся, Данило, если с вызовом что не так... Сам понимаешь, появился ты... И еще получилось: совпало твое возвращение с кое-какими, можно сказать, загадочными происшествиями. Люди есть люди... Село. Нужно и местной власти увидеть тебя, расспросить про думы твои, про радости и заботы... Ну, мне пора! А ты, Пилип Романович, покажи ему свою работу, похвались. На все перемены в нашем селе, в обществе, у Данилы свежий глаз...

Байда ушел.

Данило и Довбеняк стояли друг против друга и молчали. Рядом, на крыше у Гузара, щелкали клювами аисты, чирикали воробьи на живой ограде, пофыркивал на привязи конь.

— Если хотите, Данило, покажу вам одну работу... Не судите строго: так и не смог до конца пробыть в художественном — на пятом семестре пришлось расстаться...

— А мне — на седьмом...

— Выходит, вы образованнее... Ладно, пусть будет так: снимите сами это покрывало. И если найдете там что-то хорошее, подлинное, разрешите подарить вам... На память о возвращении на родину... Прошу, открывайте, не стесняйтесь.

— От подарков друзей не отказываются... Перепадали и мне такие, да выпала тяжкая дорога... Пришлось рас-

статься. А здесь — бога ради! Тут я должен дарить... Но — увы — богат, как турецкий святой...

— Ничего. Вернетесь к работе. И подарите мне свою первую, на родной земле, книгу. Слыхал я кое-что... На той опаленной земле вы начинали, и в прекрасном украинском слове...

— Начало... Это только мечты... Их не подаришь. Кто вам сказал, что пишу? — брови Данилы дернулись, он резко потянул ткань, закрывающую картину. И отшатнулся. Но тут же подошел вплотную и замер. Страдающий, завороженный... Потом чуть коснулся лба женщины.

Перед ним был образ той и не той девушки, женщины, которую знал когда-то, которую ласкал, называл самыми нежными словами... Да, это была она! И показалось, словно видел уже сегодня там, на опушке, в утреннем мареве...

Голову Данилы склонил тяжкий груз бесконечных лет, в которые не видел он этой женщины. Как никогда раньше, стало пронзительно жаль — не себя, ее. В этих широко открытых глазах прочел понятную только ему, только его ранящую, всю тяжкую, страшную ее жизнь... И заплакал.

— Совсем забыл, нужно позвонить, — пробормотал Пилип и вышел, оставив Журака наедине с картиной. Пускай. Человек он сильный. А слезы, что ж, они иногда помогают: иначе разорвалось бы сердце. Пилип знал это. Пусть помогут Даниле собраться с силами.

Когда Довбеняк вернулся, гость стоял у окна. Сухие глаза его были словно присыпаны тем пеплом, о котором говорил Байда.

— Знаете, Пилип Романович, на такие произведения нужно смотреть издали, вблизи зрение человеческое не может вместить их, как не может охватить высокие горы. Это о н а?

— Она, Данило.

— Она не могла предать?

— В любви?

— Нет, в большем...

— В этом, думаю, не могла... А в любви — не знаю. Не знаю, что для этой женщины — любовь... Так разрешите подарить вам мою работу?

— К сожалению, нет. Эта женщина не приносит счастья.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Летят в черную ночь березовые щепки, рубит тяжелым топором человек, в чью память, память погубленных лет, скорбно белел на опушке этот двухсаженный крест.

Он хочет наколоть небольшие поленца, как делал в юности матери, для печи. Старое дерево плохо поддается, разлетается короткими обломками, словно бьют не острым топором — каменным молотом.

В лесу, в поле — ночная тишь. Только где-то в могучих дубах Островской пущи ухает филин.

А здесь глухо тюкает топор, сыплются на пробужденную весной землю щепки. Падают, никому не видные, как упали-разлетелись годы того, кто рубит сейчас в ночи. Не найти, не собрать тех дней, тех лет... Подумал, видать, об этом: отложил топор на пенек и стал на ощупь собирать размозженное дерево. Все-все, до самого ничтожного обрубочка. Для огня. Для последней жертвы, что принесет своему прошлому.

Да. Он делал первые шаги в новое... Сколько их нужно, чтобы прийти к чему-то... А бывает и так, вдруг все летит в бездну. И жизнь приказывает все начинать сначала...

Далекий от суеверий, примет, все же подумал: если первый, самый трудный шаг будет удачным, удастся и новая жизнь.

Отрезать прошлое... Если не можешь жить среди людей таким, каким пришел в мир. Но что? Университет?

Любовь к сироте? Ненависть к угнетателям народа? Испанию? Или раны свои от вражеских пуль? Нет, этого не отрежешь... Только вот, может, любовь... К теперешней Ольге. Невозможно? Говорили когда-то: нельзя победить неистовый Эбро, нельзя переплыть Ла-Манш ледяной осенью... Многое выглядит невозможным на первый взгляд. Но ты встаешь со смертного одра наперекор всему, шагаешь навстречу вернейшей гибели и вдруг обретаешь в себе крепость алмаза...

Щепки от креста...

Сколько лет он шел к ним. Сколько тысяч дней... И каждый был протяженнее чьей-нибудь жизни. Как много вместили они мыслей о родном доме, об Ольге...

Но отчего опять нахлынули воспоминания? Может, из-за звезд, что напомнили те, далекие, сиявшие над ними, когда однажды... Или потому, что тогда тоже развели огонь? Перед завтрашним боем... И обстрелянные товарищи сказали ему, новичку: «Брось, Даниэль, в огонь дорогую тебе памятку или записку с заветным желанием. Как жертву. Только от души. Бог тут глазастый. И фашистские пули не обманешь — меткие...»

Что бросил тогда? Жестокая память — «никогда не возвращаться в отчий дом». Ах, эта трагическая обреченность! Зачем, зачем вспомнился тот вечер?! Но с него начался путь в новую жизнь...

Яркие звезды чужого неба... Тишина. Они, пулеметчики третьей роты, приладились развести костер в овражке. Не от холода. Захотелось поесть горячего. Неподалеку расположилась танковая часть. Возле машин кто-то бренчал на гитаре, слышался девичий смех.

К пулеметчикам подошел командир танкистов. Это был Поль Арман — здесь его знали все. Стройный, с грустными, глубокими, как дно степного колодца, глазами. Латыш, сын курземского батрака. В семнадцать стал коммунистом. И чтобы лучше бить врага, упорно учился. Университет в Латвии, техническая школа во Франции. В тридцать втором перебрался в СССР, закончил военное

училище, стал танкистом. И — добровольцем в Испа-
нию...

Арман, подойдя, спросил по-французски:

«Есть среди вас меткий стрелок?»

Данило вскочил, отрапортовал:

«Я — Стрелок...»

Товарищи рассмеялись и наперебой, смешав языки и наречия, стали разъяснять капитану причину веселья: новенький, только-только прибыл и взял себе имя — Стрелок. Говорит, так прозвали в родном селе...

«Тем лучше, — рассмеялся и Арман, — будет, значит, в моей машине Стрелок с большой буквы».

Это было началом. Его боевым крещением. Многое будет потом: и командование ротой, и батальоном в тринадцатой интербригаде, и работа в штабе, и боевая газета... Он редактировал бюллетень на польском, на украинском....

Поль хотел сразу же отвезти его к своим, но товарищи попросили:

«Подождите. Разожжем огонь. И пусть сбудется то, что задумал. Завтра бой. Завтра ему нужно выжить... Увидите, вам будет сопутствовать удача...»

...Утро 29 октября 1936 года было хмурым. Танкам капитана Армана приказано было занять исходные позиции через Сесенью. Впереди затаился Мадрид. У дороги вдруг увидали пушку. Но командир успокоил: в этом районе только наши... И они продолжали идти с открытыми люками.

Из утреннего тумана неожиданно вынырнул фашистский офицер, подполковник:

«Кто вы? Куда следуете?»

«Танкисты, как видите. К вам в гости...»

До этого момента, видимо, фашисты принимали их за своих.

Пока подполковник приходил в себя, Арман захлопнул люк и отдал команду: «Полный вперед!» Узкие тенистые улочки Сесеньи стали ареной кровавого боя. Но батальон

капитана прошел в тыл противника. Горели вражеские танки, автомашины. Захлебнулись огневые точки. Фашисты бежали.

Тот день действительно стал началом удачи.

Под вечер капитан сказал ему:

«Ты стрелял хорошо. Но не от опыта. От неистовой злобы к ним... Можешь отстучать морзянкой своей любимой — недаром оторвала от себя. — Проницательный взгляд глубоких глаз словно заглянул в душу Данилы. И Арман невесело закончил: — Прости. Меня слишком ослепила победа. Неладно с любовью? И у меня... — он обнял юного стрелка, — не будем плакать сегодня. Выберем более подходящее время... А сейчас пусть плачут наши враги...»

Их танки были почти единственным резервом республиканского командования под Мадридом. И как оглашенные носились они с одного участка фронта на другой... Латали прорывы, поддерживали контрнаступления, утюжили доты, вели за собой в атаку пехоту, сражались под бомбами вражеских самолетов. Падали мертвыми командиры, кровью истекал экипаж... Это было третьего ноября. Жестокая атака под Кинто... Ранило капитана, раненого стрелка. Но в госпиталь не ушли. А потом был мост через Толедо... В тот раз врага остановили.... Мадрид не пал. Трагический город выстоял почти до конца гражданской войны...

Праздновали Новый, тридцать седьмой год. Поль Арман горестно сказал:

«Как больно, что пали лучшие, храбрейшие из нас... Как больно, Данило, что тебя мы тоже не сделали свободным...»

И вот он нарушил клятву. Вернулся домой без победы.

И не нужно быть признанным героем. Только женщинам надо, чтобы любимые возвращались героями. А матери от этого геройства седеют, а народ, а земля прежде всего спросят о другом:

— Был ли ты честным? И как думаешь жить?

И вышло так, что о честности его взялись рассказать земле и людям Башовская с Цебриком, а о том, как думает жить дальше, решился ответить сам. И костер, что хотел разжечь, был началом ответа...

Нащупал коробок в кармане, присел. Натянул над собой шуршащий, как парус, плащ и, чиркнув сразу несколькими спичками, добыл огонек. Березовая кора, подсохшая за день, зашипела, вспыхнула, стреляя белыми, веселыми искорками. Ночь отступила. В несмелое еще пламя полетели мелкие щепки, потом обрубки покрупнее. Костер разгорался, и душу Данилы охватило смятение, будто снова приблизилось давнее... Но тут же взял себя в руки и стал сгребать топором разлетевшиеся головешки.

И вспомнил, какая сегодня, на пути к дому, произошла встреча, — остановил его сам Олекса Нарытник, постаревший, слинявший, с лицом профессионального убийцы...

«Что ж, твоя теперь власть, Данило. И набрешешь на нас — поверят. Все-то Ольга у тебя в голове, не Семка. А народ, слышь, народ, он скажет: вся брехня из-за нее. Власть поверит, да люди правду знают.... Шушукаются уже по селу: окна... Ольга...».

«Не дрожи, как осиновый лист. Живи и помни: за воскрешение из мертвых большим платят, не личными счетами, — ответил ему тогда. — А народ нас и вправду рассудит».

Оглянулся, заткнул топор за пояс. Отошел от костра, прислушался. Почудилось — кто-то ходит тихонько по леску, подкрадываясь все ближе. Но тут же подумал: не будет таким осторожным ни хищник-зверь, ни хищник-человек. Слишком легки шажки, будто чуть касаются земли. Так могла бы ступать только серна... А ведь правда, здесь они водились издавна. Легенда рассказывала: еще князь Данило Галицкий охотился тут на быстроногих красивых животных с человеческими глазами. Тепе-

решним Данилам не до этого. Видно, сердце у них помягче, не поднимается рука губить...

Отчего-то встревожившись, задумался и так низко нагнулся к огню, что чуть не опалил ресницы. И в эту минуту словно дохнул неведомый ветер. К лицу его, к глазам прильнула тьма, и были у нее теплые, ласковые ладони. Даже пахли душистой травой. Даже вздрагивали... В первую секунду его охватил тот отчаянный, фронтовой страх, когда глаза в глаза ты сталкиваешься со смертью и яростно бросаешься в бой. Переживший хоть раз такое будет помнить всю жизнь. Только, может, в самые спокойные, самые счастливые минуты страх этот прячется, тает, делается крохотным, как горошинка, как маковое зернышко. Но в любой момент может стать огромным и поглотить тебя.

Но сейчас страх исчез сразу — нежное прикосновение ладоней прогнало его. Стало так хорошо, так легко, как бывало в детстве и никогда больше не повторялось... Но и это длилось недолго. Данило чуть повел плечами. Но прикосновение не прекратилось, наоборот, вот оно: еще реальнее, еще настойчивее и ощутимее...

— Кто это?

Такие ладони помнил только одни-единственные — у Ольги. Давно-давно, когда студентом поджидал ее, любила неслышно подкрасться и, став на цыпочки, дотянуться до его глаз. В эти навсегда погибшие минуты он стремительно оборачивался и, не дав опомниться, целовал, целовал... Вкус ее губ... Неужели? Неужели в жизни может что-то повториться по ту сторону бездны, через тысячи дней, через тысячи лет?! Но если так, то где взяла она, у какого вулкана позаимствовала силы, чтобы повторить ту свою наивную, девичью шутку? Нет, ни у кого не найдешь такую слепую, такую беспощадную жестокость, ибо пролегла между ними пропасть — пож и ложе Цизорика, пламя Мадрида, боль старых ран, бесприютность скитаний...

«Исчезни, призрак, исчезни... Мой крест, мое прошлое уже догорают...»

И сразу стал холодным, жестким, и ладони почувствовали перемену: между нежными пальцами засквозили узкие, темные колонны ночи и широкие, яркие — огня. Явственно ощутил: ладони леденели, ожесточались вместе с ним, словно струилась с кончиков пальцев снеговая вода.

«Хочешь загасить мой костер? Довольно, хватит...»

Опершя руками о нагревшуюся землю, выпрямился, поймал тонкие пальцы и услыхал, как мелкой дробью стучит у запястья пульс. Стиснул до хруста, до крика, но не было ни стона, ни шепота. И он отпустил... Ладони, скользнув с его лица, безвольно легли на плечи. Именно этого нельзя было вытерпеть, и, круто повернувшись, как в те далекие дни Ольгиных проказ, он вдруг оказался лицом к лицу с незнакомой женщиной. Оказался мимолетно: нырнув в свою молодость, сколько задержишься в ее глубинах? И когда открыл глаза, когда взглянул — сразу вспомнил утреннюю русалку и картину Довбеняка.

И застыл перед ней, радуясь и теряя разум от этого немыслимого угадывания.

Не пытался найти слова, собрать мысли... Только глядел не отрываясь, не мигая и видел, как сквозь стокрылую радость, сквозь тысячеголосый немой крик из ее широко открытых глаз струились слезы, и она не могла произнести ни звука... Как дорого пришлось платить ей за наивные проказы юности...

Пошатнулась, словно спиленная сосна, уже навечно разъединенная с корнями, с жизнью, что вот-вот рухнет со стоном, и все же не верит в неизбежное...

И вдруг рванулась к Даниле, к его груди, но он стоял молча, суровый, как окружающая их земля. И, боясь разбить об эту совсем чужую грудь все надежды, всю себя, она попыталась выпрямиться... Чтобы поверить: и, спиленная, не упадет, не засохнет...

Шагнул
глубокому
И не бы
шла, прине
Вдруг не с
думая.
Но этот
нужно было
«Встань,
Но не м
суд отклады
Из после
опустошенно
коленях, как
костра, котор
В неверн
такой малень
Снова только
теряет ее, опя
«Как жест
Не выдерж
— Это ты,
Не ждал о
услыхав, сказа
И после дол
— Да. Это
— Нет. Я т
на лес, на ночи
она заслонила
никто уже не з
кто уже не зак
— Правда,
быть вместе. Н
скорее топор...
тобой... — Она п
«Брось в это
От души... Бог

Шагнула в сторону. Назад... И, спотыкаясь, будто по глубокому снегу, направилась к нему.

И не было уже той девушки, той женщины, что пришла, принеся с собой всю далекую, чистую молодость. Вдруг не стало в леске равных. Только судья и подсудимая.

Но этот судья никогда не судил поверженного. Ему нужно было подойти, поднять, быть может, приказать:

«Встань, женщина. Встань... Ольга!»

Но не мог подойти, не мог вымолвить это слово, и суд откладывался.

Из последних сил старалась не показать ему свою опустошенность. Пыталась подняться. Не смогла. И на коленях, как верующий к святыне, поползла в сторону костра, который раздувал влажный ночной ветерок.

В неверных бликах огня, сквозь дым, она казалась такой маленькой, такой нереальной. Казалось, все это сон. Снова только сон. И пришла мысль — вот-вот опять потеряет ее, опять никогда не увидит...

«Как жестока жизнь... И я — вместе с ней?»

Не выдержал, сказал запинаясь:

— Это ты, Олюсь... Ольга?

Не ждал ответа, ждал звука ее живого голоса. Лишь услыхав, сказал бы себе: «Это она!»

И после долгого молчания, тихое:

— Да. Это я. А это ты, Дапилка?

— Нет. Я там, — махнул рукой на догорающий крест, на лес, на ночь вокруг... На дым, что клубился рядом, — она заслонила огонь от ветра. — Весь там. Теперь мне никто уже не зажмет глаза, как тогда... Теперь меня никто уже не заведет в поле, чтобы, предав, убить...

— Правда, Дапило. Мы... Мы уже никогда не сможем быть вместе. Ничего не сможем вернуть... Так хватай скорее топор... И убей! И сожги! Только так я буду с тобой... — Она шагнула в огонь... — Ну, поднимай топор...

«Брось в это пламя, Даниэль, то, что дорого тебе... От души... Бог тут глазастый...» — вспомнился костер в

овражке, тогда, перед боем... «О, жестокий! Снова хочешь жертву? Но будь я проклят... Будь...» — яростно погрозил небу, швырнул топор в кусты и кинулся к Ольге.

В эту минуту она, потеряв равновесие от боли, склонилась над неровными языками огня и низ платья вспыхнул на ней дымным кольцом.

Топча угли, схватил Ольгу на руки, высоко поднял перед собой. Не отпуская, поднял свой шуршащий плащ и завернул в него. Едкий дым. Огонь, тлея, гаснул. И вдруг над лесом, над их головами раздался крик, безумный хохот, дикий визг... Так продолжалось с минуту.

И когда это жуткое «у-ху-ху!» уже эхом отозвалось в лесу, в отсвете затухающих углей увидел те же глаза, что на картине Довбеняка. Перехватив взгляд Данилы, она обвила его гибкими сильными руками. И сквозь рыдание услыхала не те слова, что говорились вначале:

— Олюська... Моя Олюська... Я снова нарушаю обет... Знаю, уведешь, заманишь... А ты не бойся. Это филин. Пугает соперника...

— О нет! Это судьба моя, сиротство мое, жестокая разлука с тобой так кричат, так горько плачут...

— Олюська... Моя Олюська...

— Не говори мне так. Теперь знаю, что... Ты не мне сужен... Ты... — и не договорила. Он прервал ее долгим, мучительным поцелуем и, как в ту предпасхальную ночь, крепко прижав к груди, понес в ночь.

Старое начиналось наново.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Хоть и старенькая у Байд хата, да лицом к солнышку, ко всем ветрам. На соломенной крыше вторая пара аистов друг против друга свила гнездо, и в синем небе, над хатой, не умолкает посвист огромных белоснежных крыльев.

Сестры Михайлы радуются, что приехал он из района проводить собрание не один, прихватил малыша-сына к бабушке. Второй годик Степанке. Опекает его старшая из сестер — Вера. Младшая, Наталка, не огорчается: вон на их крыше второе аистиное гнездо — значит, придет в жизнь и второй парнишка. Уж тогда назовут Васильком... Хотела, чтобы так назвали первого. Но первенца нарекла старшая. Да и брат заупрямился:

«Пускай зовут как деда. Весь в него удался: ямка на подбородке, и плечи, видать, будут во всю дверь. Точнехонько как у нашего зодчего...»

По правде говоря, дочки считали отца обычным человеком, а сын всегда величал «строителем», а то и «зодчим»...

— Если бы наш тато был как все, — тихо, будто по секрету, сказал однажды сестрам, — то каждая рубленная им хата не была бы похожа на сказку, а все мосты, что построил через наши быстрые реки, стали бы близнецами. Сами видите — пошла в мир созданная им красота. И все это, как и мы, — его дети...

Наталка прыснула, перебила брата:

— А я хочу, чтобы другой твой сын на первого походил...

Михайло задумался о своем, нахмурился. Сестра обиженно сказала:

— Все-то ты хвалишь тато, а он за свою красоту редко домой деньги приносит. Так в этой старой хате и помрет... И тебя из-за нашей бедности из гимназии...

— Замолчи... Это только отец Скалка на проповеди так говорил. А следователи в Березе иначе думали: те булыжники, что летели в панских уланов, попадали точнее, когда я швырял их из-за рабочих баррикад. — Михайло сердился не на шутку — не любил вспоминать о том, давнем.

И вдруг увидел неожиданно взрослые глаза сестер. А совсем, кажется, недавно были как у сына... И захотелось отчего-то, чтобы задержались подольше у девушек

те глаза... Взрослеют дети — старятся родители... И, вздохнув, сказал:

— Так о чем ты, Наталка? О каком втором Степанке?

— Ой, не о нем вовсе. О Васильке. Скоро твоя Мария...

— А ты, девка, думаешь, сыны так просто на белый свет приходят? Сама узнаешь. И откуда только взяла?

— Как откуда? Все уже знают. У нас же на крыше вторая пара аистов.

Михайло давно так не смеялся: «Родителям таких младенцев жить и жить... Совсем еще дитя наша Наталка-комсомолочка... Да, добрые, видно, времена настали, если может в шестнадцать так трогательно-наивно видеть жизнь. А что в такие годы было со мной?.. И не только со мной. Мы с Данилой Жураком близко знали уже и жандармов, и свист нагаек...»

Данило вспомнился, наверное, потому, что под горой, на тропинке, показался Пилип Довбеняк. Шагал, видать, к ним. И сразу пришла в голову Ольга, всплыли в памяти все разговоры вокруг нее и Данилы в последние дни. Подумал и о Цизорике, о Башовской, о Цебрике... И снова о Даниле. И, как всегда, с благодарностью о собственном отце.

Байда не раз мысленно благодарил отца за то, что выбрал он для хаты такое живописное, такое удачное место: в прежние, лихие времена Михайло всегда видел издалека, как крались кустами к их двору жандармы; был он в те тяжкие годы неуловимым руководителем подпольного укома комсомола.

И оставлял жандармов с носом: прыгал в окно, петлял по кладбищу. А оттуда — через овраг в лес. Из леса — ищи ветра в поле — в дальние села: к тем людям, которым строил отец хаты, звонкие, как колокола. «Не взял твой тато денег у нас... А брал бы у всех — богатыми стали бы, счастливыми...» Отвечал: «А мы и так счастливые. Разве за несчастными жандармы охотятся?»

Михайло покачивал на руках толстенького первенца,

раздумывал, как по-разному меряют люди счастье человеческое...

«Посмотри вон туда, сын. Видишь, идет к нам могучий, как горы, вуйко. Ах сынок... Ходило по этой тропинке к нам раньше лихо: панские подпевалы с припрятанными кандалами... Перед самым концом их власти поймали-таки меня. Бросили в застенок. На медленную, но верную смерть... А теперь мы живем, сынок! Что ни говори, великое это дело — родиться на свет и жить, жить! Всякое будет: и злое, и доброе... Вырастешь... И много чего услышишь, Степанка, про своего отца. Про вуйко Довбеняка. Нужно будет тебе, малыш, знать о нас все. Кабы не нашлись когда-нибудь, не выползли на готовенькое из заплесневелых нор перекрасившиеся оборотни... И не стали бы перетолковывать теперешние наши тяжкие, грубоватые шаги в будущее... Ты должен знать правду. И дать достойную отповедь... А дрогнешь — значит, даром убивали нас, даром ломали нам хребты в застенках фашисты всех мастей... И бесчувственных волочили подписывать: «Отрекаюсь от коммунизма»... Многое может оказаться напрасным. Даже то, что вынужден был оставить кисть для нагана художник милостью божьей — вуйко Довбеняк...»

Степанка вырывался из отцовских рук, чтобы бежать навстречу Пилипу. Мальчик издалека узнавал высокого дядю, дарившего ему веселые яркие ветряные мельнички, с которыми всегда приходил к Байдам.

— Вуйко Липа! Вуйко Липа! — так малыш выговаривал имя Довбеняка.

Еще Степанка умел говорить: «Тато нету... сборы... стреляют...» Вот, кажется, и все слова, что научился выговаривать сын.

«Видишь, ты боялся за его будущее. А он тоже начинает жизнь с нелегких слов...»

Девушки взяли ребенка за ручки, повели встречать гостя. Вера шла уверенно, спокойно. Наталка смущалась, краснела. Байда смотрел, как приближались к другу его

родные, вдруг выросшие сестры. И снова рой мыслей... Твердый у Довбеняка характер. Умеет держаться на людях. Но, кажется, и ему изменяет спокойствие при виде Наталки. Михайло однажды спросил:

«У тебя что, Пилип Романович, какие-то секреты с Наталкой?»

Тот ответил:

«Ну, как сказать... Ваша Наталка так неповторимо женственна. Прелесть ее не передаст ни живопись, ни скульптура. Только музыка. Вот об этом и сказал ей однажды. А она взяла с меня слово держать все в тайне...»

И видит Михайло — горят у девушки щеки... Вон Степанка с пестрой мельничкой в руках уже на плечах Пилипа, уже прижался к широкой груди личиком, замер.

— Привет, товарищ Байда. Твой наследник сказал мне сейчас: «Тато нет... сборы... стреляют...» Правда, нынешние сборы у нас по такому поводу, что без стрельбы не обойтись. Ну, если не теперь, так в недалеком будущем в кого-то из нас выстрелят... Вероятнее всего, из-за угла. Говоря откровенно, хотелось бы уберечься от выстрела в спину...

Сестры подошли по дорожке. Из сада с пятью ульями спешил отец. Пожал руку Довбеняка и, услыхав конец фразы, скомандовал дочерям:

— Брысь в сад! Серьезная беседа — мужское дело, — и, увидев, что Вера хочет взять мальчика, добавил: — Не спеши одевать моего внука в юбку. Пусть побудет с нами. Еще и на его жизнь хватит того, о чем начал говорить товарищ Довбеняк. Пусть слушает и растет казаком...

Девушки хлопотали в садике. Вскопали грядку на припеке. Вынесли в кошелке продолговатые клубни георгинов.

— Говорите вы, вуйко Степан, правильно. Вот — весна... Истоки всего живого... А готовимся к осени. Смотрю вон на девчат: сажают георгины, поздние цветы. Распу-

стятся на склоне лета. И будут цвести до той поры, пока не убьют их первые осенние заморозки. Так вот и жизнь...

Помолчали. Что-то лепетал на руках ребенок, играя пышными, прокуренными до рыжины усами деда. Молчали, пока девушки не стащили в кучу высохшие прошлогодние плети огурцов, стебли георгинов и подсолнухов. Вера подошла к мужчинам:

— Спичек бы нам. Спалить сушняк, — и когда Довбеняк подал коробок, добавила обиженно: — Прогоняли нас, тато, какие-то важные разговоры вести собирались, а сами молчите.

— Что же... Потому, как соберешься сделать настоящее, так нужно бывает заранее хорошенько подумать... Хоть, как люди говорят, сколько ни думай, а работать нужно: мысль, она ленивая, а работа быстрая. А тебя, сын, спросить хотел: что за сборы ты нынче собирать приехал?

— Ох, тато, не прикидывайтесь Степанком... — Сын пытался вести разговор полушутя, чтобы смягчить отца. Не удалось. И Михайло понизил голос, как привык в те времена, когда о делах не говорили громко: — Сборы насчет колхоза, тато. Не такая это и новость в нашем районе. Еще в прошлом году в пяти селах создали. Не все там легко и гладко. Но лучше, много лучше, чем у одиночек, что не захотели вступить... Докатилась волна и до Скоморохов. И мы, вместе с Довбеняком, будем разговаривать с людьми. А вы, тато, как-то чудно спрашиваете...

— Чудно, говоришь? Оттого, что сам про себя спросить хочу. И еще — про таких, как я. Что они говорят?

— Будто не знаете?

— Знаю. Но хочу от тебя услыхать...

— Откровенно, тато? Почти все прикидываются, будто и слыхом не слыхали, что там за сборы должны быть. Только молодежь, комсомольская молодежь обещает колхозу руки свои и сердце.

— Молодо-зелено! Горит, как солома... Ты лучше про

ровесников твоих и моих скажи... Дашило вот... Интересно. Многое повидал. Да отмалчивается все... Если вы с Довбеняком ох и много разговариваете, он ох и молчит! И старые уши мои вроде бы учуяли: не будет от этого добра. Испокон веков не признавали Скоморохи непонятных людей. Ну, ладно... Расскажи-ка мне о тех, кто, как говоришь, должен стать солью, сердцем вашего колхоза. А знаете, я, кажется, видел похожее. Разве поставишь справную хату, хороший мост, ежели всем миром не возьмешься?! Вот и давай говори о таких, которые знают — где овес сеять, а где гречку...

— Вы первый, тато... А еще: Сыроветники, Ярескова, Русины, Загайные...

— Ага, все такие, как я. У всех — и одного коня не найдешь. Теперь других назови.

— Пригода.

— Олекса? Если не будет шутить. Кобыла у него справная. И добрый клин ухоженной пашни. И нрав веселый: без него компания не компания... Да... А ну-ка гляньте, не жалует ли сюда он сам, собственной персоной?

Пригода и впрямь направлялся к Байдам: девушки, оставив работу, вглядывались в идущего из-под ладони и, как всегда при его появлении, улыбались. Теперь-то отец не отправит в сад...

Все умолкли, словно ожидая чего-то. Старый Байда шарил в карманах — искал курево. Запахло духовитой живицей.

Олекса был уже близко. Под мышкой пила. Она поблескивала на весеннем солнце, как огромная щука. А сам делал вид, что никого не видит.

Девушки окликнули:

— Вуйко, вуйко! Тато вон, под хатой, на завалинке. И товарищ Довбеняк там, и наш Михайло...

— А-а, сороки... Вы дома? Кто сказал, что мне нужен ваш Михайло, да еще с товарищем Довбеняком? А? Иду с пилой к отцу. Подточить нужно. — Пригода не

спеша направлялся к завалинке. — Доброго всем здоровья! А тебе, малой, пусть еще и славная девочка снится. Ты чей будешь?

— Мама...

— Глянь, такой малой, а на небо засмотрелся... Молодец. Твой, Михайло?

— Мой.

— Единственный пока?

— Один.

— И я был, да вот и остался — один. Нехорошо. Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — вот тогда только сын. А? Времени у тебя на сыновей мало. То сборы... То чего покруче... Знаем. А мой тато все землю докупал. Великий был труженик! Жаль, только на пашне... И я без сынов. Тут моей вины нету... Италия... Альпы... Шрапнель бьет не разбирая... Ладно, молчу. Давайте, товарищ Довбеняк, спрашивайте. Вы это любите, да и рассказывать тоже. Но сегодня придется вам тяжко...

— Ну что ж, и спрошу, вуйко Олекса. Не пилу ведь точить пришли, правда? Она с вами, чтобы не было одиноко в дороге.

— Что? А? Чистую правду сказал, надо же... Язык поточить пришел.

— А что ж получится, если вуйко такое захотели? — не выдержала Наталка.

— О, что-то да получится:

— Что именно, вуйко? — улыбнулся Михайло.

— Сборы. Комсомолы уже афишу прилепили. И без языка, острого как шило, идти туда и не думай. Будем защищаться.

Все насторожились: от кого собрался защищаться Пригода? А он даже голову втянул в плечи от этих недоумевающих взглядов.

Даже младший из династии Байд вплотную подошел к нему и изо всех силенок дернул за широкое, «русское»,

голенище сапога, пролепетав «де», что, безусловно, означало: «Дед, говори...»

Пригода осторожно положил пилу, взял малыша на руки и, посмотрев на пестрый ветрячок, сказал:

— Хорошая мельница. А? Ветром мелет... Ехала Хима из Ерусалима, повозочка качается, лошадка спотыкается... И с нашими Скоморохами такое... Спрашивайте еще, Пилип Романович. Так мне и хотелось, чтобы сегодня о чем-нибудь спрашивали.

— Если хотите... Собираетесь ли прийти на сборы?

— Собираюсь. Должен же язык поточить....

— Тогда еще скажите: записали бы вы сейчас в колхоз себя, свое поле и своего коня?

— Кобылу, — поправил Пригода. Подумал и уточнил: — Жеребую кобылу.

— А еще: борону, телегу, плуг, — перечислял Довбеняк.

— Сеялку, — продолжал Олекса.

— Внесли бы мешка два овса да три — картошки? — Пилип загнул пальцы в кулак.

— Вместе — пять. И у меня так вышло, — сказал, рассмеявшись, Пригода, но тут же остановился и продолжал серьезно: — Вы мне, товарищ Довбеняк, начинаете рисовать совсем другую картинку. Что-то вижу на ней такое, вроде нужда вашему колхозу не во мне, а в моей кобыле и ниве. Так что теперь и вы скажите откровенно: возьмете в колхоз меня одного, без кобылы и землицы?

Недолгое молчание и потом:

— Не возьмем.

— А моего вуйка Русина берете...

— Так он же с нашней идет.

— Э-э-э, извиняйте, товарищ. Поле то не его. Дармовое. Панское. И Русина опо до той поры, пока не вернутся хозяева из бегов — слыхали, пап Мациборский письмо прислал из Румынии? Обещает в скорости приbыть к палацам своим, к моргам...

— Мы никому не собираемся уступить место...

— Эге, поляки тоже говорили...

— Выходит, для нас что панская Польша, что Советский Союз — одно и то же?

— Выходит, товарищ Довбеняк, что не одно!

— Тогда, значит, получается, что вы за Советскую власть, но без колхозов? И если уж идти в колхоз, то так только, как ходили в графский фольварк на сезонные заработки? В колхоз, но без земли и скота? Интересно, конечно... Прошу вас, скажите...

— Наконец-то узнаю вас, товарищ Довбеняк! Добавь еще ты, Михайло... Помалкиваешь, а уши вон как навострил. Именно потому, что вам, как никогда, интересно слушать меня, именно потому нарочно ничего больше не скажу. Иначе не быть мне Пригодой! И зачем тогда сборы? Чтоб Цебрик свою генеральскую выправку показывал?! Там уж я и поделюсь своими секретами...

— Так я и знал, вуйко Пригода, что подставите вы нам ножку в самом главном, — с глубоким огорчением сказал Пилип и опустился на завалинку, словно подчеркивая свое несогласие с Олексой, который продолжал стоять, что-то нашептывая Степанке. Говорил, видно, забавное — мальчик заливался смехом и не хотел уходить от такого чудесного деда.

Но тут Пригода, словно вдруг вспомнив важное, отдал сынишку отцу и, оставив пилу на завалинке, торопливо попрощался.

— Помуштруйте ее там, Штефан. Два зубца прыгают. А мне одолжите домой новый напильник.

Заглянул в принесенный Верой ящик с мелким инструментом. Выискивал придирчиво «самый зубастый», но такого, по его мнению, там не было...

— Сходим, что ли, в кладовку, Штефан. Помнится, был у вас еще такой ящик...

Видно, в кладовке нашлось нужное... Пригода торопливо спускался по тропинке к селу.

Опять замолчали. Смотрели вслед, пока не скрылся за лозняком.

— Эй, козаки, чего голову повесили, пригорюнились? — спросил, прерывая паузу, старый Байда. — Огорошил вас, видать, Олекса своими речами? А ну-ка, расшевелите мыслями, вспомните: крепкий середнячок наш Пригода. И мог бы не так уж и плохо жить-поживать при старых властях... А вот, поди ж ты, искал человек неведомое, болью чужою болел. Ну и тиранили его все! Но в будущее верить не перестал...

— А в нас не верит, тато?

— Верить-то верит... Как объяснить? Ну вот, если бы вы, Нилин Романович, не рисовали тут картинки, а, примером, кузнечили, а ты, Михайло, вместо папки взял бы отцовский плотничий инструмент да смастерил такое, что мужику враз понятно: что оно и к чему, так Пригода разговаривал бы с вами иначе. Не пробовал бы на зуб, не поворачивал во все стороны, чтобы убедиться: все в колхозе равны, все по-честному, и никаких тебе новых панов...

— Если в этом дело — чего же с вами не поделился? Ваша-то работа всем видна...

— А откуда тебе знать? Может, исповедовался мне, когда были в кладовке...

— Так скажите и нам...

— Ничего, потерпите до времени. Он к вам лучше присмотрится, вы к нему, и получится тогда у вас откровенный разговор. Советская-то власть не на год, не на два... Считаем — навечно!

— А разве у него не было времени присмотреться ко мне? — удивился Михайло.

— Было. В прошлом. При панах. А при товарищах — нет. Да я, твой отец, не все о тебе знаю... Ладно. А скажите, чего вы так с колхозами спешите?

— Спешим, тато. Вынуждены. Такое вокруг нашей земли замышляется... Враги кругом. И у нас в селе есть их единомышленники, пособники даже... А колхоз — первый залог нашей победы. Это хлеб. Главное подспорье державы. И потому мы не можем медлить. Потому зани-

маемся такой работой, которая вроде бы и не видна. Но я верю — сыну моему будет легче выбрать любимое дело: пахать ли, строить ли мосты. И может, не только между берегами — между народами...

С подворья Байд далеко видна скомороховская пашня, наполовину изрезанная межами. На юг, на восток — бывшие панские поля. Там их нет. Но, черная прежде, земля пересохла, посерела: давно чувствовал пан — горит под ногами... И забросил, запустил хозяйство.

А сейчас с Балкан, с Черноморья, принесли ветры тепло и влагу — наступала пора вспахать кормилицу, бросить в нее зерна.

Старый Байда встал с завалинки, выпрямился:

— Скажите людям, Пилип Романович, с этими убогими полосками мы никогда не станем равными, счастливыми, не порадуем нашим хлебом державу... Так и скажите... А я, старый, помогу людям построить амбар для общего урожая, для общей радости...

— Так и скажем. Люди поверят нам. Если не нам, то кому?!

Ласковый весенний ветер донес аромат далекого леса, согревшейся земли. Задумавшись, засмотрелись все на дали, полные солнца. Девушки остановились, взявшись за руки. Довбеняк хотел сказать что-то старику, но вне-запно все увидали: с Островской горы дед Матвей Русин неистово гонит вороных коней Нарытника...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Больше всего Вавр Цебрик любил ездить в район. По обратной дороге радовался особенно. Потому, когда едешь назад, опять успокаиваешься: шило твое из мешка не вылезло...

И вот возвращается он домой. Кони рослые, воронье: каждый раз заказывает их у Нарытника. А кучером Матвей Русин.

Путешествовать со стариком приятно и безопасно — руками и ногами за новую власть. Даже вороных Нарытника величает не иначе как «куркулями». А самого Цебрика «куркульским могильщиком». Конечно, не первый день знают люди: дед половину слов говорит навыворот. А небольшие недоразумения возникают оттого, что туго воспринимают стариковские мозги «командирскую» скороговорку скомороховского головы...

Но нет худа без добра: зато Русин с удовольствием выслушивает его россказни, не донимая дурацкими намеками на невозможность такого в жизни. А вот одного не выносил Вавр: любил старик вспоминать, как командовал в Италии их маршевым батальоном капитан, ну вылитый Цебрик... Он-то, сукин сын, и завел их однажды в беду...

— Старый хрыч, — голова злился всерьез, — и додумается уже сравнить императорского капитана с будущим рабоче-крестьянским лейтенантом запаса...

Ездовой умолкал и безропотно выслушивал до конца дороги повествование о том, как геройски сражался Вавр в двухметровых снегах линии Маннергейма при сорокаградусном морозе. Русин, видно, вспоминал и свои баталии — дергал вожжи, нахлестывал «куркулей». И когда лихо осаживал их у сельсовета, молодо соскакивал, как мог тянулся «по-военному» и говорил всегда одно и то же:

— С благополучным прибытием... Интересный у вас рассказ! Да конца у него нету. Эти «кулацкие» гнали, как грешные души в пекло... Приходите как-нибудь ко мне в воскресенье подстригаться — народу полно. Уши развесят! Аж до самого конца расскажете...

Но не шел Цебрик подстригаться к деду Матвею. Там не только Пригода разводит сомнительные разговоры со старым умником Гринчуком, но частенько захаживает посидеть и сам товарищ Байда. Тот самый, который отчего-то не встретился с Вавром Цебриком на линии Маннергейма, откуда вернулся раненый да с боевым ор-

деном. Так и оставалось повествование неоконченным...

Но на этот раз, возвращаясь из района, Вавр отчего-то не распространялся о своих подвигах. Раздумывал о чем-то.

Такого еще никогда не было. И Русин, придерживая коней, выбирал дорогу поровнее. Под разными предлогами, время от времени, оглядывался на заднее сиденье, где продолжал размышлять голова. Что тяжкие думы не минуют его, дед предполагал с утра. Как привязал еще коней к забору райпарткома, так и выведал тут же в гулких, как ток, коридорах, что Скоморохи, имея под боком автотракторную базу технической школы и двести гектаров панской земли, должны в ближайшее время объединиться в артель...

Вот и подумал старик, что такая новость должна крепко огорошить Цебрика. Но ехал он вроде бы как обычно. Только помалкивал. Когда начальство безмолвствует — и подчиненным невесело...

В этот день, прекрасный и трудный, Русин решил: пусть голова думает о селе, а ему, Матвею, голове дома, следует позаботиться о семье. Впрочем, казалось: ей, да и другим бедняцким хозяйствам Скоморохов станет легче. Не будет богачей... Не будет и он отрабатывать Нарытникам за вспаханный лоскуток поля. Может, при колхозе и такое даже случится: снимет наконец с пояса ключи и отдаст жене, внукам — тяжеловато уже делается снаряжение, пригибает к земле, а думать об этом теперь не время... Да, с колхозом должно выйти к лучшему. Вон даже тот маленький трактор, на котором выучили Ивана Пидвезеного, и тот тянет сразу два плуга. Пашут к тому же глубже, чем плуг самого Нарытника. И внуки не узнают того, что выпало на долю Матвея и братьев... Не будут проклинать тех, кто родил на свет... И Яська... Пропадает парнишка, как заслышит пыхтенье трактора... Может, выучится, как Пидвезеный... И с девкой тоже вроде ничего — вон половина их в комсомолы записа-

лась. Работают, а плата такая, что и не снилась бедноте... А внучка Загайного, говорят, вытянула на какую-то лейборантку, и теперь такие сватают...

Колхоз пугает Матвея одним: не заберут ли туда панскую корову?

Доехал с такими мыслями до Островской горы. Минуешь ее — тут и скомороховская землица виднеется... С самого утра, прослышав в райпарткомовском корридоре новость, приказал себе: как увидит родное поле, так здесь же сам, без подсказки, и решит — вступает в колхоз или не вступает. И понял: вот чего всю дорогу придерживал, словно берег, коней... Трудно, трудно прийти к окончательному решению. Просунул руку под камизельку — мокрый весь, как из бани. Посмотрел на лошадей — тоже потные. Оглянулся на Савра. И у него лоб в испарине...

«Ну и задали нам нынче в районе задачу! Весь капитализм потом выходит. Гляди, и из седока тоже...»

Русин решился — заглянул прямо в глаза Цебрику. И вдруг по телу пробежал озноб:

«Ох, недоброе надумал человек... Такой заберет корову и никуть не даст... Похож, похож на того капитана...» И, не раздумывая — разумно ли? — обратился к Цебрику:

— Послушайте, голова! Спросить что-то хочу.

— Короче давайте! И без ваших разговорчиков голова трескается.

— Возьмут нашу корову в колхоз?

— В какой еще колхоз?

— Да в наш же...

— Тоже мне колхозник нашелся! — Цебрик, охватив взглядом ширь полей, расстилавшихся внизу, сдержав стон, выговорил зло: — Когда у нас выйдет с колхозом, тебя уже не будет. Вон туда переедешь... — И махнул рукой на церковь, за которой среди голубых елей белели кладбищенские кресты; порядочно уже лежало под ними ровесников Матвея.

Кони разом рванули с горы. Повозку швыряло на проселочной дороге, как щепку в бурных, весенних водах На-

райя. У стари
длинную рыж
Савра. А тот
новиться —
крутизна, поро
Но Русин
напротив пого
с повозки. Ста
молнией черен
— Глянь,
утолял велики
кормилица, мо
ваете... Вы ве
серьезных дел
на кладбище.
ривайте... Схож
Умирать Р
ков каждое во
в потустороннe
дольше и с по
интересная жи
выходит, как бо
не без пользы пр
Он зашагал
ваясь на лошаде
заков, что полег
крикнул Цебрик
— Коренника
Парытника удал
сит упряжку на
Конь, кося п
бодиться, по Сав
тем острее чувст
задом...
Колхоза Цебр
малопонятное сло
о колхозах на Во

райя. У старика слезились глаза от ветра, что трепал его длинную рыжеватую бороду и относил ее чуть не под нос Савра. А тот орал не своим голосом, приказывая остановиться — по краям дороги виднелась предательская крутизна, поросшая колючим терновником.

Но Руспи был глух ко всему на свете. Только внизу, напротив погоста, чудом удержал коней и с трудом слез с повозки. Стал привязывать вожжи к могучей, разбитой молнией черешне:

— Глянь, все в этой жизни меняется... А я тут голод утолял великим своим постом. Кто знает, кабы не она, кормилица, может, и был бы уже там, куда спроваживаете... Вы ведь как всевышний над нами: в таких серьезных делах не можете ошибаться... Значит, пойду на кладбище. Ну, а вы тут посидите, с полем поразговаривайте... Схожу, место себе поищу...

Умирать Руспи вовсе не спешил. Хоть и ходил в церковь каждое воскресенье, и говел перед праздниками, по в потустороннее царство небесное не верил. Хотелось подольше и с пользой пробыть на этом свете. До чертиков интересная жизнь начиналась! И чувствовал: все у него выходит, как бог наказал. Вот и нынешний день, видать, не без пользы пройдет...

Он зашагал по реденькому клеверу, изредка оглядываясь на лошадей. Дойдя до братской могилы донских казаков, что полегли в войну на скомороховской земле, крикнул Цебрику:

— Коренника стереги! Он, шельма, весь в молодого Нарытника удался, распряжется, махнет к чертям, бросит упряжку на произвол судьбы...

Конь, кося шалым глазом, и вправду пытался освободиться, но Савру было не до него.... Чем ближе село, тем острее чувствовал: фортуна поворачивается к нему задом...

Колхоза Цебрик боялся. Не потому, что пугало это малопонятное слово. Нет, он слыхал рассказы Довбоняка о колхозах на Восточной Украине, собственными глаза-

ми видел в районе первые объединившиеся хозяйства. Но, думая только о себе, страшился многого...

Во-первых, в селе появится другой председатель. Выйдет двоевластие. А Вавр, как петух на своем дворе, соперников не признавал, насмерть готов был извести, только на глаза покажись. Во-вторых, колхоз начнет сразу заводить клубы, школы, амбулатории. И, кроме агрономов, понаедут всякие там всезнайки-книжники: учителя, лекаришки-белохалатники... Вот они-то и спихнут с должности, другого посадят... В-третьих, и это самое страшное, откуда-то знают Нарытники и Цизорики все о прошлом Вавра в далеких от Скоморохов краях. И держат на такой крепкой цепи, что другой на его месте живым бы в гроб полез... Тяжкую ношу взвалил на себя Цебрик, если добавить ко всему и то, что намекнул ему районный военком про офицера... И думает голова: при теперешней власти дорога в генералы надежнее, вернее, чем при власти Нарытников.... Но отчего-то все равно больше верится в их будущее: уже добивают немцы тысячелетние европейские державы. А этой, которой служит сейчас, только-только минуло двадцать.... Но, представив себе это будущее, холодеет. Снова, использовав, когда пожелают, выкинут на свалку, как драную онучу...

Вот и сейчас получил задание: затормозить всеми силами создание скомороховского колхоза, как удалось это сделать в прошлом году. Выдвинули тогда в председатели Ньокало. Ох и анкета у человека! Перед самым изгнанием поляков подпалил одного, со спопами, на возу... И удалось записать храбреца в «могильщики цанства»... Недаром высох от трудов, как щепка... На то он и Ньокало, чтобы водить за недогадливые носы Довбеняка вместе с Байдой да Русином. А сейчас в районе чуть не случилась беда. Подошел к скомороховскому голове сам первый секретарь и как-то душевно, со значением заговорил о Даниле Жураке:

— Как посмотрели бы, если бы он возглавил в вашем селе колхоз? Знаем, знаем, что довелось пережить това-

рищу... Измывались жандармы, убивали националисты... Вернулся, говорят, мужественным, но с большими странностями. И все же мы уверены: никогда не будут равнодушны к заботам партии такие люди. Так что... Слушаю вас...

В зале заседаний было шумно. Начался перерыв, и люди разговаривали, смеялись. Секретарь, проведший в панских тюрьмах много лет, был глуховат и, ожидая ответа, приложил к уху ладонь.

«Что сову об пень, что пнем об сову — ей-то все равно...» Цебрик пытался думать о другом, пытался заглушить тревогу. Но имя Журака, казалось, разрывало внутренности. Сделал усилие, взял себя в руки и завел издалека разговор про Ольгу, про окна читальни....

Секретарь засунул руки поглубже в карманы и задумчиво проговорил, словно и не Цебрику:

— Подозрения.... Недоверие.... Это прилипчиво, как зараза. Трудно представить, чтобы человек с таким выстраданным, большим политическим прошлым вдруг превратился бы в сельского парубка австрийских, недоброй памяти, времен... Не ошибаетесь ли снова, товарищ, как случилось уже однажды, когда выселили невинную семью?

Секретаря срочно позвали к телефону. Когда вернулся в зал заседаний, к скомороховскому голове больше не подходил.

Во время второго перерыва Цебрик поспешил на базар. Был ярмарочный день. Подошел к самой многолюдной толпе, безошибочно рассчитывая найти там Ганьку Башовскую, которую подвез по дороге в район. Ганька нашлась. В самой толчее. Видна не была, зажатая людьми, но голос ее не узнать невозможно... Как всегда, она побеждала в словесной баталии. Савр силком вытащил ее за ограду и без предисловий сказал:

— Ганя! Если хочешь, чтобы увидел Журак, где раки зимуют, поспеши сама знаешь куда... Завтра будет поздно....

...Между кладбищенскими елями и крестами то тут, то там мелькала рыжая борода Русина. Цебрик люто клял старика:

«Сто лет живет да двести, на мою голову, место искать будет...»

Матвей и не думал искать место. Давно уже найдено, облюбовано. Но до него свободен еще целый ряд, не маленький, и чтобы заполнить его, пришлось бы другим, раньше деда, помирать лет десять, а то и двадцать... «Лишь бы война не ударила», — подумал невесело. Но, поразмыслив о всяком, оживился и, отцепив от звякающего пояса складной ножик, срезал в одичавшем вишеннике узловатую ветку на кнутовище. «Может, пригодится... Нового голову возить... Очертел Вавр селу...»

Русин от погоста, а Довбеняк с Байдой с подворья вышли почти одновременно, и потому у повозки, на которой восседал Цебрик, оказались разом.

— Ложная тревога! А мы думали, что-то сломалось, — сказал, здороваясь с Вавром, Довбеняк.

— Ой, сломалось, хлопцы, сломалось... У нашего головы. Да такое, что не починишь...

Пропустив мимо ушей слова деда, Пилип спросил голову:

— Сегодня на наши сборы никого больше не присылают?

— Никого. Завтра пришлют. Да на другие... Верные люди видели, как нес Данило Журак из Островского леса в Вертебы Ольгу Цизорикову.

— Ну и слава богу, что так закончилось, — в сердцах сказал Довбеняк.

— Что вы сказали? И при свидетелях? Повторите. А известно ли вам, между прочим, что нес ее мертвой: тут же в кустах топор нашли, а перед этим в лесу такой крик был! Уж какое тут «слава богу»? Что над собой несчастный Семка сделает? Что скажет о нас, о нашей власти?! Не пустяки это — Цизорика весь край знает.

— Беру свои слова обратно, — усмехнулся Довбе-

няк. — Хоть не передайте их Семену. Еще обидится. Вуйко Матвей, не знаете, собираются люди на сборы?

Русин заводил коренника в шлею, остановился, обдумал что-то и ответил:

— За людей не в ответе. Я приду. А то будет Нарытникам да Боженькам смеху, если помру до колхоза....

— Вуйко Матвей, что я слышу?! — Байда развел руками. — Вы позволяете себе так говорить о Цизорике?! Вы же на благовещенье в церковь ходили...

— И впервые так легко на душе было: Семку не видел. А еще полегчало бы, кабы председателя нашего...

Цебрик как ужаленный замахнулся кнутовищем на деда, не достал, огрел коней, и вороные понеслись вскачь с разгневанным головой.

Заклубилась вслед густая пыль на подсохшей дороге, заслезились глаза старика, захлебнулись легкие. Зашелся в кашле.

— Дорогой наш дед! Пусть ветер унесет поскорее ваш кашель! Пейте натощак больше молока от вашей графини. И не сомневаюсь — еще этим летом займете в Скоморохах должность агитатора. Вместо меня. А теперь — не сходим ли вместе поговорить с Данилой Жураком?

Первым припустился к селу Русин. Так спешил, обгоняя всех, даже про костыль забыл... Последний раз обошелся без него памятной, морозной зимой двадцать девятого, когда родился внук Яська

И торопился тогда дед к Василию Жураку просить, чтобы нес старый друг дитя к купели....

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Труба Дмитра Сыроветника сзывала неорганизованный скомороховский люд на сборы с сентября тридцать девятого. Блестящий, медный инструмент вместе со своим хозяином вошел в пролетарскую историю еще на Первомай тридцать шестого года. В тот памятный день старый

коммунист Андрий Шопа, возглавив колонну батраков графа Мациборского, играл «Интернационал», и налетела на них конная полиция. Офицер на скаку плашмя огрел саблей трубача, и тот рухнул замертво. А когда здоровенные батраки вырвали из мостовой тяжелые булыжники, Дмитро Сыроветник, в то время юный музыкант и панский ездовой, схватил окровавленную трубу и доиграл пролетарский гимн до конца. Тогда и лишился он двух нижних и трех верхних зубов, а позднее, в Березе Картузской, — и левого глаза...

Но как только рухнула граница на Збруче, Сыроветник выбрался из застенка и пришел домой, тут же заявился к нему Михайло Байда с бессмертным корнетом в руках и сказал:

— Я вчера тоже оттуда... Вот твоя боевая труба. Бери.

Дмитро, надев вышитую сорочку, не мешкая, вышел на высокое крыльцо читальни. Упиваясь свободой родного края, смахнул с лица ласковую паутинку бабьего лета и заиграл свою первую вольную песню.

На клич, памятный с тех дней, поспешили бывшие батраки, весь бедный сельский люд и создали немедля временный комитет. Вошли в него Степан Байда, Юрко Мельник, Зореслава Король и сам Сыроветник... Тогда же постановили: национализировать четыреста моргов панской и церковной земли, раздать ее неимущим...

Но в январе сорокового, во время выборов в сельский Совет, кулакам и их подпевалам удалось спихнуть Степана Байду и Дмитра Сыроветника, как «элемент, что эксплуатирует освобожденных граждан при помощи своей трубы и плотницкого инструмента».... «Эксплуататоры» не очень огорчились: старик провожал сына Михайлу в Красную Армию, а Сыроветник, отказавшись играть на свадьбах, и дальше продолжал трубить с крыльца читальни.

Так и не смогли кулаки взять над ними вверх...

Вот и сегодня торжественно звучал гимн. Какой-то

весельчак, намекая на происшествие с «элементом», крикнул в шутку:

— Что будет, то будет, а ты, Митрий, наяривай!

И тут, всем на удивление, подошел Пригода. На прежние сборы он являлся только во второй половине, первую просиживал в лавке, попивая пиво да приговаривая, что и так знает, о чем там разглагольствует Цебрик...

Сыроветник пропустил шутку мимо ушей, а Олекса, подойдя вплотную к Семке Боженьке, глянул на его осунувшееся лицо и со значением сказал:

— Наши играют, ваши рыдают...

Довбеняк почти зримо ощутил тот момент в истории Скоморохов, когда ни один их обитатель не сможет больше укрыться от других. Нужно будет настежь открыть себя, свою душу и стать только по эту или по ту сторону... Третьей не будет...

К читальне подошла Наталка Байда с маленьким Степанкой на руках. В кулацкой компании — оживление:

— Смотрите, люди, и в пеленках тащут, лишь бы откусить побольше!

Девушка опустила ребенка на землю, он подбежал к отцу. Но Михайло глянул сердито, бросил слово Наталке, и она, поняв, поспешно подхватила малыша.

Кулаки на минуту притихли. Но старый Нарытник, что-то надумав, громко захохотал, шлепнул Пригоду по плечу, и вся компания, развеселившись, взяла Олексу в окружение белых кожухов.

И сразу же начался животрепещущий разговор. Довбеняк видит, как меняются лица, то бледнея, то вспыхивая, словно обданные варом. Доносятся обрывки фраз:

— Было, было, Олекса.... Из-за ерунды сварились... Теперь нам — зарез. Всем... И ты голоду не выдержишь... Там, говорят... Русину твоему хорошо поддакивать. Ни кола, ни двора... Пошли, братцы, в лавку... Пиво ставлю...

Но Пригода, будто не слыша, небрежно насвистывает,

оглядывается, словно поджидая кого-то, и говорит в пространство:

— Была бы башка здоровая — и без пива хорошо... А кума моего, Гринчука, не дождешься сегодня, видать, старые раны разболелись... — И, остановившись на «нейтральной полосе», между кулаками и беднотой, сказал всем сразу: — Так пойдем без него, что ли...

За Олексой в читальню — молодежь, потом и старшие. Еще продолжают беседу про обмен семян, про ячмень и гречку, еще толпятся, чтобы и здесь усесться, как стояли во дворе — своей компанией... Еще Федь Яресков громко, по складам читает красные лозунги: «Уничтожим кулака коллективизацией!» и после каждого слога оглядывается на Пригоду: привык сидеть рядом на всех сборах, а бывало, и ввязываться вместе в горячие словесные битвы... Но отчего-то сегодня сидит друг, как жених на свадьбе, в самом центре богачей... Еще не все односельчане разглядели — с кем сели соседи, родственники, как неторопливо поднялся в президиуме Михайло Байда, вышел из-за стола:

— Уважаемое общество! Родные Скоморохи напоминают потомкам о своей истории. Мы гордимся достойным прошлым. Но скажите, дорогие земляки, выпадал ли когда в том тысячелетнем прошлом хоть один день, когда люди стали бы равны, когда не было бы бедных и богатых, кривды и обездоленных? Словом, чтобы хоть день не было над нами пана? И вот, впервые в истории, нет. И земля их принадлежит бедноте. Власть — в руках рабочих и крестьянских. Но настоящее равенство в село, сами видите, еще не пришло... И не придет, пока не исчезнут с лица нашей земли межи... Третий месяц рассказывает, разъясняет вам товарищ Довбеняк о новом в сельском хозяйстве, о колхозах. Да и сами читали, и в районном кино не раз видели, как за восемь лет коллективного труда поднялся крестьянин на Советской Украине, стал зажиточным, культурным... И дети их нынче учатся в самых высоких школах: на летчиков, агропо-

мов; докторов... К нашему коллективному хозяйствованию с удивлением присматривается капиталистический мир, тот мир, что считанные годы назад издевался над нами... Вы имели возможность собственными глазами посмотреть на молодые колхозы: в нашем районе их уже пять. В области еще в прошлом году началась коллективизация: люди объединяются, строят новую жизнь. Товарищи из скомороховской инициативной группы не раз гостили у соседей. Попросим председателя группы Ньокало рассказать собранию, что они там видели...

Ньокало, нестарый человек с испитым лицом, неуверенно поднялся из-за стола президиума, для чего-то порылся в карманах и невнятно, так, что задние ряды не услыхали, сказал:

— В декабре мы там были. Холодно, все по хатам сидели. Потому ничего такого и не видели. В середине мая опять собираемся. Тогда все рассмотрим... И будем думать. Я кончил...

Федь Яресков стоял, то расстегивая, то застегивая пряжку широкого, военного ремня.

— Ох, не кончил ты еще, — пообещал громоподобным голосом. — Но кончишь... и всем вот говорю — плохо кончишь... Разреши, Михайло, продолжать и перейти к другому. — Яресков, получив разрешение не только от Байды, но и от большинства присутствующих, поискал глазами Пригоду, что по-прежнему пребывал в непонятном окружении, и после этого направился к скамье, где сидел его сын. — Встань, Василь! Вот, значит, люди... Послали мы на прошлую жатву парня в колхоз «17 сентября», чтобы набрался там ума-разума. Расскажи, чему научился?

Младший Яресков отличался от старшего разве тем, что был, естественно, помоложе, да пошире в плечах, и повыше ростом. А так — точь-в-точь... Он вышел за трибуну, откашлялся:

— Товарищи! Тут тато сказал, что послали меня поучиться. Так это была одна сторона дела. А целиком дело

обстояло так: комсомольцы Скоморохов послали туда делегатами нас, четверых. Ох, и понравилось там ребятам! Мы и остались на осень. Что я должен рассказать? Ну урожай у них за прошлый год куда выше, чем у единоличников, а сахарной свеклы собрали по триста центнеров с гектара! Всю жатву комбайн по полям ходил. И осенью — два трактора... Еще о себе скажу: вырос на ихних хлебах и ввысь и вширь. Военком обещает на флот послать. А кроме денег, мне на каждый трудодень по три кило пшеницы насыпали. Вот мы с татом и подсчитали. Вышло, что столько пшеницы, как я за сто дней в колхозе получил, он у пана зарабатывал за пятьсот... Я тоже кончил. Правда, тато?

— Правда, Василь! — улыбнулся парню Байда. — Но будем считать, что сегодня ты начал... Итак, товарищи, пора приступать к главному. Поскольку под боком у села техшкола, оснащенная различными машинам, райпартком полагает возможным уже этой весной создать в Скоморохах колхоз...

Сквозь распахнутые окна ночной ветерок донес волнующий запах вспаханной невдалеке земли. Зал непонятно вздохнул. Луць Нарытник зябко поднял воротник кожуха. Байда продолжал:

— У нас один основной вопрос: организация артели. То есть подача заявлений гражданами, владельцами единоличных хозяйств. Слово предоставляется товарищу Довбеняку.

Пилип поднялся и обратился к залу:

— Кто хочет высказаться, товарищи?

Первым с места взял слово старый Нарытник:

— Люди! Хоть и не гожусь в компаньоны Василю Ярескову: у меня за плечами годы, скитания заокеанские, да и не на нашу мельницу льют, но речь все же держать буду. Прошу ответить на такое. Скажем, имею я пашни сорок моргов, а односельчанин мой, почтенный Русин, — три. Не своих — панских. И выходит: запи-

шись, к примеру, я с вуйком Матвеем в ваш колхоз — станет у обоих земли уже поровну? Одинаково?

— Да. У обоих одинаково. Поле в колхозе, как и все прочее достояние, — общее для всех его членов.

— Это уже так называемое равенство?

— Да. Революционное равенство, социалистическое...

— Ага... — только и выдохнул Нарытник, опускаясь на скамью.

— Кто еще хочет высказаться? — снова спросил Довбеняк.

— А вступать в колхоз — принудительно? — с другой кулацкой скамьи сорвался молодой Илько Смалий, встал в проходе и так яростно швырял каждое слово в Довбеняка, что присутствующие пригнули головы.

— Только на добровольных началах...

— Что ж получается? Байды с Сыроветниками да Яресковыми за то, что поляки зубы им выбили, хотят всем Скоморохам мстить — в колхоз тянут?

— Чем именно, скажите при всем честном народе, хотят мстить названные вами товарищи?

— А тем, извиняйте, что, как придет сюда другая власть, всех нас за колхозы перевешают...

— Вас, во всяком случае, нет. Господской земли не имеете и сюда пришли не в колхоз вступать... И еще скажу: перестаньте мечтать о новой вашей власти, о вселицах... Кто хочет сказать?

Снова поднялся Ньокало:

— Я, товарищи, изучал даты, когда в других селах организовывали колхозы. Все — в декабре, феврале, марте. В апреле — ни одного. Опоздали мы. Не успеть нам уже вовремя обсеяться. Вместе хорошо только кума бить, а все другое...

— Старая песня! Вчера ребята из группы содействия заглянули в твои бумажки: ты там планировал колхоз на конец мая. И помалкивал, что поздно. И не будь я Федь Яресков, выкинул вчера все эти твои ци-

ндулы в отхожее — пусть люди не сердятся. А ты по карманам шарил... Давайте начинать, Пилип Романович!

Вскочил Цебрик, взял слово и стал разносить Яреску-ва за порчу «государственных документов». Присутствующие с трудом его угомонили.

Довбеняк спустился со сцены в зал. Под мышкой у него был такой сверток бумаг, что Зореслава Король, любительница чтения вслух, поинтересовалась: не собирается ли Пилип последовать ее примеру?

— Нет, Зореслава. Пусть почитают сборы. Хорошо бы хоть на треть... — И, раздав всем по листку, обратился к сидящим: — У вас в руках, товарищи, та бумага, с которой решите свою судьбу: придете или не придете в колхоз. Тех, кто согласен, прошу с этим листком — называется он заявление — подойти к столу и подписаться. Захотите добавить личное, от себя, — пожалуйста. Кто не силен в грамоте — высказывайтесь устно: комсомольцы запишут. Там свободного места много... А вы, гражданин Нарытник, может, хотите спросить: как поступить тем, кто в колхоз не желает? Смело рвите бумагу, бросайте на пол. Но всех прошу не уходить: интересно, правда? Не ждите, друзья, что и сегодня буду агитировать. Лучшая агитация то, что уже дала вам Советская власть... Только скажу: и вправду мы чего-то запоздали... Люди вчера уже сеяли... Но и мы можем с утра взяться, да к тому же машинами...

А сейчас знаете чего ждем? Катерину Гринчук, комсомолку нашу. Все знают дед у нее — середняк. Сказать бы даже — из крепеньких... А внучка — участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Вот и поджидаем — приедет Катерина, расскажет, что там и как... Должна бы успеть к началу сборов. Где-то задержалась... Но вот-вот будет: звонили из района — уже выехала. Оттого и просьба: кто задумался, кто решил разорвать заявление, подождите немного. Может, после выступления Катерины по-другому поступите, снова придет-

ся бумагу давать, а у меня — в обрез... Что ж, прошу к столу...

Но по-прежнему никто не двигался с места.

Опустив глаза, нагнув головы, все словно прислушивались: вдруг, откуда ни возьмись, прискачет на взмыленном коне неведомый гонец и крикнет: «Живите покамест со своими межами...»

Никто не рвал заявления, никто и не подписывал.

В зале воцарилась такая тишина, что даже в задних рядах слышалось, как позвякивало снаряжение на широком поясе деда Матвея. С той минуты, как взял старик из рук Довбняка разлинованную синим бумагу, повел себя весьма странно... Несколько раз поднимался с места, безмолвно жестикулировал — то ли скамьям, где расселись белые кожухи, то ли одному Пригоде...

На сборах Русин обычно подсаживался к комсомольцам. Принимали старика охотно: с детства привыкли, выросли на глазах... Не один год прибегали к нему подстригать непокорные чубы. Знали наперечет все предметы дедова снаряжения и сегодня дивились обнове. Рядом с кресалом из немецкого пулеметного замка на прочной нитке болтался длинный граненый карандаш, заточенный, как пчелиное жало...

— Громите, дед, кулачье, пока не поздно, — шептал сидящий рядом Иван Пидвезеный, единственный из всех, посвященный в тайну появления обновы. После каждой подсказки Русин словно бы поднимался, как бы собирался идти к столу, взяв в руки карандаш, но снова оказывался на прежнем месте, только громче и громче вызванивало его снаряжение...

В зал прошмыгнул Шпуга, поднялся торопливо в президиум и что-то тихонько сказал Цебрику. Тот вскочил побледнев:

— Товарищи! Экстренное сообщение! К нам приехал секретарь райпарткома товарищ Цымбалистый. Уже идет

на сборы. И если кто надумает здесь заниматься антигосударственной болтовней — пусть катится к чертовой матери... А то я... А то мне...

Двери открылись. Первой вошла Катерина Гринчук, за ней Данило Журак. Еще не все односельчане видели его и потому многие вставали, с удивлением разглядывая пришельца. И не все заметили, как появился следом пожилой, коренастый человек и, взяв за руки Катерину и Данилу, повел в президиум. С сидящими там обменялся рукопожатием, поклонился собранию.

Байда объявил:

— Товарищи! Секретарь районного партийного комитета прибыл на наши сборы в ту минуту, когда решается вопрос: быть ли колхозу в Скоморохах в этом, сорок первом, году. С удовольствием предоставляем вам, Василий Григорьевич, слово...

— Что ж, уважаемое собрание. Товарищ Байда у вас с хитринкой. Если колхоз получится, скажет: все это мы с Довбеняком, с Цебриком. Не получится — тут же переложит ответственность на мои плечи. Вот, значит, и поговорим... Вы знаете — я ваш земляк. А судьба занесла в восемнадцатом в Питер... Там вместе с другими сражался за революцию... После гражданской токарил на заводе. Но тянула меня, крестьянского сына, земля-матушка... И более пяти лет работал я колхозником. Не голой... На тракторе. Давал тогда наш колхозный гектар и тридцать центнеров пшеницы — недалеко это отсюда, на Подолье... А дальше так сложилась жизнь: нужно было помогать родному краю, бороться с пилсудчиками... И встретились мы с вашим Байдой в Березе. А сейчас, как старый колхозник — мой сын и теперь пашет на отцовском тракторе, — искренне, от всего сердца, приглашаю скомороховский народ в артель. Уверен, не пожалеете, вспомянете советчика добрым словом... Село ваше всегда славно людьми было. И молодое поколение поднялось не хуже... Кстати, встретил я, товарищи, по дороге сюда двух интересных людей. Знал их, правда, и раньше. Вот

и прошу дать им слово, если, конечно, они не возражают...

Данило от слова отказался.

Катерина взволнованно начала:

— Люди добрые! Еще два дня назад была я в Москве, в великой столице равных народов. И до глубины души взволновала меня Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, которую видела там. Ничто не может убедить так, как она: будете без колхоза и дальше бедствовать. Смогу ли убедить вас, уважаемые?! Боюсь гадать... Особенно тяжко говорить с теми людьми в селе, что считают себя богатыми, а на деле такие бедные... А деда я убедила. Пускай Данило скажет или сам товарищ секретарь...

Но они промолчали. Вавр Цебрик, уловив момент, когда можно прислужиться двум богам одновременно, вскочил и крикнул Катерине:

— Выдумываешь, голубушка! Как так убедила деда, если он и на сборы не явился. Наши распоряжения, понимаешь, игнорирует...

— Факт, выдумала девка! — заявил во всеуслышание, поднявшись во весь рост, Луць Нарытник. — Завезли, дуру, во Львов, а говорит — в Москву...

— А это что! — раскрасневшаяся девушка бросила на стол большой альбом с наклеенными фотографиями, тут же достала из кармана кусок серой бумаги и начала читать: «Я, Стась Гринчук, сын Василя. Перед всем скомороховским обществом имею честь передать на бумаге такое. Я, убежденный, что правда на стороне большевиков, и, посоветовавшись с самим собой и внучкой Катериной, как жить дальше, решили всей семьей вступить в колхозную артель. Землю свою (восемь моргов) отписываю поровну моим внукам — Катерине и Стасю, чтобы имели они с чем прийти туда. Трудоспособных три души. Половину пасеки оставляю для себя. Руку приложил Стась Гринчук».

Прочитав, Катерина подошла к брату, о чем-то поговорила, и они направились к столу.

В ту минуту, когда девушка дошла примерно до половины «документа» Гринчука, альбом с фотографиями доплыл по рукам к скамье кулаков. От далеких степей Московского Кремля, от огромных комбайнов, стоящих среди разлива бескрайних пшениц Приволжья и Приднепровья, от медалей на груди казахов и белорусов, что стояли рядом с улыбающейся Катериной, газды еще могли как-то отмахнуться... Но с тем, что старый безумец, назло внучке Марии, невестке Нарытника, отдавал восемь моргов золотого поля скомороховским голодранцам, с этим две скамьи белых кожухов решительно не могли смириться...

Нарытник как встал от удивления, так и окаменел, пока секретарь райпарткома, оценивший смешную сторону положения, не сказал:

— Послушайте, хозяин в кожухе! Понимаем, вы впервые на таких сборах и, наверное, думали, что будем заседать аж до зимней стужи... Можете подойти со своим заявлением к столу, подписать и выйти охладиться...

— Извиняйте, я не за этим. Сказать хочу, что это заявление — оно неправда... Не первый день знаю Стася Гринчука. С войны... Он... Свихнулся он от той бумажной свободы. Словом — брехня!

— Отчего же брехня, хозяин, если и я, и ваш односельчанин Данило Журак присутствовали, когда Гринчук подписывал? Выходит, нас обоих в лжецы записали? Селили бы на место...

Матвей Русин, грозно глядя на вражеские кожухи, шагнул к столу с заявлением в руках, но, не дойдя до цели, обратился с вопросом:

— Товарищ районный секретарь, подтвердите и вы: это правда, что не возьмут в колхоз корову, ежели даже и симменталка она бывшего пана графа?

В зале захохотали, но секретарь ответил не улыбнувшись, что коров в колхоз не забирают, а наоборот, если нужда у колхозника, государство поможет приобрести.

Еще не пришли в себя люди от «документа» Грин-

чука, от косого креста Русина, собственноручно начертанного на заявлении тем карандашом, что болтался на нитке, как из-за кожухов показался Пригода и застыл у стола, как изваянная из камня статуя. Сегодня он был все время рядом с кулаками, и зал замер в ожидании: что скажет этот острый на язык человек, единственный, кто мог бы остановить лавину, мог бы так повернуть дело, что снова вышла бы задержка с артелью до будущей весны... Но Олекса стоял, держа заявление двумя руками. Наконец, прервав затянувшееся молчание, произнес:

— Снова судьба сводит нас вместе: и кума Гринчука, и вуйко Руснна, и Сыроветника, и меня. Видать, великие мы грешники, потому стоит сойтись, как тут же и встреваем бог знает во что... Правду говорю, Зореслава? То прямым попаданием шрапнель шарахнет в чертовых тех горах, то тальянцы на расстрел тащат... Или еще... Да что вам, люди, рассказывать? В наших Скоморохах память у всех распрекрасная! И сейчас, выходит, не отрваться от тех, с кем издавна соединяла судьба... Но чего-то захотелось наконец на склоне лет, чтобы и наш регимент * стал удачливее. Потому и прошу товарищей от партии, от Советской державы, убедительно прошу, добавить к нам, невезучим, людей, что родились под счастливой звездой... Как хорошо было мне посидеть рядышком с теми, кого еще никакая настоящая беда не клевала: с Нарытниками, с Ньокало, с Ганей Башовской, с головой нашим — Вавром Цебриком...

Цебрик, услыхав свое имя среди других, застучал ключами по столу:

— Несознательный элемент пихает меня в одну кучу с цезарскими вояками. Вы — австрийские захватчики! Вы вели преступную войну! За престол паршивого Франца-Иосифа! Вы называли его отцом! Но знайте: тем, кто возводит на меня поклеп, займутся органы. Проверим — и к чертовой матери из села... А заявления в кол-

---

* Регимент — войсковая часть.

хоз я не подаю потому — голова, от родителей отрекся — в избе иконы держат, квартиру снимаю, своей земли не имею, а также довожу до сведения: на днях меня могут как запасного призвать в Красную Армию...

— Ты уж, если говоришь, голова, так давай одно: а то разом и за попа и за дьяка... — неодобрительно заметил Пригода.

— Дам тебе сейчас и попа, и дьяка, и попадью... Знаешь ведь, сукин сын, что я это племя...

Цебрика кое-как успокоили — у стола собралась уже целая очередь, чтобы записаться в «невезучий регимент» Пригоды. Тут были: Степан Байда, Зореслава Король, Дмитро Сыроветник, Федь Яресков, Гриць Ковалев, Иван Пидвезеный... Зося Зелинская уламывала отца...

Кулаки рвали заявления, топтали юфтовыми сапогами обрывки. Увидев, что никто не собирается тащить их «в Сибирь», толпились у дверей и злобно смотрели на каждого, кто шел подписываться. Довбеняк сказал им:

— Вот она, бедняцко-середняцкая воля. Первый ее росток. Будет еще ее много-много... Уже завтра постараемся доказать вам: не батраки выйдут обрабатывать землю. Но прошу выслушать внимательно: даю вам на руки список. Есть еще несколько копий. По списку этому в помощь молодому колхозу причитается с каждого из вас по десять центнеров яровых семян. Это на завтра...

Подписано сорок шесть заявлений.

Уже пустел клуб, уже отложили выборы правления на следующий вечер, а Пригода продолжал стоять у стола как монумент, со своим неподписанным заявлением, говоря:

— Мало, мало для полного счастья в нашем регименте, — и, пряча наконец неподписанное заявление в дальний карман, сказал секретарю райпарткома: — Не смотрите так осуждающе. Даю слово старого вояки: когда Русина с Гринчуком потащат на обещанную виселицу — первым на ней все равно буду я...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Может, лихая беда и разминулась бы с Луцем Нарытником, кабы не его гордыня... Удушил бы ее в утробе, сидел бы на собрании тихо, не лез бы в белом кожухе в мученики-страстотерпцы... А там, глядишь, и пошла бы опять жизнь по старой колее: днем — оцепенение, ночью — пробуждение...

Теперь поздно. То, что случилось, не повернешь назад, как теленка, отбившегося от стада. И затягивает в свою трясину черная ночь страха одного из самых богатых, самых бывалых газд Скоморохов...

Заслонив распахнутую настежь дверь, застыл Нарытник на пороге отчего дома. Схватился за притолоки и уставился ошалело в темное небо. Как мог, сдерживал себя, чтобы не завыть волком, не броситься, оскалив клыки, на тех, кто замахнулся на его кровное...

С того времени, как пришла в село Советская власть, жил Луць прежней жизнью независимого хозяина только по ночам: выводил на просторный двор вороных, запрягал в богатую упряжь, разваливался на пружинах сиденья — изображал, что отправляется в уезд, на праздник. Но у ворот зло осаживал коней, заводил обратно в стойло. Щедро насыпал овса, чтоб наелись на сутки вперед — целыми днями возили Савра Цебрика. И вот даже такой, придуманной, жизни приходил конец...

Нарытник, весь в испарине, готов защищаться не только от дня — от ночи тоже. Все больше чувствует: затягивает она лютым ворогом в бездонную трясину вместе с родной хатой. И, лязгая вставными канадскими зубами, снова думает свою горькую думу:

«Если бы только те, назначенные, десять центнеров, так ведь... Это только зацепка. Сдашь зерно, а они тут же, еще и еще будут натягивать маленькую заплатку на большую прореху...»

А можно было пересидеть тихо. Не слушать советчиков...

Поздно теперь... И Нарытник хватается за дубовые притолоки, словно они поддержат, пока не придет старший сын. Должен вот-вот быть, он же знает об этом списке. И хотя и во гневе, да придет. Ведь утром ожидает его то же, что и отца... Недаром сказал: «Не прикидывайся, тато, овцой — волк съест...»

На сборах вроде бы и не прикидывался, а есть начали. Теперь сожрут!

Руки совсем затекли, а сына все нет. И мысли уже не в силах помочь...

И в таком состоянии Луця застает одноглазый Думпаль. Не обращая внимания на растерянность хозяина, не говорит, приказывает:

— Вы должны надеть чего потемнее. И айда за мной!

Хотя в последнее время солидный газда и привык, что односельчане не так уже деликатно относились к нему, но до такого унижения еще не доходило... И он, отпустив притолоки — Думпаль чего-то лез в сени, — пробормотал удрученно:

— Я... Я не понимаю....

— Нечего и понимать — глупостей наделали. Нечего, говорю, понимать. В Луптаровом курене поймете!

Старика затрясло, как в лихорадке. Превозмогая дрожь, спросил:

— А зачем нужно так далеко? Нету времени. Довбняк сдавать зерно записал. Приготовить должен...

— Выпишут вам сегодня другое... Ну, хватит! Айда, вуйко! Ночь короткая, а дорога долгая...

Нарытник, как во сне, молча поплелся за Думпалем. Тот, уже за воротами, случайно оглянувшись на газду, воскликнул:

— Да что с вами такое?! Говорил же про темную одежду?!

Было, было уже такое в жизни у Луця — отправился в дорогу, а бумаги оставил. Пришлось возвращаться из-за ворот. Ох, не забыл — плохо тогда получилось... Вот и сейчас, выходит, нужно вернуться, и правда, светит своей

сорочкой в ночи, как подсолнух на поле в утренней дымке. Да и зябко...

Вернулся. Схватил оставленный в сенях кожух, набросил наизнанку, черной шерстью наружу, и поспешил за Думпалем, что опять торчал на пороге, нимыгая носом.

За овином стояли чужие, не скомороховские кони, запряженные в воз одноглазого, — воз этот Нарытник узнал сразу:

— А кони чьи?

— Ваш Олекса позаимствовал... В поле держим. Трава скоро подвянет. Да и мы вскорости тоже будем нуждаться в овсе, ха-ха-ха... — И тут же злобно зашипел: — Чтоб вам не упасть в яму поглубже, советую не вякать: энкаведе может за каждым забором сидеть...

Кожух, который в клубе жег огнем, сейчас навалился на плечи льдиной. Немело тело. Только работящие руки Нарытника, двигающиеся даже когда отдыхал хозяин, были еще теплыми, чуткими. Пошарил в темноте по боку воза, чтобы окончательно убедиться — чей он? — и стал с трудом застегивать вывернутый кожух... Чуть согревшись, под тихое постукивание хорошо смазанных колес склонил голову на сено. На то самое, что пропало из копны в прошлом году и перессорился он из-за него с невинными, выходит, людьми... Пофыркивали кони, и, вспоминая прошлое лето, Нарытник задремал...

Проснулся будто на другом свете. Обступил вокруг дремучий бор. Из-за туч выглянул старый недобрый месяц. Стало нестерпимо страшно.

Испуганно посмотрел на Думпаля. Но и он вздрагивал, неспокойно поглядывая на приземистый курень, в котором, казалось, царила мертвая тишина. Внезапно неподалеку крикнул филин, и на его зов со всех сторон леса отозвались зловещие птицы...

Больно сжалось сердце, и так захотелось услышать человеческую речь: поговорить бы хоть с этим сопливым заморышем, которого и в селе-то никто не признавал... Заговорил бы с одноглазым, но не знал, как обратиться.

Помнил по именам его родных: отца, старших братьев, сестру... А как этого — не знал, не помнил...

Думпаль, видя, что старик не спешит сойти с воза, злобно истерзался:

— Двигайте, двигайте! Чего тянете? И так задержались. Здесь вам не довбеняковские сборы, здесь не опаздывают... Ну, шагайте. Один... Дальше покажут...

Только когда Нарытник отошел, Думпаль, не спускавший с подопечного глаз, заметил, что кожух на нем надет наизнанку. Хотел окликнуть, сказать про непорядок, но тут не принято было разговаривать с доставленными... И задумался: как же за время дороги не заметил такого? Ведь не раз оборачивался с передка, боялся, чтобы Луць не попытался удрать. Спросил себя: «Как же так? Может, оттого, что смотрел — не следят ли? Или на другой глаз слепну?»

Рассердившись, плюнул через плечо.

В эту минуту у входа в Лунтаров курень выросла перед Нарытником черная незнакомая фигура с немецким карабином наизготовку.

— Где, извините, я войти должен?

Фигура повернулась задом и пропищала, издеваясь, мальчишеским дискантом:

— Зайти сюда, дед, просто. Вот выйти — спросишь у самого пана бога...

В Скоморохах произносили слова иначе. По чужому говору Луць понял, что тут стоят в дозоре люди из дальних сел или из города. Значит, находятся здесь высокие лица.

Времени на размышления не осталось — распахнулись перед носом низкие широкие двери и, пробормотав вполпьяна: «Аккурат тебя», — дозорный почти впихнул Луця в круг ярких огней.

Из всех углов небольшой, заставленной койками и набитыми мешками хаты ударил в глаза Нарытника огонь, а в сердце — хохот людей. Свет он выдержал, а смех не смог. Ноги словно вросли в землю. Как подкошенный,

грудью подался вперед, к людям, сидящим будто на мельнице, на мешках, за столами из гнутого орешника. И понял: смеются над ним — показывая не на лицо, а куда-то ниже.

Опустил глаза: так и есть, в кожухе навыворот... Хотел попятиться за дверь, но сразу вспомнил только что сказанное дозорным. И шагнул вперед:

— Слава Ицсу!..

— Навеки слава... Но прежде — Украине слава! — тот, что ответил на приветствие Луця, опустил свой карабин под нос Марине Пуповой, сидевшей справа от главного, поднялся. Нарытник не мог отвести глаз от жилистой, коренастой фигуры, узнавая, вспоминая, что видит не впервые... Ранней весной сорокового привел сын переночевать троих. Молодых, интеллигентных... Луць помнит: одного из них звали Савур. Но это — другой... Это... Имя его забыл, но лицо характерное — запомнилось крепко. И подумал: «Господь милосердный, если собрался говорить со мной главный, которого тогда накормил и не выдал, может, и выйду отсюда. Свои вроде люди... А на сборах проклятых ведь за идею принял крестную муку...»

Безымянный сказал без злобы, уничижительно:

— Почтеннейший Нарытник! В таком виде нужно было являться на колхозное собрание, да еще юродивым прикинуться... А вы — к нам. Мы что, похуже? Разве заримся на ваше достояние? Разве приказываем — завтра же пожертвовать десять центнеров? Словом, мы... мы пригласили вас... Выкладывайте: с кем вы — с нами или с большевиками? Как ваш сват.... э-э-э... Стась Гринчук? Он же ваш сват, правда? — оглянувшись, безымянный спросил другим тоном: — Друже Олекса, это ты взял в жены Марию Гринчук?

Там, за спинами, за мешками, у дальней закопченной стены, не поднимаясь, ответили таким знакомым отцу голосом:

— Ага, взял.

— Твоя Мария — родная сестра той предательницы, что явилась из красной Москвы?

— Тогда сестры родные, когда все замуж повыходят... Цыпочки: хоть и не увидел сына, но был уверен — так могут, так смеют только Нарытники. «Моя кровинушка... Мое дитя...» И, словно отступила давняя боль, что причинил ему сын, отринувший отцовские наказы: жить и наживать, не проливая крови людской.

Все затаили дыхание, уставились на старика.

И захотелось ему, чтобы произошло здесь такое: его Олекса встает не спеша из-за чужих плеч, не спеша подходит к отцу, кладет грешные свои, сильные руки на вывернутый кожух и торжественно говорит: «Это мой тато! Вы! Чего смеетесь?! А ты, Марина, лупоглазая шлюха, чего кажешь бесстыдные свои колени?! Это — мой отец! С ним говорили по-человечески и не такие властители жизней, как вы... Он объездил весь свет, а вернулся к отчей земле, чтобы на ней стать человеком. Перестаньте ржать! Потому — если бы не он, не было бы и вас. Только за два последних года вы пожрали столько его хлеба, что большевикам не взять, наверное, и за двадцать... Так что, если бы не мой старик, давно и духа бы вашего не осталось. И речи про самостийную на том бы закончились...»

Но было тихо. И таяла последняя возможность...

Сын не вышел.

А отец продолжал любить его разрывающей сердце любовью... Но все-таки промелькнула невольная мысль: «Господи милостивый! И мой в этой бесовской экзекутиве не простым чертом. Люди, выходит, не зря говорили...»

И вдруг охватила Нарытника та, прежняя, гордыня. Оторвав взгляд от взъерошенной изнанки кожуха, выпрямился и стал искать между многими смотрящими на него глазами глаза знакомые. Сразу узнать было трудно: сидели здесь люди без обычных, будничных масок... Все у Луця двоилось, плыло... Да и времени на разглядывание,

на раздумывание не было дано. Недобрая слава Лунтарова куреня торопила с ответом, а жить, и жить долго, хотелось до боли... А чего, собственно, думать над вопросом безымянного? С той минуты, как пришли большевики, ночи напролет думал. Решил твердо: не с красными. Отчего же здесь стоит молча? И перед кем? Какая сила заставляет тянуть с ответом и снова приглядываться к нацеленным на него глазам?

Попытался, ища сына, заглянуть в дальние углы хаты. Теперь перевел взгляд на сидящих впереди, на выставленные колени Марины Пуновой. Ее присутствие не удивляло: от этой девки можно было ждать всего... Рядом тот, что ответил на приветствие. И вдруг земля покачнулась под ногами Нарытника: слева от безымянного, с чешским карабином, зажатым между колен, сидел Вавр Цебрик! Нет, не доставленный под конвоем, как он... Сидел чуть смущенный, но несравненно солиднее и увереннее, чем за большевистскими столами, рядом с Довбеняком, Байдой, Зореславой...

Не сын — кто-то чужой подал старику воды и подсунул небольшой мешок, кажется, с овсом.

Безымянный жестко сказал:

— Теперь вам удобнее отвечать. Только как на духу...

Луць поднялся, сбросив кожух под ноги, на солому:

— Прощения прошу, совсем ничего не могу ответить. Если наш голова здесь, так и товарищ... пан Довбеняк... Только вот не вижу его... Пусть они скорее скажут...

Хата загоготала. Смеялся безымянный, злобно скалил зубы Цебрик.

— Почтенный Нарытник! Хорошо, что имеете такого превосходного сына. Но нас не смешите. Не время. Душат наш край, отбирают землю. А этот человек, — оратор показал на Вавра, — если хотите знать, давно сказал и доказал — с кем он. Тут все до последнего дыхания преданы нашей идее. И я в предвидении великих событий разрешаю себе сказать об этом. Не бойтесь Дов-

бенюка. Его нет... Его вообще очень скоро не будет совсем... Правда, друже Семен?

На физиономии Боженьки прежняя жалобная трусливость сменилась великой тоской и унынием.

— Все мы тут подписались кровью, уважаемый, все, кроме вас. Впрочем, убежден: умеете, как и мы, держать язык за зубами и большевиков ненавидите так же. Оттого и говорю. Ну и некоторые поступки помню... Как однажды ночевали втроем на вашем сене. Мне тогда такие сны снились... Был среди нас Беркут. Бывший руководитель областного провода. Чуть не занял кресло председателя райисполкома тут, неподалеку. Потому — голову имел. А большевики, э-э-э, что ни говори, уважают разум. Но и нам он был нужен, только в другом месте. Верховный провод недавно создал мобилизационный отдел, целая наша армия есть уже на территории Польши, с Беркутом и еще одним разумным человеком во главе. И... пан Нарытник, мы ничего не будем иметь против, если и ваш «голова» займет должность председателя райисполкома, или — бери выше — полковника Красной Армии. Тоже разумная голова у человека, не хуже нас знаете: как и вы, в колхоз не записался, но никто его и в списки не впихнул — ни на сдачу центнеров, ни на отправку в Сибирь...

Снова загоготали в курене, и сквозь смех сказано было Нарытнику:

— Мы потому и пригласили вас, чтобы выяснить — с кем вы? Если с нами — подпишете присягу, и рекомендуем еще сегодня отнести Довбеняку заявление о вступлении в артель. И тогда всем разумом, который имеете, будете добиваться одного: стать у них головой колхоза... Он, — безымянный снова показал на Цебрика, — поможет вам...

— Уж простите... ничего не понимаю... Нынешним утром смертью грозили — кто пойдет туда. А ночью запрягай волов, ярмо потом найдем! Мне в колхоз! К голо-

дранцам...: с собственной землей! Позорище! Это уж точно — смерть моя! Никогда!

— Даже ради спасения Украины?

— Даже...

— Даже ради славной будущности вашего сына... обоих сыновей?

— А где мой сын... сыновья... если над отцом...

Распахнулась дверь: в хату втолкнули еще кого-то. Совсем юного, зеленого... С милым лицом...

— Вот как быстро закончили с вами. Друже Олекса! Выпроводи своего несчастного отца, пусть большевикам зерно готовит. А то еще... опоздает. Провожай! Э-э-э... без пропуска.

Хата недвусмысленно вздохнула.

И вышел за безоружным отцом сын с тяжелым карабином, подхватив по пути забытый кожух.

Высоко над лесом, над верхушками деревьев плыл большой, линялый месяц, а в небе под ним — черная, острая туча, как штык на дуле ружья.

Луць исподтишка огляпулся на сына: холодно поблескивает карабин, брошен на левую руку кожух. Взглянул на небо. Мрачное, давящее... Оттого ли, что неверный свет месяца так жутко скрадывает все вокруг, оттого ли, что поручено сыну неслыханное... Куда ведет? Похоже, ох похоже — на смерть. Что ж умирать так умирать. Каждому суждено. Одного только, еще со времен атак и окопов, страшится Луць — ножа...

И лес, наполненный соками жизни, тоже боится ножа и, скорбя вместе с человеком, клонит к нему свои печальные ветви...

«Ты плачешь, лес? Послушай... Ох, если бы услыхал и старший мой сын — не повел бы на ту же смерть, что и других. Теперь знаю: водит... Видел я, слышал, как были довольны им, когда посылали «проводить несчастного отца...». А если бы услыхал — отвел бы, может, на наше поле... Там, из-под дубовых корней, звенит ручеек, чистый, как слеза. Сейчас там еще тихо, пусто. А тогда—

вспоминали вишни. Тому, как ударила война, скоро двадцать семь лет. Дожинали пшеницу. Мало еще было у нас наши. Только межа с дубом и вишнями да вдоль нее полоска. Прикупил побольше, когда из Канады приехал. Не дожали еще, значит, а тут прискакали жандармы, давай тревогу бить: «Война! Наместника божьего, императора, защищать! На войну! На войну!» А жена такая молодая, такая влекущая — и при муже отбоя нет от чужих, жадных глаз...

Все с криком, с плачем побежали домой. А жена продержала его всю ночь на меже, под дубом, у родничка. Как ласкала — чтоб хватило на всю разлуку... И он ушел на войну, полный твердой уверенности: вернется. К такой жене не может не вернуться...

И пришел. Позднее, уже из тифозных бараков «сичевиков». Встретила его подурневшая жена с пятилетним Олексой, что не умел даже радоваться отцу... Были еще у них с Варварой ночи. И явился на свет божий второй сын — Антошка.

Росли они как волчата. Жаловались соседи: недобрые дети у тебя...

«А что скажешь, люди?! Они порождение войны, металла... Не имели и не имеют детства. Голодные...»

Но другие... Много пришло в мир ребятишек в четырнадцатом и в двадцатом. От отцов, что на войну и с войны...

Луць хмурился. Луць очень любил своих детей...

И уехал в Канаду.

Когда вернулся, застал дочь-подростка, а сыновей уже парнями. И все они не умели радоваться ни отцу, ни даже золоту, что привез он из дальней стороны...

«Если бы ты выслушал меня, сын, то отвел бы туда, на давнее наше, некуплепное поле, где из-под дубовых корней сочится отныне не вода — отцовская кровь...»

Тихо в лесу. Если беззвучный вопль горя человеческого может называться тишиной...

Сын, что свыкся за последние годы со страшным

своим ремеслом, шел сейчас за отцом, будто пастух за отарой в конце лета, не на два шага позади, как велит в таких случаях воинский устав.

«Это твой отец! Твой!» — что-то пытается еще взбунтоваться в душе, и кажется ему, что повинен в этом кожух. Словно исходит от него какой-то, от дедов-прадедов, живой, добрый дух, дух Нарытников. Да, хорошо было предкам! Слепые души! Они не подписывали кровью присяг во имя самостийной Украины. И предпоследний из их рода, отвернувшись от воспоминаний, деловито поправляет карабин...

А все же сердце человеческое не камень. И сын пытается идти в ногу, рядом с отцом. Хоть и широка лесная дорога, но старик спешит, вырываясь изо всех сил на два положенных шага вперед.

Конвоир снова поправляет карабин. Луць когда-то имел дело с оружием и знает, зачем это делают...

Безжалостный месяц. Старый, линялый, неверный... Видно, не хочет или не может спрятаться за острые тучи-штыки. И наверное, оттого, что глядит на них как свидетель, не могут заговорить отец и сын.

Но черные тучи неотвратимо пронзают сердце Луця. Снова слышит за спиной: трет ремень плечо и поправляют ружье, даже звякнул штык.

Время последних слов...

Но некому, не с кем их говорить... А нужно. Потому — слишком тяжко уходить с этого света без последних слов. И затаившийся, плачущий березовым соком лес слышит вдруг тихий голос:

— И Антошка наш тут?

— Тут.

— Не замстил. Видать, прятался от стыда за чьи-то плечи...

— А чего? В курене его не было. Слышите филина? Это Антошка ухает. На страже...

Отец замедлил шаг. Снял шапку. Прислушался. Ухает филин в лесу, ухает...

— Здорово выходит. Настоящий, как и ты, ночной разбойшик. Обоих узнаю. Он, слышу, на Землинской развилке стоит? Угадал. Хорошая работа. А вот, к примеру, хлеб свой, чем его здесь зарабатываешь? Не уханьем же...

Сын не отвечает.

— Молчишь. Так скажу сам. Твой хлеб — провожать без пропуска...

— Ха-ха! Не угадали. Как раз с пропуском.

И лес, и старый человек чувствуют: тот, у кого карабин с пулей в дуле, пьянеет от цинпчных, нелюдских слов. И лес и старик чувствуют: тот, с карабином, позволит себе сказать и лишнее...

— А что это — с пропуском?

— Ну, пропуск... Это значит... одно слово — заступ. Тогда идем втроем, а четвертый, он, значит, пропуск имеет...

— Куда?

— Ну, в пекло. Или там в рай...

На душе у Нарытника так нестерпимо тяжко, что впору сорвать с себя всю одежду и идти по назначенной дороге нагим.

До сих пор он совсем не думал о себе — только о сыне, только о...

И вот на этой лесной дороге все надежды, все тревоги и заботы оборвались. Кончилось все. Позади — не родная кровь.

Да, сын может, имеет право убить родившего его, когда потребует присяга, идея! Но не может в такой тяжкий, такой трагический час быть нагло-цинпчным с обреченным отцом...

И Луць почувствовал: после этих слов здесь, на дороге, мог бы сделать с ним что-то страшное... И с собой.

Но это уже не его сын.

Все равно теперь: жить ли, умереть... И спросил просто так:

— А без пропуска что?

— За восемнадцать месяцев вы — второй. Без про-

пуска... ну, значит, просто проводит кто-то из наших человека к крайнему дозору. И шагай на все четыре стороны... Великая это честь, доверие... Сказать по правде — воскрешение из мертвых. Счастливый вы, тато...

— Я?! Я счастливый?! — Старик рывком повернулся и рванул за ворот сорочки. Выдернул из-под пояса и разодрал на две половины. Облегченно вздохнул, взмахнув руками, как птица крыльями, и швырнул обрывки к ногам сына. — Такой, как эта сорочка... На, бери! Натяни на себя. Бери и не называй меня татом. Чьим сыном ты был там, в вашей корчме, когда надо мной, седым, что пять лет гнил в окопах всей Европы и девять — подыхал в дебрях Канады, насмехались те, которые прошли военную выучку на подстилке кривой шлюхи Пуновой? Позор! Вам все равно, в чьих руках будет моя земля, было бы что жрать, пить да перед кем выхваляться. Вам издеваться надо мной? Сколько большевики здесь, ни один не позволил себе ткнуть меня носом в мое же дерьмо, когда паскудил по вашему наущению в их доме... А вы... А ты... Господи боже, кого породил?! Землица моя... К кому ты теперь прильнешь, сиротинушка?! — Нарытник обнаженной волосатой грудью шел на штык сына. Тот пятился:

— Ну, ну... Хватит! Тут должно быть тихо. Слетяг-ся — и всадят дуром нож...

Услыхав страшное слово, Луць отшатнулся, кинулся в сторону.

— Тато! Куда вы! Угомонитесь! — Олекса знал хорошо, бежать некуда, на всех тропках из леса перехватят, свяжут, отведут, а еще, чего доброго, влепят меж голых лопаток горячую, разрывную пулю.

Но Луць продолжал бежать. Сын — за ним. И отставал.

«Ох и крепкий, черт! Заставят его большевики взять наше оружие, нашу клятву. Добрый урок получил сего-

И вправду, когда Олекса добежал до развилки, сторожевые уже сбили старика с ног, вязали ремнями.

— А... Мы не знали, друже чотар. Видим — голый. Ну и подумали...

— Ну, ну... Пошутили, и хватит! Пусть идет человек... — сын, вторично за ночь отрекшийся от отца, набросил ему на плечи вывернутый кожух и, не оборачиваясь, подался назад.

Старый Нарытник бежал все быстрее, волоча по земле конец неотвязанного от руки сыромятного ремня. Убыстрял и убыстрял шаг, радуясь, что так оно все вышло... Поглядывал время от времени на ночное небо: месяц выцвел совсем, в глазах, залитых потом, весь мир казался растерзанным в клочья, а черные штыки туч разлетались с треском...

«Боже милостивый! Какое счастье, что и в этот раз минуло самое страшное: смерть от ножа... Люди говорили — сын все больше им... Теперь-то смеюсь, конечно... И спешу к своим вишням. Не буду валять дурака, поджидать, пока снова потащит Думпаль к ним на заклание... Не поймают меня, не поймают! Придумал, как избавиться от вас, сыновья... А поле? Родимое, просторное поле? Чьим оно станет после меня? Как чьим? Если даже повисну — так над ним... Кто тогда посмеет отобрать? Дети? Пора, пора избавиться от них. Они не убили меня пулей, чтоб было перед кем форсить, тащить на свою собачью экзекутиву и каждую минуту, до последнего дыхания — убивать сотнями, тысячами ножей... Но я перехитрю их...»

Уже серело небо, уже забрезжил рассвет, когда Луць Нарытник добежал до самого большого, самого жирного клина своей пашни и остановился на меже под развесистым дубом. Из-под корней могучего дерева пробивался чистый, хрустальный родничок, и стояли кругом вишни с набухшими почками, готовые вот-вот зацвести.

Мучила жажда. Подошел к родничку, чтобы напиться студеной воды, но перемог себя, сказал вслух:

— Не... Никак нельзя. Подоброю. И тогда не перехитрю...

Вспомнилась вдруг далекая ночь под этим дубом, на этой меже и неутолимая жестокость Варькиной страсти...

Любовь он стал называть теперь жестокостью.

Рыдая, распутал затянутый на руке ремень и, взяв его в канадские, вставные зубы, вскарабкался на дуб, что наклонил до земли крепкие ветки. И, найдя ту, к которой в ночь своего счастья прикрепил качели для желанной, привязал один конец ремня, а другой, что свисал свободно, захлестнул петлей на шее...

«Мир такой огромный, да что толку, если негде без ножа на нем честно жить. А идти к большевикам и держать его за пазухой, как Цебрик, — нет, так не умею, не могу...»

— С ножом за пазухой... — произнес вслух, сразу вспомнив эту смерть, что может настигнуть в любую минуту и свести на нет всю хитрость, — старый Нарытник, широко раскрыв глаза, ринулся вниз, к любимому своему полю. Но второй конец ремня остановил его грубо, больно — на полдороге.

И успел еще в это жестокое мгновение подумать: все правильно, он ни в чем не ошибся; если уж был человек всю жизнь честным, так нужно остаться честным до конца и сказать батракам, чтобы насыпали утром для Довбняка те десять центнеров зерна... С этой мучительной, туманящейся мыслью попытался еще опереться на что-то ногами, и почудилось на миг, будто нашел-таки опору в родной своей земле...

Но тут сорвался ветер, застучали тяжелыми сапогами по лесной дороге его сыновья. И младший, Антошка, первым в шаткую опору: р-р-раз... А старший, Олекса, вторым, более сильным, умелым ударом — выбил ее из-под ног...

И жутко захохотали, заухали оба...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глубокой ночью покидали Луптаров курень. Те, что в подполье, скроются для безопасности в дальних, глухих чащобах, другие, которым приказано и дальше быть на людях невинными агнцами, должны незамеченными прокрасться по домам, залезть под теплые перины, передохнуть...

Вот, скажем, Вавр Цебрик. В девятом часу утра, с ясным взором обязан выйти на работу и предстать пред всевидящим сельским активом. А Семену Цизорику да и другим — успеть приготовить по десять назначенных центнеров зерна...

Еще нужно бы пробраться в село Гнату Думпалю и Марине Пуновой. Но предосторожности не для него: проскользнет всюду, как в шапке-невидимке. А Марина вроде бы задержится в лесу...

Цебрик, получив от окружной референтуры задание — продолжать задерживать организацию колхоза, после железного рукопожатия надрайонового, выбрался из куреня как чумной. Решил согласно приказу экзекутивы пробираться обратно в одиночку.

У опушки, когда вот-вот нужно сказать дозорным пароль, Вавра неожиданно нагнала Марина. Стремительная, легкая, колючая... Так вместе и вышли из леса, молча отшагав часть пути. Заговорила вдруг, словно продолжая давнюю беседу:

— Сегодня наш Вавр будто семнадцатилетняя девка... И полчаса назад потеряла она, бедняжечка, то, что святой отец называет невинностью души... Ха-ха-ха!

— А какой ты была, когда теряла? — хотел отделаться шуткой, но эта ночь не сулила людям мирных забав, и Марина зло рассмеялась.

— Такой, как ты. Тоже стало мутить. И подумала с перепугу: вроде родить придется. Сдуру побежала каяться к родной матушке... Теперь вот гляжу на тебя: и поопытней и постарше, а душа тоже в пятках. А ну как

вырастет вдруг живот прямо на большевистских глазах?! Перед кем каяться будешь? Довбеняк-то, говорят, не родная тебе мать — мачеха... Как еще на грех посмотрит?

Цебрик смертельно боялся того, о чем так издевательски говорила Пупова. Особенно с той минуты, как узнал его старый Нарытник и был, на удивленье, выпущен без присяги живым на свободу. Ох, пляшет, пляшет девка с огнем возле пороховой бочки... И он, словно наткнувшись на препятствие, остановился, вытянув руки вперед: то ли пытаясь схватить гибкий стан женщины, то ли оттолкнуть от себя.

— Дурачок! Не бойся ты этой мачехи. Хочешь, навеки пообещаю материнскую верность?! Мамой стану...

Он был лет на пять старше, и эта сумасшедшая игра молодой бабы в самое святое ошарашила даже его. Растерявшись, промычал что-то невразумительное, слащавое, пообещал какие-то деньги...

Но Марина оттолкнула его, отбежала, засмеялась, дразня:

— Ну-ну, хватит. Не любовницей предлагала — другое... Не хочу тебя, Вавр. Потому — страшон... Не силой. Тем, что мачехой тебе и ОУН, и большевики... А родная-то мать где? Умерла?

Цебрик словно поперхнулся. Выдавил с трудом:

— И как тебя, змею, до сих пор не пришил сам надрайоновый?!

— Ха-ха-ха! Не говорю о таком, и все. Для него — казак. А вот для тебя, может, и мама... Оттого, что знаю: тем же челном хочешь выплыть в море-океан, тем же, что и я...

— Каким челном? О чем говоришь?

— О деньгах. О золоте. Кто будет платить — и тебе и мне безразлично. Все у нас одинаковое, только работа разная...

— Что говоришь-то?

— Что слышишь. Добавлю только: теперь распоряжения провода буду передавать тебе я. А вообще-то ко мно-

им подсылали... Но была у них в душе мать, и я не боялась... С тобой страшно. И прошу, если выследят, если попадешься: не выдавай... Все равно большевики не заплатят: они деньги презирают. Не выдавай, Вавр! Знай: доведется выбраться отсюда — никогда не забуду... Идем, идем со мной, бери скорее задаток...

И они оказались в лесной сторожке...

...Цебрик чувствовал себя измочаленным. Мучила жажда. Вспомнил невольно, как этой почью падрайоновый, постанывая, дул воду прямо из бадьи...

«Может, и его называла сыном, а потом просила не выдавать? И слюнявого Думналя? С нее станется...»

Но утро торопило: кто-нибудь из Скоморохов мог проехать или пройти. Осторожно осмотревшись, зашагал по старой дороге. И вдруг увидел неожиданно свежий след от колес, в котором поблескивала талая вода. Видно, еще кто-то избегал людей и крался здесь почью с возом. Цебрик пагнулся, набрал в ладони студеную воду. Но жажды не утолил.

Там, где дорога поворачивала на запад, в ложбинке, белел маленький нерастаявший сугроб. Дойдя, Вавр упал на колени и начал глотать горьковатый, почерневший снег. Почудилось — видит зримо, как падают зернистые крупинки в раскаленное нутро: вот-вот зашипит...

И отчего-то возникло перед ним совсем другое видение: лица тех, с кем связался, чтобы отстропть на крови самостийную...

«Двойная игра!

Ох, кабы двойная... А то... Ведь никто из них тоже не признает родной матери.. Каждый только играет роль, пока есть возможность или надежда пожить в свое удовольствие... Кончится это, и кинутся к другой «мачехе»: немецкой, японской да хоть и к дьявольской... Зато какие речи держим про неньку-Украину, про свой народ!

Молодец, Вавр! Так и нужно! Все понял раньше других. И потому — совсем неплохо прожил. Счастье в том, чтобы пораньше нащупать правильную тропку... Гляди,

даже у одноглазого Думпаля свои радости, а, скажем, Юрко Мельник, красавчик, от наших пуль будет до смерти по госпиталям валяться... Зачем лез? На мое место зарился? А вдруг доберется? Скверная тогда у меня игра... А должен играть хорошо: недаром родился в Скоморохах, где в старину зарабатывали фиглярством на хлеб. Перевелись сейчас настоящие лицедеи... Ерунда осталась: одни Байды, Руспны, Пригоды, засморканные Журакп, честнейшие, конечно, людишки, да при всех властях — несчастные. И нищие, нищие, нищие! Пусть лучше она провалится, такая жизнь! Сдох бы на их месте!

Ой, Вавр, не сглазь! Не маши волка из леса, а то и вправду прибежит... Тьфу! Тьфу! Тьфу! Сгинь, нечистая сила...»

Но отчего, отчего почувствовал вдруг всей шкурой: издалека, осторожно, но уверенно забрасывают на него аркан. И те и другие... И «служба беспеки», и энкаведе...

Ведь никогда до этой лихой ночи не показывал его надрайоновый посторонним. До сих пор мало кто даже из самых доверенных знал: Вавр Цебрик тоже участвует в этом страшном представлении.

И вот теперь выдали со всеми потрохами...

А он, дурак, так радовался вчера после сборов, что, собираясь на экзекутиву, принарядился, даже голову одеколоном сбрызнул. Померещилось, видите ли: приглашают, чтобы вознести, как Беркута, или, может, чур меня, чур, — перебросить в Краков, в верховный провод... А там немцы, железное воинство...

Но мечты увяли, не родившись. Вместо Кракова — обольшевиченные Скоморохи, самое пекло... И заданьице дали: затормозить колхоз или хотя бы посадить нужного председателя. Смешно! Где возьмешь такой тормоз, чтобы остановить целое село?!

«Вам хорошо: сидите по лесам, жратву имеете, гроши, чтоб с Мариной спать, тоже найдете. Пугать и мордовать до смерти — мастера! Отчего же сами не двинете этот «тормоз» — посылаете Вавра?! Конечно, он артист,

все может, все умеет... Вот только пробраться в верховный провод не сумел...

Да, как ни кинь, а придержать колхоз потруднее, чем усесться с бутылками вина и шлюхами в краевой экзекутиве и разрабатывать «планы восстания»... Будьте любезны, «затормозите» сами скомороховский люд, а «план» я вам выработаю не хуже, чем сам Бандера с Беркутом!

Страшные часы настают...

Зачем сегодня выставили напоказ?! Еще и посадили впереди. Для чего намекали на прошлые заслуги и болтали о будущих?! Господи! Как же сразу не догадался?! Они смеялись надо мной, как над старым Нарытником...»

И, додумавшись до такой мысли, Цебрик черной завистью позавидовал Марине. Имеет баба в ОУН самую легкую, самую прибыльную работу... Сколько же заработает!

«Господь всемогущий, превратил бы барана в овечку... Был бы Вавр Цебрик шлюхой не хуже...»

Но господь, создавший всего поровну, молчал. Молчало и небо. Только нес теплый ветер с востока взъерошенные тучки далекой отгремевшей грозы. И Вавр, вернувшись к реальности, забубнил про себя:

— А к дьяволу политику: и самостийную, и большевистскую... Никакая не нравится. Мало дают, много требуют. И обе только обещают. Знаем мы вас! Идеи эти — выдумки для простачков, а для тех, кто похитрее, — средство добраться до жизненных благ. Вся высокая политика, как подумать, сводится к одному: хорошая баба, хорошее жалованье... Кукиш вам, товарищи, будут строить коммунизм Байда с Довбеняком, если не заплатите! Вон один уже дорвался до партийного кресла, а второй — губа не дура! — до такой женщины...

Но, поразмыслив, Цебрик, при всей ненависти к ним, вынужден был признать: Байда за эти два года новог костюма не справил, а Довбеняка, что ни говори, так и не застукали с Ольгой на горячем... Хоть и судачат в селе: извелась Ольга, себя не жалеет... Да-а-а, и таких

людей прибавилось в Скоморохах. Данило Журак! Вздрагивают чего-то при его имени Семка Боженька и Олекса Нарытник... Вавр злобно сощурился, глядя на встающее солнце. Подумал, что и ему от Данилы не приходится ждать добра... Когда-то учились в одном городе. Никто не знал, не ведал, что выйдет из Вавра такой человек. Данило в университет, Вавр — в торговое. Но город, где люди расчетливы и хитры, сам определил — чья голова умнее. Журак из-за голодранцев и девки на нож напоролся. А Цебрик днем брал деньги в тайной польской полиции, а ночью, в подходящей компании, стрелял в поляков. Утром продавал тех, кто участвовал с ним в ночных похождениях... В те годы он прошел отличную школу: мало кто так умел спровадить человека в кутузку... Это было рискованное дело, но казалось: пока есть тюрьмы, жив Вавр Цебрик! А страх глушили женщины, вино... Пока однажды не услыхал брошенное в лицо: провокатор!

Прощай, город! Уехал подальше. Рухнула панская Польша, не стало тайной полиции. Дорога назад заказана, польские коммунисты чуть не напали на след: многие вырвались из Березы... И село показалось надежным убежищем — здесь не найдут, не догадаются. Данило? Мог он, мог слышать о тех историях — во все совал нос... А теперь при встрече морщился, словно от головы чем-то попахивало... И распоряжения игнорировал.

— Двойная игра! Ох, тяжкое время...

Чего же хотел, чего же хочет от судьбы он, Вавр Цебрик? Жить, как немногие... И еще — чуток славы. Такой, чтобы боялись его люди до дрожи... А оно не всегда выходит... Жениться и то пришлось по указке «службы беспеки». Для анкеты. С этой точки зрения, жена — сущее золото... Словно предвидел ее отец, что для будущего зятя нужно отдать богу душу в жандармских застенках...

Все последние годы мостил Цебрик себе дорогу к обеспеченности, к богатству, к доступным женщинам, которых можно почаще менять... Вспомнил Марину: вот кого

не обменял бы — скоро, скоро станет она богаче многих! И умная: делает ставку на деньги. Не на землю. А Вавру СБ обещает добрый кусок пашни. И батраков в придачу... Вот и думает тяжкую думу:

«Ох, что-то стали эти морги в последнее время склизкими... Все власти одной рукой дают, другой отбирают. Зажиточные газды в Скоморохах уже плачут с ними. А Гринчук, старая лиса, сам отдал: чует, горит под ногами. Тоже враг не из последних... Хотел, хотел поучить его уму-разуму — голодранцы не дали. Теперь не ты Гринчука, значит, он тебя. Жизнь, она такая... Да, землица, землица... Обещает ее СБ. С приходом немцев. Народ-то культурный, ничего не скажешь! А где гарантия, что придут? Где гарантия, что, придя, — дадут? Вон в Польше, говорят, наделили... Немцев только. А полякам — по три аршина...

Что делать дальше? Выжидать, как советует Бандера? Ему хорошо. А тут каждый день — над пропастью... Страшная пришла весна. И всему виной — большевики. Ох, не хочу, не хочу идти в сельсовет: каждую минуту жди — сцапают...

Куда же податься? В Краков, к верховному проводу? Как Беркут? Смеешься! Беркут — фигура, а я с деда-прадеда мужик, недоучка, холоп, быдло... Что умею? Только орать, запугивать, продавать...

Выходит, дорога одна. Прежняя. Зубами-когтями держаться за свое кресло... Только районное начальство нужно в чем-то уверить, убедить... Может, выдать провод? Не так это просто, да и поинтересуются: откуда знаешь? Значит, прав все-таки Бандера: только выжидать...

Раскинем мозгами: хорошо, что пропала Ольга. Хорошо, что держу в руках Данилу Журака... Теперь пусть попробует интеллигентик согласиться, когда станут выдвигать председателем... Вот тут-то и можно будет придержаться — и продержусь в руководящем кресле, а там и немцы... И заслуги мои признают...».

Цебрик заерзал на месте. И понял, что пока предавался этим тяжким думам — островок снега под ним растаял и потек. Зад Вавра был в мокрой грязи. Вскочил, решив плюнуть на все предостережения экзекутивы: не впервой придумывать правдоподобные истории...

...У сельсовета — гам. Полно людей. Пригода в центре размахивает руками. На пороге чем-то встревоженный Довбеняк. Может, наплевали богачи на вчерашний приказ, не дали зерна? В толпе увидали Цебрика, кто-то хихикнул, но тут же замолчал. Все были серьезны.

«Ох, не иначе, потащут меня сейчас зерно трясти...»

Довбеняк шагнул через две ступеньки навстречу голове:

— Наконец-то, Вавр Панькович! Домой уже посылали, но пришла жена. Вы слыхали, что Луць Нарытник...— и, запнувшись, не договорил.

Цебрик никогда не видел его таким, но, хотя упоминание о Нарытнике словно ударило наотмашь, решил держаться из последних сил.

— Вы ничего не знаете про Нарытника?

— Ничего... — Вавр побледнел.

— Хорошо, что не столкнулись с ним этой ночью... а то... говорят будто...

Цебрик, словно оглохнув, согнулся, держась за живот. Шагнул навстречу жене, что вышла из сельсовета.

— Ты, Вавр?! Не знали — куда делся, тревожились, искали... Где так перепачкался? Видать, и не слыхал даже, что Нарытник повесился?

В лицо ударила кровь. Смахнул выступивший пот, обнял заплаканную жену.

— Было и прошло! За одной сволочью гнался... Ладно уж, иди домой, — и поднялся на ступени: — Товарищ Довбеняк, пошли в помещение.

Будто поджидая кого-то, долго сидели в сельсовете. Пилип отчего-то неотрывно смотрел на телефон. И молчал. Цебрик, придя в себя, поднялся, начал повествовать:

— Гады... Следил за одним. Сегодня же уведомлю

органы. Немного нужно, чтобы село потеряло голову! Ну и времена! Обидно с таким элементом на тот свет отправиться... Аминь и кулаку: туда и дорога... От сдачи зерна спасался... Подсчитал, видать, что центнеры дороже собственной шкуры... Со всеми так будет: перевешаются! И мы поможем... Раскулачим и мертвого, мать его так...

Но Довбенюк почти не слушал: задумался о чем-то своем, трудном. Воинственные речи Цебрика не отвлекли его. Только протянув руку к телефону, перед тем, как покрутить ручку, сказал не оборачиваясь:

— Почему не говорили этого Нарытнику вчера, когда он был жив. Уверен, не наложил бы на себя рук... Наверняка. А что касается ваших оскорбительных слов, так мертвые сраму не имут... Перед ними только снимают шапку...

На колокольне ударил колокол — хоть и не принято звонить по самоубийцам, ибо хоронят их без отпевания, без священника, за кладбищенской оградой...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Все помнит Ольга. И то, что хотела бы забыть... Помнит: минуло после крещенья пятьсот дней, как пришла к ним Советская власть. Злобно сорвал тогда Семка листок календаря, сказал:

— Самое большее — еще сотня деньков, и начнут подыхать. Больше мы, боженька, не вытерпим...

А люди приметили: как пришли Советы, перестали в Скоморохах помирать... Кулаки шипели: не мрут попрошайки — панского хлеба наелись. Пригода в ответ смеялся — не хлебом единым...

Собралась умирать Ольга. Сил не хватало...

После того как взбунтовалась, ушла от опостылевшего мужа, потянуло попрощаться с тем местом, где давным-давно обняла последний раз желанного... И вдруг в тихом рассветном тумане увидала привязанного копя и чуть не

упала — кто-то до боли похожий на Данилу нес по дну старого окопа березовый крест. Вскрикнула: это был не он... Темнолицый... немолодой...

Бросилась бежать...

А ночью та же непонятная сила привела на прежнее место. Вздымались на полянке к небу языки пламени...

Представляла ли возвращение любимого, встречу с ним? В здравом уме не могла. В здравом уме знала — погиб навсегда. Иначе разлетелось бы, не выдержало сердце, когда взял Семен то, что должно было принадлежать другому. Но и тогда вопреки всему видела в снах и наяву, как вернется, как поглядит на нее... Убежит она из ненавистного Цизорикова дома, упадет на грудь Данилы, скажет слова, что сберегла. Подхватит на руки легкую, покорную и молча унесет в новый, сверкающий мир. И только там скажет ей все...

Третью ночь в опустевшей сторожке лесника, где нашла приют, присматривалась Ольга к Даниле. Но он молчал! Молчал все ночи, днем уходил в село, к родителям... Не выдержала бы, но эту боль заглушала другая, физическая, да все больше охватывал неведомый раньше страх — потерять дорогого человека. И теперь навсегда.

Казалось, сбылось все. Взял на могучие руки, унес. В новый, совсем другой мир. И вот — оборвалось... Не оттого, что дырявая крыша сторожки не походила на светлый дворец, достойный их любви. Не оттого. Готова и на худшее... А потому, что не сказал здесь ни злых, ни добрых слов, которых ждала годами. И, стараясь не встретиться взглядом с незнакомыми, печальными глазами, тянулась Ольга к родным губам, рукам, сердцу...

«Подойди ближе, милый... Как скажу вслух?! Обними или ударь... но заговори... И будет как бывало... тогда...»

И вдруг отчетливо представила ту ночь, ночь беды. Раньше, вспоминая, видела в ней только себя и его — никого больше... А нынче, после стольких лет страдания, впервые ушла со сцены, чтобы заглянуть в щель окружившего их тогда черного забора. Глянула — обмерла...

Следа не осталось от сегодняшних мыслей и вспыхнувших желаний. За черной гранью увидела того, кто подстерегал Данилу...

У него было лицо. Лицо Семена. И годами подкрадывалась с ним костлявая к любимому... Теперь Ольга не могла ошибиться: стали понятны многие намеки, усмешки, даже жесты Цизорика. Рассказать поскорее... Но увидела глаза Данилы, и слова замерли.

«Хорошо, что промолчала. Что знает, то знает... Верил бы в предательство — не был бы рядом, не прикладывал бы к обожженным ногам отвар из трав. Не напоминай! Одно говори: любила, не выдавала... Но ведь потом выбрала же не его мать, а пса Семена. Беспощадного, льстивого, злобного... Нет, Ольга, не зови счастье. Пусть будет как судилось... Как стелила...:»

Вот и в эту ночь принес молоко, свежий отвар. Теплый, недавно из печи, ржаной хлеб. Положил на подоконник.

— Ешь, набирайся сил... — И все. Что в селе, что делал днем? Молчит, будто таится...

«Не прежний Данило приходит... Чужой человек, что случайно столкнулся с бедой. И видит ее только в одном — в ожоге. Пройдет боль... Скажет — прощай...»

И чтобы отдалить эту минуту — тайком срывала с ног целительные примочки.

И в следующую ночь — также ни слова... А как ждала! Перед рассветом, изнемогая от слабости, попросила не покидать и днем... Промолчал, а когда взошло солнце, сказал:

— А мать? Ей и ночи век укорачивают... — ничего не добавив, ушел.

И наступила наконец такая ночь, какой в жизни Ольги еще не было. Все позднее и позднее, а Данилы нет... Подумала в страхе: может, совсем не вернется? А потом заухали филины в лесу, проскакали неподалеку, по Островскому шляху, копи, и почудилось, что проник через разбитое окошко какой-то пугающий запах... Ужас-

пувшись, свернулась клубочком, как делала в детстве, прячась от грозы... А когда просыпалась — сиял вокруг ясный, добрый день...

Теперь не могла заснуть. Встала, сделала шаг, другой — больше не смогла. Запах возвращал в ту далекую, пасхальную ночь. Застыла на месте, вспоминая... И узнала, вспомнила: так смертно пахнет сталь, с которой только что вытерли свежую кровь!

«Господи! Снова Данилку! Как тогда...»

Заторопилась. Через порог, за дверь, по тропинке... В ногах такая боль, что не в силах и плакать. Успеть бы, предупредить бы.

И встретила его на опушке. Только здесь хлынули слезы, но о своих тревогах не заикнулась... Он и не допытывался: чего пустилась в путь, как смогла преодолеть расстояние обожженными ногами? И все-таки дрогнуло в нем что-то давнее, непозабытое, мягкое... Ласково сказал:

— Болит, Олюська? Вижу. Потерпи. Давай вернемся лучше в наш замок. Какой-то ведьмовский шабаш вокруг. По ту сторону леса филины кричат как оглашенные... Вернулся в родные края — казалось: и воздух стал целебным... Но снова ощущаю тяжкий дух тления... Не пугайся. Знали мы и такое...

Вошли в сторожку И тут же пожалела об этом: опять замкнулся, замолчал. Только заставил поесть, перебинтовал ей ноги намоченной в настое тряпицей. И ни слова нежного, ни звука о том, где был, кого видел... Что происходит с Ольгой — тоже не заметил, а когда-то угадывал каждое движение души... Спазм сжал горло, показалось — не сможет говорить. Попросила испуганно:

— Ну скажи что-нибудь... скажи!

— О чем? О прошлом — все сказано. О будущем? С ним может выйти по-разному... Как с нашими клятвами... Не бледней, Олюська, не надо... Был я в районе — документов пока не дают. А человек без бумажки... Это трудно понять — нужно пережить. Но ведь и ты сейчас...

Подумай, крепко подумай... Может, вернешься в Скоморохи, на старое, согретое место?

Прикусила пальцы, чтобы не закричать. Не понимает, как ей плохо...

«Господи, чуть-чуть затеплилась искорка и вот погасла... Так и не скажет о любви... Он...» Голова кружилась от слабости, и Ольга, не в силах жить дальше, протянула в темноте руки к Даниле:

— Не сердись, милый... ответила бы... Только не нужно о...: — и оборвала.

Ожидал молча конца фразы. Но пауза затянулась. И тогда заговорил сам:

— Поклялся когда-то тебе в любви. Но была и другая присяга... Не одному человеку — великому и несчастному народу. Не возвращаться в родные края без победы... А жестокая судьба снова гнала по черным дорогам... И через все я здесь. Выходит, любил тебя больше, чем тот народ?! Ложь! Я вернулся оттого, что с ним поступили как с тобой. Не нужно бледнеть. Да, будет тяжко. И предлагаю: вот как есть — иди ко мне на руки. Отнесу в нашу хату. Сегодня же. Так будет честно перед всеми. И перед селом, и перед стариками, и перед... Семеном.

Ольга словно застыла: ни слов, ни желаний. Не ответила. И вглядывалась в черный провал далекой пасхальной ночи. В стене, за спиной, засверчал бессонный сверчок. И будто пробудил — под немудреную его песенку поняла: не Данило, она жестока, безжалостна. И, вздрогнув от этой мысли, сказала:

— У нас сверчок, у них филипы... Слышишь, кричат? Он убьет меня. И тебе не простят те, в ночи... Они страшные!

— И я для них. А страшнее всего для таких — Советская власть. Меня теперь невозможно убить. Тот, кто воскрес из мертвых... — И выпрямился, решительный, холодный.

Подумала, может, и вправду? Но чуяла, чуяла ледящее дуновение давнего, смертного провала...

— Будет так, как сказал, Олюська?

— Что?

— Унесу в нашу хату?

— Нет, Данило! Невозможно. Что скажут люди? И отец твой, и мама? Не из-за приданого... От законного мужа ведь... Подожди, сядь рядом. Жутко мне... Сердце недоброе чует... — И зарыдала, не в силах сдержаться. — Ох, бежим, бежим этой же ночью! — Слова ее, падая, обжигали душу Данилы. — Бежим на ту Украину, может, в Россию даже — там люди другие... Наши — улыбаются сладко, подойдешь — укусят. Лютые они, фальшивые.

— Снова дороги? С родной земли? А как же мать?

— Устроимся — заберем. Все равно хозяйство по ветру пошло.

Сев рядом, Данило долго молчал. Наконец ответил:

— Не могу.

— Почему?

— Кроме всего, документы мои в морях да в чужих сейфах. Других пока не дали. И еще: чувствую — нужен я Скоморохам. Столько по всему свету рассеяно у меня долгов, что, видно, начинать расплату нужно с родного села...

— Ой, Данилка! Чем же ты можешь отплатить врагам? — Поняла: не произошло, не случилось чуда, и слезы мешали говорить.

— Чистым золотом, — ответил не ей, а себе. — Работать, писать буду. Не только о врагах, конечно. О свободной, родной земле. Ох, как еще мало знаю ее! Потому и в колхоз записался. Куда же пойду теперь, Олюська?!

Вскочила, сраженная, схватила за руки, пытаясь высказать все: о его уме, об университете, о тяжком, неблагодарном труде хлебороба... Не успела. Данило продолжил:

— Люди, не те, о которых говоришь беспрерывно, — другие, настоящие, что прошли крестный путь через пан-

ские тюрьмы, обратились нынче ко мне. Пока только с просьбой: согласиться стать председателем...

— А Цебрик?

— Нет, другим головой колхозного правления.

— Зачем тебе?

— Сразу не объяснишь. И время дорого. В тех далеких краях всегда шел в атаку первым. И вел людей. Многие не вернулись... И потому, что пришел, не имею права отказываться... Для меня это не просьба — приказ. Цель моей жизни до конца дней — идти на врага. Разве не он отнял у нас годы юности, годы счастья?! Разве не на него собрались мы наступать вместе с добрым скомороховским людом?!

— Ой, не говори, не надо...

Руки Данилы стали чужими. И отчужденно сказал:

— Ладно. Но вот что еще: если не войдешь в хату Жураков моей женой, значит, и на родной земле потерплю поражение...

Опять кричит филин, совсем неподалеку от сторожки.

— Пойми и меня, Данило. Как пойти к вам после всего, что случилось со мной в селе?! Бежать бы, бежать...

— Не пойдешь? Слово твое, Олюська, знаю... Давай сделаем так: еще есть до рассвета время, схожу к Гринчукам за лошадью, отвезу в соседнее село. Родственники там...

— Не надо... Если не бежим...: Останусь здесь, пока не выздоровлю. Идти невесткой — только здоровой. И отсюда... Я решила. Иди. И пусть все будет хорошо.

Знал характер Ольги. Больше не настаивал — ушел один.

...Прошло не более получаса после его ухода, как она не слухом — сердцем почуяла: кто-то приближается к хатке. И не один.

Шаги становились все явственнее, словно стучали в виски. Среди ночных шорохов леса послышались тихие, таящиеся голоса. Почудилось — Цебрик...

«Ищут? Семен прислал? Нет. Что-то страшнее...»

Потрескивал под ногами сухой валежник. Те, у входа, остановились в перешительности. Так медлят перед тем, как переступить незнакомый порог.

«Никто не должен видеть. Ноги мои... Спрячусь. Добром не дамся...»

Схватила узелок в зубы, чтобы не закричать от боли и освободить руки, кинулась к окопцу, но выскочить уже не успела: под дверью — две тени. Одна тонкая, гибкая. Вторая — приземистая, широкая...

Вспомнила: в низком потолке — лаз. Из последних сил подтянулась, ухватилась за край, кошкой вскарабкалась на чердачок. Когда внизу заскрипели дверями, Ольга, забившись в дальний угол, беззвучно стонала...

Вошедшие угадали, видно, недавнее присутствие людей. Что-то сказали, о чем-то поспорили, потом женский голос заговорил странно, будто заворковал...

«Ох, кажется, еще одна драма, еще одна любовь...»

Это успокоило. Значит, не за ней, значит, не нужно бежать. Они побудут и уйдут, день обещает быть хорошим, лес оживает...

В Ольгином углу — небольшая щель. Глотая пыль и паутину, осторожно заглянула в нее. Увидела — внизу, в странных позах, остановились люди. И, словно утомленные дальней дорогой, упали на солому.

Опять почудился тот давний, страшный запах стали.

«Разве у любви такой запах? Она приводит в мир новую жизнь. Отчего же пахнет смертью?»

Узнала Цебрика. Потом Марину.

Пробежал по спине ледяной ветер. А в голове с сумасшедшей непоследовательностью замельтешили мысли: «Это приходил не Данило. Это призрак. И Цебрик с Мариной — видение. И слова ее, угрозы, просьбы не выдавать: все только чудится. Но отчего она пришла в бешенство? Отчего в руке у нее нож?..»

Ваврa — как вымело из хатки. Слышалось только сопенье, словно пробирался сквозь чащу дикий кабан.

Недобрая тишина в сторожке. Чует Ольга беду. И она не заставила ждать... Марина, держа нож в зубах, показалась в отверстии лаза. Втиснулась, перехватила нож левой рукой.

В эту минуту, полную ужаса, Ольга вспомнила вдруг, что Марина левша, и закрыла глаза.

«Вот и смерть моя... Не хочу... Не хочу...»

— Кто здесь?

— Я... Ольга...

— Леший тебя раздери! Выходит, только пырни ножом, и можно приглашать большевиков — пускай сами убедятся: ни подружка моя Башовская, ни Цебрик не водят их за нос... Вот оно, все, как говорилось: зарезал-таки Журак на почве безумной ревности свою грудастую птичку! Тебя здесь маляр спрятал? Может, подслушивать? Ха-ха-ха... Насмотрелась, наслушалась... Забыла — филины в лесу не глупее твоего Довбеняка? За версту упюхают... У меня не такой пюх и то, видишь, недаром на чердак влезла. Если прикончу, далеко пойду... Все равно должна была найти. Так как: Довбеняк прислал? Или Данило спрятал? Дурак он. Одна беда из-за бабы... Да и ты дура! От него того, что от Семки, — ни в жизнь не получишь... Уж я-то знаю!

На Ольгу накатывался тяжкий, темный вал, и в плеске его уже не различала слов. Набрала полную грудь воздуха и снова услыхала Маринину речь:

— Ну, ладно. Хватит! Знаешь, что? Сделаю по-божески... Но поклянись: видеть меня не видела... Смотри, ножмой, он... Кабы знать, кто на этом свете выиграет? И оттого все нужны мне живыми: Довбеняк, Байда, Цебрик, Данило, Семен, ты... И все должны помнить, что обязаны жизнью — мне... А сейчас — пойду к Семке. Скажу, где ты. Пускай заберет... А если и он дурак, может, сделает с тобой то, что было приказано мне...

— Марина!

Но ее уже не было на чердаке.

Только остался в воздухе запах стали, запах смерти.

Да, почти ней
свет божий...
Из села до
был до сих по
праздники...

С той поры
чий колокол,
Огромный, гул
зад Луцем На
щал село о ко
как-то газда: д
звонницу еще
назначенного —
Но звучал
венно, скорбно,
О смерти Н
его не только
именно в ночь,
перемен... Трев
тело несчастног
Журака из лесн
Вездесущая
лачивалась возл
дившему Данил
сельчанам:
— Ну и сосе
Люди вон сеют,
звонят по Луцю,
и Ольга... Награ
Колокол не у
Данило подо
вычными заботам
хозяйству, разго

Да, почти неживая Ольга, словно впервые глядящая на свет божий...

Из села донесся первый удар главного колокола, что бил до сих пор только на сполох и в светлые Христовы праздники...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

С той поры как вознесся над Скоморохами этот могучий колокол, так бить не приходилось ему никогда... Огромный, гулкий, был он пожертвован приходу годы назад Луцем Нарытником... И теперь, раньше срока, оповещал село о кончине щедрого дарителя. Все знали, обещал как-то газда: доживет до шести десятков — водрузит на звонницу еще один, побольше... И немного оставалось до назначенного — всего четыре года...

Но звучал сейчас благовест торжественно, проникновенно, скорбно, видать, был у колокола хороший звонарь.

О смерти Нарытника Данило уже знал. И огорчала его не только жестокая гибель человека, что пришлась именно в ночь, когда подул в Скоморохах ветер добрых перемен... Тревожило, что на дороге, по которой везли тело несчастного, видели люди на рассвете возвращение Журака из лесной сторожки...

Вездесущая Башовская с метлой в руках давно околачивалась возле клуба и, успев наплевать вслед проходившему Даниле, сообщала теперь расстроенным односельчанам:

— Ну и соседи у меня! Ни черта еще не знаете... Люди воп сеют, а они... лучше не говорить... Ох, звонят, звонят по Луцю. Не своей смертью помер... Не своей, как и Ольга... Наградил господь соседями...

Колокол не умолкал.

Данило подошел к окпу: село продолжало жить привычными заботами — несли товар из лавки, спешили по хозяйству, разговаривали, курили... У ветвистой вербы

увидел худенькую, ссутулившуюся фигурку — узнал в ней мать.

Не успел сообразить — куда так рано ходила?

Журачиха молча вошла и поискала глазами, на что бы присесть... Опустилась на краешек скамьи:

— Хорошо, хоть живой...

— Что вы, мама?

— Ты вчера записал нас в колхоз?

— Нет. Только себя.

— Со своей землей?

— С землей, — нарочно пропустил «своей».

— Думали, выделим тебе... Не продали всей. Еще когда с Ольгой был — три клина обещали. И сейчас они твои. А у нас теперь нету... Да разве нужно? Петлей на шее стала...

Данило слушал зажмурившись. Ни разу после возвращения не было так трудно представить себе прежнюю мать, ту, что видела счастье только в богатстве... Открыл широко глаза, но все стало другим.

— Сын, мать всегда все слышит последней... Болтают люди про тебя. Про Ольгу... что тоже, через день-два, найдут, как Луця. И ты...

В хату вошли отец с дедом, и разговор прервался, только по-прежнему было слышно, как оплакивал колокол ушедшего. Журачиха внезапно содрогнулась, будто услыхала впервые этот скорбный звон, и он придал решимости:

— Разве может поверить такому оговору родная мать? Но здесь скажу. Ольга... Ты... ты должен знать, где она... И сделать что-то. Потому — еще одна смерть упадет на нас. Подумай... — И, не выдержав, расплакалась: — Скажи, сын, для чего записался в колхоз?

— Чтобы они не прошли!

Слова Данилы, пришедшиеся между двумя ударами колокола, прозвучали резко, как выстрел. Старики выдохнули одновременно:

— Кто — они?

— Те, что убивали нас тут и... там.

На слове т а м Данило запнулся и, выпрямившись, указал рукой на запад.

До этого коротенького слова, за которым таились все муки пережитого, родным Данилы казалось, что выпала ему только одна ночь смерти: здесь, на родном поле... И сейчас всем стало так невыносимо тяжко, что, не сговариваясь, переглянулись полными слез глазами и вышли, оставив его в одиночестве.

«Видишь, как оно получилось... Уж лучше было рассказать о той голгофе, чем так ударить самых близких по сердцу...»

Не хотелось тишины. Хотелось, чтобы самый большой на свете колокол висел у родной хаты — и бил, бил не умолкая... На сполох, на тревогу, на бой... Но было тихо. И почувствовал — необходимы люди. Протянул руку за шапкой, но тут же подумал, что он, собственно, здесь не просто так, а оклеветанный и одинокий.. Значит, если этому не верят — должны идти к нему... Вспомнил, что три дня подряд в это время приходил Пригода, но запропал именно в самый тяжкий день...

Но Олекса — легок на помине. Шагал по двору Жураков браво, уверенно, будто в селе ничего и не произошло. И если бы насвистывал, как обычно, то выглядел бы как всегда. А без привычного занятия все-таки заметно: озабочен человек. Видно, его уже спрашивали об этом, потому что вместо приветствия сразу же пояснил:

— Такой нынче день, что и Цебрик не свищет... Прикатил откуда-то весь в грязи, потаскапный, посиневший... Ну точь-в-точь: повесил кто-то с вечера за ноги, а к третьим петухам сжалился, передумал, перерезал веревку... Вот он, болезный, и шлепнулся мордой в протали-ну... Говорят, геройствовал снова: в сорочке наизнанку сухим из воды вылез. Сам Довбеняк наблюдал...

Но Данило, не отвечая, мерил шагами хату. Пригода достал кисет и, набивая трубку, спросил:

— Тебе не интересно?

— Интересно, вуйко. Да день такой... Вот и вы, например, сегодня: ни свет ни заря, неведомо чего, за левый карман держитесь... Еще раним утречком из окна видел, когда шли в село.

— Ага? Там заявление.

— Подписанное?

Пригода не ответил. Переменил тему:

— А к тебе можно будет приходить, когда головой станешь?

— Кто вам сказал?

— Сказали. А уши хорошие.

— Известное дело, вуйко. Сможете приходить. Но времени на общие собеседования будет поменьше... Работа...

— А разве голове пахать-сеять положено?

— Предполагаю, что это и будет главным. Рано еще мне над людьми становиться...

— Цебрик стал?

— Это другое...

— Ладно. Времени в обрез, потому скажу сразу. От всех прошлых властей аккурат раз в три года перепадало мне крепко. Сам знаешь... А тут, тебя еще не было, дернула нелегкая, задел Нарытника в читальне за живое... У скомороховцев память чертовская — все берут на заметку... А ночью, надо же, повис Луць, хотя бы ремень под ним лопнул... Башовская уши всем прожужжала, как оно было, будто лично там присутствовала... Что, говоришь, из этого? А то, что как раз три года минуло... Не пройдет мне даром смерть Нарытника, скажут некоторые: все смеется Пригода, так пусть хоть раз в три года поплачет... Тяжкое наше село, Данило, тяжкое...

— Сам вижу, вуйко. И по вас сужу тоже — не поддались вчера на агитацию Довбепяка...

— Ну, не поддался. Так у меня ж политика! Нужно идти. Звонили из райопа: выехала в Скоморохи милиция и какая-то еще спиртиза — не знаю, что оно такое? Но людям сказал: здорово это, песни петь будем... Узнать

бы только — чем ее закусывают? А то и с копыт недолго...

Данило невольно улыбнулся. Пригода, заметив перемену, сразу заговорил о том, ради чего пришел:

— Говорят, доискиваться будут не только насчет покойного... А и про Ольгу... Будто Семка властям жаловался. Похоже, правда. А только что Марину Пунову видел. К Боженьке на звонницу полезла — тут он и колокол бросил, помчался куда-то, как полоумный... И до этого, утром, только солнце поднялось, столкнулись: спешила, догнала — видно, обозналась, меховушка на мне была... Чертыхнулась и подалась в село. А сейчас, смотри, уже на колокольне... А если, не дай бог, знает, где Ольга?

На подворье Журавков вошли комитетчики. Окликнули Данилу.

— А где ваши мешки на кулацкое зерно? — пошутил Пригода, но, всегда приветливый, Сыроветник ответил недовольно:

— Разве мы нищие? Это они с мешками ходили...

Олекса помрачнел, но оставить компанию не подумал...

Только подошли к толпе у сельсовета, как следом подъехали две брички, запряженные гнедыми конями. На первой четыре милиционера и пятый, совсем молоденький, в штатском. На второй — двое солидных мужчин, тоже в гражданском. Судебно-медицинская экспертиза прибыла для выяснения причин смерти Нарытника.

— Вот она, люди добрые, спиртиза... О которой уведомлял. — И, перейдя на шепот, спросил Довбеняка: — Так это те, из района?

Пригода рассматривал молоденького приезжего, что спешил к сельсовету, похожий на птенца, которого неверные крылышки заносят куда надо и не надо... Потом, оглянувшись на заднюю бричку, Олекса сказал, обращаясь ко всем:

— Маловато что-то вижу спиртизы... Если она в том пустячном чемоданчике, что тащит за ухо уважаемый

гость, так выходит, прошу прощения, даром приволок я сюда аж с Марковой криницы два ведра чистой, как слеза, ключевой воды.

Милиционеры, чтобы не задеть кого своими винтовками, стали поодаль и вслушивались в речь оратора. Толпа вокруг росла. Приезжие были уже в середине круга. Тут же находился и нынешний претендент на председательское место — Ньокало, нацепивший для солидности квадратные очки.

— А зачем же вы, вуйко, аж на Маркову криницу ходили по воду? — Кто-то из молодых подзадоривал Пригоду, ожидая продолжения речи.

— Так она ж единственная, которую можно добавлять к спиртизе... Мне неразбавленную доктора употреблять, боже спаси, запретили...

Приезжие хохотали, а скомороховцы, привыкшие и не к таким Пригодиным побасенкам, посмеивались для вида, чтобы люди из района, часом, не подумали про их село чего не следует. Милиционеры уже подозвали к толпе «спиртизу» со второй брички, а Олекса заводил новую историю, начав с того, что не знает, как кому угодить: мол, один хочет попа, другой — попадью, а третий, надо же, попову батрачку...

Довбеняк с Данилой, недослушав, чем будет дальше веселить приезжих Пригода, отправились в сельсовет. Там, в самом большом помещении, за столом, лицом к собравшимся, сидели: осунувшийся Михайло Байда, непрезентный Вавр Цебрик и разложивший под носом кучу бумаг да счеты Ньокало.

Сразу бросилось в глаза: здесь были многие, что не подписали вчера заявлений, — Байда разрешил присутствовать на первых колхозных собраниях. Если люди интересуются новой жизнью, значит, не сегодня-завтра захочет кто-то из них быть тут не только наблюдателем...

Милиция и судебные медики отправились дальше по делам — наверное, осматривать погибшего. Оставшийся милиционер уселся на первой скамье рядом с дедом Ру-

сином. Вторую
ними размести
Федь Яресков с
панские ездовы
шая семья. При
ла как межа, от
За ними — спло
беняку добрые
плечи.

Еще привле
щины: благочес
ление тихая Ба
ляющая во все

Байда, несме
президиум Довб

Люди притих

Вопросов был
рой — посевная.

С правлением
Вошли в него:
реслава Король,
нило Журак (ту
сам Цебрик бурк
Федь Яресков.

С кандидатур
покруче.

Довбеняк, пре
окна настежь.

Выдвинули: Ц

Никто на ска
высказывал удов
умел Ньокало нос
козом у него ник
нало. Учился вда
Вернулся. Ученый
земли еще многое

Поднялся Цеб

сипом. Вторую и третью, как всегда, занял комсомол, за ними разместились Гриць Коваль, Дмитро Сыроветник, Федь Яресков с сыном, еще дальше — бывшие батраки и панские ездовые, дружные, сплоченные, как одна большая семья. Пригода сел отдельно. На ту скамью, что была как межа, отделяющая колхозников от наблюдающих. За ними — сплошь занятые места, и виднелись там Довбеняку добрые человеческие глаза да крепкие трудовые плечи.

Еще привлекали внимание две сидящие впереди женщины: благочестиво сложившая руки на груди, на удивление тихая Башовская и рядом — Марина Пунова, стреляющая во все стороны злыми зелеными глазами...

Байда, несмотря на протесты Цебрика, пригласил в президиум Довбеняка, Данилу и Зореславу.

Люди притихли, собрание началось.

Вопросов было два: первый — выборы правления, второй — посевная.

С правлением обошлось без лишней траты времени. Вошли в него: Дмитро Сыроветник, Матвей Русин, Зореслава Король, Катерина Гринчук, Степан Ньокало, Данило Журак (тут Башовская подскочила со скамьи, но сам Цебрик буркнул: успеешь!) да от бывших батраков — Федь Яресков.

С кандидатурой головы колхоза дело оборачивалось покруче.

Довбеняк, предчувствуя крепкую перепалку, открыл окна настежь.

Выдвинули: Цебрик — Ньокало, Русин — Журака.

Никто на скамьях не оспаривал кандидатур, но и не высказывал удовлетворения... Первого знали давно — умел Ньокало носить очки да писать бумажки, по с колхозом у него никак не получалось. Второго знали очень мало. Учился вдалеке, полюбил девушку, исчез страшно... Вернулся. Ученый, видать, насмотрелся всего, но для земли еще многое другое требуется...

Поднялся Цебрик.

— Хотя временно я и не колхозник, пока решается одно лично-персональное дело, но как высшая на селе власть — призван законом контролировать колхоз. Считаю: нужно поставить на голосование достойного кандидата. Говорю, даже, если на то пошло, право имею предказывать: только Ньокало. Почему? Потому что выдвинул его я. А не какой-то там австрийский вояка Русин... Мой кандидат с революционным прошлым: не побоялся нанести белопольскому пану удар с тыла. Все вы об этом наслышаны, а кое-кто, может, и видел...

— Правда, Вавр, правда, лучше тебя видели! Чудеса, да и только: Ньокало поляков палил, а били чего-то Пригоду... — выкрикнул с места Федь Яресков.

Цебрик насупился, скользнул взглядом по Марине, стал пить воду. Напившись, сделал вид, что слов Федя не услыхал, и продолжил речь:

— И теперь вот он, перед вами. С таким головой не стыдно и на люди показаться. Сколько им одних бумаг написано! И все цифры, не какие-то пустые побасенки, как тут навострились некоторые... Ничего, возьмемся и за них! Решительно! А сейчас — от имени народа выдвигаю дельного кандидата... Чего усмехаетесь?! Ладно, скажу и о втором. Всякое теперь к завоеванному нами счастью примазывается... На готовое зарятся. Враги кругом. Мы проверку начали: просеем через решето...

— Давай через сито, а то через решето и сам можешь пролететь, — снова голос Яреskова.

Встал одиноко сидящий Пригода. Цебрик, оторвавшись от ковша с водой, заверещал:

— Сами себя выдаете — сообщники! Вижу... Вам с вашим кандидатом... к ипому готовиться... Запрещаю Пригоде выступать! Слышите? Колхозником собираетесь стать? Еще подумаем — принимать ли...

— Так вроде и вы не колхозник, а какую речь держите! — усмехнулся Олекса. — И еще твердо знаю, не откажется от слова соседушка наша, Башовская...

— Я — голова! Нечего равнять... А Башовская —

на государственной службе, при клубе состоит. Ей в колхоз не обязательно... А вот твоя жена чем занимается? Портняжит? И налог не платит? Пора, пора раскулачить...

Байда постучал по столу. Сказал спокойно:

— Выступления становятся излишне острыми... Вообще так и ожидалось... Но мы не имеем права давать слова одним на целый час, а другим — затыкать рот после первого же... Благодаря нашей Зореславе все присутствующие изучили Конституцию почти наизусть... Свобода слова! Используйте ее, товарищи! Считаю, что Пригода может выступить. Так же, как и вы, Вавр Панькович...

Цебрик порывался что-то сказать.

— Прошу не перебивать. Мы собрались не для того, чтобы запугивать здесь людей и, таким образом, снова задержать организацию колхоза в Скоморохах, благодаря вашим, мягко говоря, левым, анархическим загибам... Мы собрались, чтобы избрать мудрое, преданное народу руководство и, не откладывая, бросить в колхозную ниву первые зерна. Техническая школа дает нам на десять дней два трактора, сеялку... И мы дружно выйдем на общую пашню.

Цебрик снова рвался препираться, но его остановил Довбеняк. И обратился к Пригоде:

— Знаю силу ваших слов. Но что поделаешь — вы не колхозник. Тут Вавр Панькович прав. Для чего говорить впустую... Уверен: вы и так без вуйка Русина, без драгоценной своей Зореславы, — в зале засмеялись — вспомнили казус в читальне, — не выдержите на белом свете и не сегодня-завтра явитесь в колхоз с тем заявлением, что храните в левом верхнем кармане у самого, значит, сердца...

— Кто сказал? Про заявление? — Со лба Пригоды стекал пот. Никогда раньше не видели в его глазах такого смятения...

— Разве не так, вуйко? — Довбеняк тоже был в испарине. И тоже не замечали прежде у него на лице такого, полного решимости выражения...

Притихший зал услышал шум половодья, что прорывает плотину. Хлынули слова:

— Так, люди... Но что мне теперь родная матушка скажет?! — Олекса медленно приблизился к столу и заявление, сложенное вчетверо, отдал отчего-то в руки Данилы. И поток, сметая преграды, рипулся обвалом: — Подписал-то еще вчера ночью да хотел сутки-двое выждать... Думал: трудно будет в артели без Луця Нарытника. А он вот взял и преставился... Может, и мы виноваты? Издавна виноваты, с той поры, как стал человек на наших глазах подгребать да подгребать под себя землицу. Был он разумный, работящий, а груз на себя взял непосильный... И еще думаю: как без соседки моей, без Гани Башовской?! Не выдержу без нее в колхозе, это уж точно... Сами увидите. Если не придет к нам Ганя — выйду обратно, и каюк. Приглашайте ее, люди добрые, а как примете, клянусь вам, что за пару лет мы с колхозной нашей межой у самого Тернополя очутимся... И не мы — все окрестные колхозы виноватыми станут...

Башовская, подхватившись в ярости, застрочила как из пулемета:

— Пан-товарищ милиция! Люди! Послушайте! Точнехонько так он вчера Нарытника хвалил... И пропал человек. А этой ночью — я? Меня уже отправляет, изверг искариотский... Эге, какие сейчас тихенькие те, что утречком прибежали по дороге, где Луця сняли... Сами его на дубу вздернули, а теперь слезы вытирают... Ох, фальшивые... Собственными глазами видела, как крался башкатый этот к селу, весь как есть перепуганный, а вскоре сти и другой, черная его морда! Хорошие времена настали! За что Ольгу-то замордовали?! Ох и люди! А еще в колхоз прут, над нами стать хотят... А выперло бы одного и другого за кладбищенский ров вместо Нарытника, как уже было, чтоб их и доныне не нашли...

В зал словно влетела прямым попаданием бомба. Еще никто не успел опомниться, как вскочил Цебрик и начал косить скамьи беглым огнем:

— Прекратить хиханьки! Молчать! Слушать, что скажу! Если уж сами свидетели начали дело, так и я добавлю. Буду выяснять... Что, значит, к чему... Есть неопровержимые данные: наш почтенный кандидат в председатели Данило Журак угробил в Островском лесу Ольгу Цизорикову. Вот так и дело Луця Нарытника каждую минуту может принять неожиданный оборот...

Пригода продолжал стоять у стола, глядя, как мелко дрожит в руках Данилы подписанное заявление — первый шаг в неведомую жизнь...

Под окнами застучали кованые колеса бричек, зафыркали уставшие лошади. Тут же в зал вошел молоденький следователь и пошептался с Цебриком.

Все заметили — у приехавшего скверное настроение. Может, ожидал от поездки чего-то значительного, а пришлось удовлетвориться другим... Но вежливо сказал:

— Прошу прощения у собрания. Довожу до сведения: Ольга Цизорик в лесной сторожке не обнаружена.

— С этим недоразумением можно бы и подождать до конца собрания, — раздраженно отозвался Довбеняк.

Молодой следователь, смутившись, обратился к Даниле:

— Надеюсь, вскоре все выяснится. Мы...

— Как же, держи карман шире... Так на ручках и принесет Семке живую Ольгу... — выстрелила Башовская и обвела присутствующих победным взором.

Поднялся побагровевший Байда. Сказал огорченно:

— Что ж, товарищи... В таком случае считаем необходимым отвести кандидатуру Данилы Журака. До выяснения обстоятельств с Ольгой... Объявляется перерыв.

После перерыва Зореслава Король объявила:

— Товарищи! Продолжаем собрание. И призываем кое-кого к порядку, — девушка недвусмысленно посмотрела в сторону Башовской и Марины.

Цебрик и Ньокало переглянулись. Незадачливый кандидат потряс счетами:

— Совершенно справедливо призывает тут комсомол к порядку. И касается это прежде всего вуйка Пригоду... Не по возрасту человеку пос во все совать. В таких летах в колхоз детей да внуков посылают... Как вот... хе-хе... Стась Гринчук...

Зореслава даже кулаком по столу пристукнула:

— Вы, товарищ Ньокало, слова не получали. Садитесь. А вуйка Пригоду попросим... Начинайте...

— Правильно, Зоря: нужно начинать... — решительно выпрямился Олекса. — Уважаемое общество! Выходит, остались мы с одним кукуреком на нашу голову, с паном Ньокалом...

Цебрик пытался кричать об уничтожении панов как класса, но Олексу не так-то просто было остановить, перекричать...

— Вот, значит, и остались с одним кукуреком... Оно, конечно, и петух кукурекает, да яиц не несет... Я начинаю... Уже... Целехонький год создает Ньокало в Скоморохах новую жизнь... А какой колхоз он вам сотворит, люди, если за пятнадцать лет собственной жене ничего не сотворил...

Цебрик чуть не опрокинул ведро с водой, а зал хлопал Пригоде, зал хохотал во всю глотку. Байда и Довбенняк, стоя, смотрели на людей, что били широкими, темными, как сама святая земля, ладонями.

Столпились у стола бывшие батраки, кучера, Русин размахивал грабовым костылем перед носом Ньокала, а Федь Яресков на всякий случай отстегивал ремень...

— И Пригоду пишите в правление!

— А в кандидаты просим нашего Сыровстника! Сумел, сукин сын, живым из Березы выбраться, великому делу не изменить, так выйдет живым и с великим нашим хлебом... Не изменит и земле...

— Головы на плечах имеем! Не дадим, чтобы к люль-

ке, где наш колхоз лежит, чьи-то паскудные руки тянулись... Прочь от колхоза!

Когда единогласно проголосовали за Сыроветника — перед Цебриком стояло опустевшее ведро...

— А что? Недаром я воды наносил из Марковой криницы... — Пригода показал на Савра.

Комсомольцы продолжали хлопать, предлагая Зореславу Король в заместители. И вместо Ньокала выбрали в правление Пригоду.

Когда колхозное правление направилось в техшколу, чтобы осмотреть машины, Олекса задержал на минуту Довбеняка и Байду, сказав:

— Вот и снова мы вместе. И до этого не расставались... Но слишком круто повернули свой воз Скоморохи. И надо было немного постоять в стороне, чтобы получше присмотреться: кто там сидит. А? Вот и спихнули Ньокало. А теперь, уж простите, еще бы и Цебрика... Да так, чтоб и обручи на нем треснули. Снилось мне, снилось: есть у него еще одно дно...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Застрекотали спугнутые кем-то сороки. Ольга подумала со страхом:

«Отчего не пошла с Данилой? Трудно, трудно превратиться в ту прежнюю Олюську, что смеялась когда-то, зажимая глаза любимому... Только и хватило меня на минутку...

Но можно было бы еще все вернуть, начать заново, если бы решилась, бросив вызов свету, на глазах у Скоморохов войти в хату к Журакам невесткой... Зачем, зачем спряталась в этой страшной сторожке?!

Теперь конец. Марину не остановишь. Приедет на возу Семен. Привяжет вожжами коней вон к тому грабу, что виден из дверей, и войдет... Что станет делать? Будет ли выспрашивать слащаво про Данилу или, заглядывая

во все щели, молча втащит охапку сена и заткнет им оконце, задумав страшное...

Ох, лучше уж первое... Пусть допытывается про Данилу. Скажет на этот раз все, что никогда не говорила. И Семка убьет меня...»

Зажмурила крепко глаза. Мысленно позвала Данилу. И почудилось вдруг, что содрогнулся от зова лес и тут же притих... Но опять прокатился по нему от Скоморохов низкий гул тяжелого пасхального колокола...

«Уже пасха? Разве можно прожить две недели за двое суток?! Как же...» — И недодумала.

Поднялась, прислушалась. Не светлое это воскресенье... Нет в благовесте этом праздничного веселья. Да и рядом, за лесом, село Остров. Оно двумя звонкими своими колоколами всегда возглашает: «Христос воскрес!» — разом с большим Луцевым... А сейчас окрест тишина.

Звон в Скоморохах не умолкал. Удары тяжкого чугунного языка становились сильнее и, казалось, возносились в лазурное небо, к пушистым, кудрявым облачкам.

Ольга помнила тот день в тридцатом году, на Спаса, когда впервые услыхала это торжественное, чуть хмурое звучание пожертвованного Нарытником колокола... Но звонил он все эти годы только по светлым праздникам.

«Может, с ума схожу?! Будний же день, великий пост? Или в селе кто-то рехнулся? И по Даниле, и по Марине видела — что-то там происходит...»

Снова задумалась.

«А что сулил колокол мне все это время? По утрам — придуманное счастье, что обрывалось, увиденное ночью, вблизи... Упрямо продолжала верить, мечтать... Поджидала год наступающий. И снова все повторялось...

Но мир внезапно встал на дыбы. Пап, что мог убить за кусок земли, сбежал, бросив мужикам сотни моргов... Зореслава Король при всем честном народе объявила: не пойдет венчаться в церковь! Да и она, Ольга, непонятно как взбунтовалась, швырнула камнем в прошлое, ушла в белый свет... И через сутки вернулось вдруг к ней всю

жизнь ожидаемое счастье... Зачем выпустила из рук? Осуждения испугалась, недоброй славы? Ох, через край уже то добро, что принесли ей люди! Довольно, хватит! Пойду к Даниле, к Журакам!»

Спустилась в сени. Потемнело в глазах — такая боль! И сразу вернулась прежняя гордыня: «Как среди дня, у всех на виду, придешь такая, искалеченная... Всегда хотела, чтобы видел любимый веселой, звонкой, как вода в родничке...»

Да, когда-то так говорила. Но сейчас придется идти не такой... Ведь сама во всем виновата. А гордость не уходила — ранила сердце. И тогда придумала выход:

«Подожду до вечера. И выйду тогда Даниле навстречу. Тропинку, по которой идет, знаю. Снова стану прежней Олюськой... Прежней! И пойду к Журакам. Пусть и церковь и свекровь проклянут...»

Осторожно, озираясь, выбралась с трудом из сторожки. Подальше отойти не хватит сил. Места эти знала хорошо и, найдя маленький овражек, зарылась в прошлогодние листья. Пусть Семка попробует найти!

Среди дня услыхала в лесу шум, громкие голоса, ржание лошадей, свист... Затаила дыхание. Но вскоре затихло...

Дождавшись сумерек, глухими, с детства знакомыми тропками мучительно-медленно добралась до густого терновника, что рос вдоль старой заброшенной скоморохской дороги. По ней-то и приходил Данило.

Бесконечным, жутким было ожидание ночной темноты. Пришел с ней вместе проливной дождь. Влажный холод, облегчая жжение в ногах, мучил, будил воспоминания:

«Как часто после нежданного ливня приходили перемены... И каждый раз — к беде. Господи! Пусть хоть этот раз к добру... Пусть сжалятся силы небесные за долгое мое покаяние...»

Дождь затихал, напоив землю. И она, довольная, будто шептала Ольге: «Хорошо... хорошо... хорошо...»

«Почему, почему не может быть хорошо? Любить Данилу. Не знала, не ведала о возвращении, сама ушла от мужа: сердце подсказало. Теперь куда деваться?! Хаты и той нет... Родительскую продал Семен государству. Выходит, одна дорога к Журакам. Пусть согреет их крыша...»

Куст терновника, у которого присела, зацветал. Чуть распустившиеся почки не были видны в темноте, но, дотронувшись зазябшими руками до ветки, почувствовала — набухли...

А Данило не шел...

Спало село вдали. Не все: то в одном, то в другом конце блестели огоньки. Подумалось: мирная ночь в Скоморохах... Светится окно Довбенюка...

И вдруг у Скалы, там, где был панский фольварк, ударили выстрелы. В технической школе сразу затих мотор, что давал электрический ток. Залаяли собаки. И снова тишина...

Дождь прекратился, повеял теплый ветерок. Ольга клубочком свернулась в ложбинке, чтобы согреться. Старая скомороховская дорога по-прежнему пустовала. Данилы не было.

Бессонница, боль физическая и моральная взяли свое. Задремала.

Но кто-то сильный, грубый рывком поставил ее, непроснувшуюся, на ноги. В ужасе открыла глаза. Вокруг — темнота, боль в ногах и отчаянная тревога в сердце. Рядом — тень человека.

«Данило? Проспала... Не знает, что шла навстречу... Уходит... Догнать... — Слабость все больше охватывала Ольгу. — Но отчего будто крадется? Непохож... Непохож... А если — Семен? Нет, не он...»

Вот-вот... Совсем близко... И, вскрикнув, застыла на месте. Поздно. Не убежать. Не оттолкнешь слабыми своими руками этого человека — всюду натыкаются они на металл. Круглые, как горшочки, гранаты. Ножны. Карабин на плечах. Илько Смалий, смердящий свежей кровью

и конским потом, оскалив зубы, смотрит на нее... Даже в темноте блестят глаза, не спеша повернулся к Ольге.

И вдруг поняла: в селе что-то произошло, и Смалий только делает вид, что не торопится. Нет, он приглядывается, прислушивается — не настигает ли расплата? Похоже — бежит из Скоморохов: вся смертельная амуниция при нем. Значит, нет на Ольгу времени, как было уже однажды... Нужно оттолкнуть его, испугать, может, задобрить...

Но силы кончились. Ничего не могла, только медленно отступала.

Илько достал фонарик, блеснул неярким лучиком. Не таким, как тогда, в хате... И заговорил:

— Думал, плюну напоследок в морду Скоморохам... А вдруг такая находка! И ночью тебя узнал. Уж сегодня негоже упустить...

Она каменеет от его слов. И лепечет, не понимая смысла:

— Мертвая я... Мертвая... Оставь...

— Хватит с меня этих смертей... — Ссутулившись, он словно ощетинился черным металлом. — Хватит. Сегодня одна кобыла человеческим голосом кричала, когда ее... Ухожу из Скоморохов. Энкаведе будет догонять. Знаю. Когда тебя вчера искали, собак, жаль, не привезли, а для меня — при-и-и-и-ве-зу-ут...

От страшной его откровенности леденела кровь и трудно было удержаться на ногах. Что будет, если упадет? Нужно говорить, говорить.

— Не понимаю тебя, Илько.

— А Данилу понимала?

— Не всегда... не всегда...

— Ну так и не поймешь...

— Почему?

— Потому что по нем колокол звонит...

Ольга клонится все ниже и в последней надежде, как утопающий за соломинку, хватается за слово:

— Кто, кто звонит?

— Семка твой... С Цебриком...

Вскрикнув, опустилась на землю. Смалий чуть не споткнулся о нее. Осветив фонариком, увидел в глазах отчаяние, ужас, боль... После безумной этой ночи захотелось быть помягче:

— Да чего там с тобой? Заболела? Ну давай поднимайся. А колокола не бойся. Жив Данило... арестовали его...

— За что? — только и смогла выдохнуть.

— За тебя. За то, что убил... Ха-ха-ха! Вставай, Ольга! Смотри — рассержусь... Слушай, чего скажу — такого не слыхала: потому Семка твой пень инем. Довбеняк — энкаведист. А Данило... Слушай, пока не передумал. Нет у меня времени. Не уходил бы навсегда — не сказал. А так плевать... — Смалий отчего-то перешел на шепот: — Поверишь, знаю. Потому — Илько никогда не лжет. Одну правду только...

— Ох, страшная твоя правда..

— Какая ж еще? Да не о том сейчас... Такое дело: не быть тебе ни Семкиной, ни Довбеняка, ни Данилы. Моя будешь...

— Ты в своем уме?

— В своем. В нашем деле, в нашей борьбе кое-что понимаешь... Будет еще Семка верховодить. А сегодня, когда Данилу взяли, нужно, чтоб тебя на тот свет... Потому, значит, если труп — гнить Жураку в тюрьме... Народ и увидит: вот какие большевики несправедливые... А вот чего Олекса Нарытник от него избавиться хочет — не пойму. И кто отца его удавил — не знаю. Не моя работа.

Ольга чувствовала: правду говорит страшный человек. И зачем-то спросила:

— А Семка? — И удивилась, поняв: вопрос этот яснее Смалию, чем ей самой.

— Семку не уведомили об акции... А знаешь, кто выполнить послан?

— Ты... — сказала чужим голосом.

— Шутишь! Марина должна... — И заторопился, схватил за плечи. — Идем, почь светлеет. Приголубь меня. Пожалей... — нетерпеливо ждал ответа.

— Оставь.

— Нет, Ольга. С кем без тебя тоску разгоню? К немцам ухожу, в Краков. А перед этим пойдешь со мной на пару дней, приласкаешь... Если умереть не хочешь... Потом — на все четыре стороны. Теперь — пора. Идиотская эта бойня... лошади... до сих пор мутит... Не повстречайся — не знаю, что и делал бы... Есть еще в наших краях тихие местечки. Не бойся. Будешь моей — приберегу лучший подарок. Вернусь — получишь. Прижмись, озябнешь на ветру. Ну идем...

— Нет. Никуда. Не могу идти — ноги...

Смалий присел, посветил фонариком. Глухо стукнул приклад карабина.

— Что это?

— Огонь. Мое покаяние...

— Красиво говоришь. Аж зло берет. Да жаль, некогда. Иди на руки. — И сгреб, ожидая сопротивления, слез... Но ничего не услышал.

Наверстывая упущенное время, с Ольгой на руках заторопился через топь к Бережанскому тракту.

И словно слышит давний стон скомороховская земля, и звенит под ногами Смалия, как звенела триста лет назад под копытами татар. О плач полонянки!

Ни страха, ни боли... Чувствовала одно — этот позор не искупить. И молила бога дать ей силу и отвагу, чтобы убить Смалия. Умереть самой? Нет, нет! Тогда погибнет Данило. Теперь наконец поняла дьявольский их план... Нужно жить, нужно вырваться на волю. Но как? Просить? От янычара, от злого татарина милости никто не дождется... Но куда несут ее? Спросила как в горячке:

— Разве здесь дорога на Краков?

— И до него на родной земле найду укромное местечко. А то слишком много тебя останется другим...

«Господи! Вырывались же полоняики из неволи? Убивали стражу? А я смогла бы? Нужно... Нужно быть твердой как камень. Нетрудно выхватить его нож... Нет, не смогу... не сумею... — Дотронулась до холодного дула карабина: — Наклонить его и нажать на спуск... Ближе, ближе к голове Илька...» Ольга превратилась в туго натянутую тетиву и, нагнув дуло, другой рукой ударила по курку... Швырнуло в небо огнем, и показалось — на весь мир грянул выстрел.

Вскрикнув, Ольга выскользнула из разжавшихся рук Илька. Он схватился за голову, словно хотел убедиться: цела.

Не помня себя от страха и радости, Смалий упал на землю. Конвульсивным движением прижал к себе упругое, сопротивляющееся тело женщины...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Рано поутру состоялось заседание райпарткома. Отметили еще одну победу: в окрестных селах в эти дни создано четыре колхоза. Прибыл на железнодорожную станцию состав с восточной Украины с зерном для колхозников. Семена сахарной свеклы — в пути.

В большинстве сел партийные организации. Комсомольские — почти во всех. Уселись за школьные парты и стар и мал...

Собрались на бюро и секретарь райкома комсомола, и редактор газеты, и начальник милиции, и молодой следователь. Вспомнили среди прочего добрым словом Олексу Пригоду, что так необычно вступал в артель.

После обсуждения текущих вопросов попросили Михайло Байду рассказать, как в Скоморохах обстоит дело с интеллигенцией.

Немного ее в селе. Учителя в школе да молодежь: Катерина Гринчук, ее брат Стась, Зореслава Король, Иван Пидвезеный...

— А Данило Журак? — перебил недовольно первый секретарь.

— Да, конечно... Но... Он здесь. Пускай сам... — растерялся Михайло Байда.

Секретарь зачем-то долго разглядывал часы и, встав, обратился к Даниле:

— Нам уже доложили о следствии по вашему делу. Молодые работники аппарата, да кабы только молодые, к сожалению, берутся иногда решать судьбы людей без их участия... И в вашем случае чуть не произошло так... Прошу, объяснитесь по поводу исчезновения вашей бывшей невесты. Ее зовут Ольга?

— Да, — ответил, поднявшись, Данило. — Что сказать? Действительно, нес ее прошлой ночью на руках. Живую, а не мертвую, как тут утверждают... Безгранично злобное, больное воображение клеветников... Меня ждали в селе... Да и мать дома... Оставил на рассвете в лесной сторожке одну. И был еще здесь, когда приехала милиция, установила, что Ольги там нет...

— Весьма серьезное дело, — нахмурился секретарь. — И со дня на день может запутаться еще больше... Это дело органов, конечно. Но хочу сказать: людям с таким прошлым, как у Журака, мы должны верить. Кому же еще? Нужно помнить, товарищи, как беспокоился об интеллигенции Ленин. И мы должны в зародыше искоренять все попытки травли и шельмования нашей интеллигенции! И двух лет не прошло с той поры, как здесь любого ученого человека считали паном. Бывает, и в наши дни смотрят так...

А Башовскую, товарищ следователь, я вчера уже принимал. На том же кресле сидела... Остерегайтесь, чтобы со временем и о вас чего-нибудь не наплела... Вы еще так молодцы...

Так вот, товарищ Журак, чувствую — трудно вам в эти первые дни по возвращении... Будем надеяться — образуется. Думаю, следовало бы хоть немного рассказать людям об испытаниях, что выпали на вашу долю...

й о том, почему вступили в колхоз и не пошли, скажем, учителем в школу. В последние дни в селе проявляют к вам прямо-таки нездоровое любопытство...

В зале стояла напряженная тишина.

— Вряд ли люди сразу поверят. Они сами хотят увидеть, пощупать... — отозвался редактор.

— А Цебрика чего-то не щупали, не разглядывали, а поверили, — не выдержал Байда.

— Так ведь талант! Такой человек в Скоморохах не засидится... — загадочно усмехнулся секретарь, и взгляд его на мгновение стал тяжелым.

Телефон зазвонил будто из того далека, откуда с таким трудом добрался наконец Данило Журак.

Байда держал трубку, заметно бледнея. Плохие новости были в Скоморохах... Убили лошадей. Собранное у кулаков зерно облили керосином. Нападение на техническую школу, к счастью, отбито... Плуги пропали...

...Поле встречало невесело...

И грустно улыбается Катерина Гринчук директору технической школы. Стоит он с двумя курсантами возле тракторов, что осиротели без плугов.

— Как же пахать будем?

— А вон наш дед Русин, с вами приехал... так у него свои плуги есть... так он говорит... — тараторили девчата.

— Дед Русин? — У курсанта Ивана Пидвезеного даже язык зачесался, и, действительно, вполне можно было его почесать... Но как-то так светило солнце, так пахла земля, а в грузовике на горе мешков так торжественно восседал дед, что вместо слов скинул Иван шапку и подошел к машине:

— Вуйко Матвей! Сойти не можете? Голова закружилась? Не смущайтесь... Я вот хоть и помоложе и трактор пониже, чем ваш трон, а тоже как влез впервые, так свет кругом пошел... Вон пусть директор скажет... — Ловкий, сильный Пидвезеный вскарабкался к Русину на

грузовик и сразу же стал серьезным. Оба тихо, как заговорщики, пошептались о чем-то, время от времени поглядывая то на тракторы, то на старые двухколесные плуги, в которые раньше впрягали лошадей.

Потом Иван помог деду сойти с грузовика и подвел старика к директору:

— Это, Георгий Петрович, сосед мой, дед Русин. Знакомьтесь, прошу. Сильно умеет думать. Ему бы в техшколу... А пока предлагает: оба наших трактора заставить работать сегодня же. Как? На лошадиных плугах.

В другое время такого издевательства над техникой директор не потерпел бы. Сейчас смолчал. Ответил, подумав:

— Так за этим допотопным плугом ходить придется...

— И будем! — во весь рот улыбнулся Русин под общее одобрение. И Пидвезеный, преодолевая сомнения, взялся приспосабливать старые плуги к тракторам...

Ко второму трактору плуг подтащил сам директор. И тихо, чтобы ненароком не услыхала Катерина, пожаловался Пригоде:

— В жизни не видел таких выдумщиков, как Иван с этим дедом. Ох, пережжем мы с такой техникой горючее, пережжем... А сделаем нуль.

Из-за Вильшаной гребли показалась голова в вывернутой шапке, рядом с ней — вторая... Видать, кое-кому было интересно, какой будет первая колхозная песня...

— Начнем, товарищи! Вон, глядите, взяли уже нас на прицел, на оговор... Нужно до вечера сработать за оба трактора, за украденных и убитых коней...

— Тяжко...

— Готов отработать за себя и за свою кобылу, — предложил невеселый Пригода.

— И я должен сегодня за все свои годы напахать... Ждать нельзя. Жизнь-то к концу катится — донышко вижу... А на своем поле так и не довелось... Когда богачи мою полоску за долги пахали — чего-то опасались конней доверить...

— Так, дед, и не научились?

— Не-е-ет, умею... Потому на собственном поле кулаки не боялись ни за меня, ни за коней. И пахал им на совесть... Не умел иначе... — Русин зашелся в кашле от синеватого дымка машины. — Ох окопы проклятые...

— А где ваш стульчик, дед? Поставили бы на колесики, за рукоятки плуга придерживались да и катились бы себе... Пока дома в полдень корову подоят, вы свое напашете... — Но шутки, не поддержанные хмурым Пригодой, быстро затихли.

Пидвезеный с Русином обошли свой загон. Отмерили его моргов на пять. Байда замахал им, чтобы остановились. Подошел к раскрасневшемуся старику:

— Славно, дед, начинаете. Ваша борозда — первый шаг Скоморохов в новую жизнь... Но передохните. Теперь мы с Сыроветником пройдем пару раз...

— Успеешь, Михась! Поспеешь... Нелегко тебе после криминалов налегать на плуг. Сгибаться трудно, знаю. А я небольшой, жилистый. — И Русин, ухватившись за рукояти, оглянулся на камышовые заросли Вильшаной гребли. — Тем, что подглядывают, моего ломтя не видно. И скажу тебе, Михась, — сколько мне годов, столько и гонов пройду... А ты, если нужно, Олексу сменишь.

Но Пригода, шагая за своим плугом, тоже отозвался:

— Пошел счет на года... Разве имею право меньше моего вуйка жить?!

Байде осталось потихоньку придерживать Пидвезеного, чтобы не гнал трактор, а то хватит деда только на первый день...

— Жми веселее, Иван! И на машину кнут найдут!

Пригревало солнце, с юга дул влажный, теплый ветер. После обильного ночного дождя рыхлая земля дышала паром. Тракторы шли легко, ровно, весело. Пидвезеный, каждый раз заворачивая под гору, озорно кричал:

— Эй, дед, обменяемся? Берите одну мою рукоять, а я ваши — обе... Будем друг друга переучивать...

Но Русин, заглатывая воздух до пупа, кашлял и коротко отвечал:

— Э нет! Тут к пашне ближе. К живому. Ни за что...

После двадцатого гона, отсчитав двадцать лет жизни, старик швырнул на обочину сапоги, после сорока — слетела с него камизелька, и заблестело на солнце все дедово снаряжение на широком поясе... А на шестидесятом — потемнела белая рубашка, прилипла к костлявой спине... Пидвезеный отлично помнил, что дед разменял семьдесят третий, и решил остановиться на этом.

Но Русин отшагал семьдесят четвертый, и Иван запротестовал:

— Все, дед. Отдышитесь. Я считал...

— Нет, Иванк, давай еще десять... Хоть бы десяток отвоевать у костлявой...

Пидвезеный, делая вид, что исправляет погрешность в моторе, задержался. Пусть старик передохнет. И, двинувшись, прошел еще двенадцать гонов...

Здесь уже Русина сменил Сыроветник. А Пригода продолжал пахать. Подсчитали — до сотни!

Комсомольцы подняли деда Матвея и посадили на мешки, снятые с грузовика. Старик, когда подхватили его сильные, молодые руки, делал вид, что сердится, клялся не стричь больше чубы... Но так светились у всех глаза, таким теплом дышала пашня, а в небе над ними то звенел, то умолкал жаворонок, будто прислушивался к ответному звону земли...

А усидеть Русин не мог. Прошелся по крайней борозде, потом, с середины, круто повернул к Вильшаной гребле, где по-прежнему выглядывали знакомые физиономии, хоть и замаскированные вывернутыми свитками и нахлобученными шапками.

Выругался в сердцах и, увидев, что молодежь с нетерпением смотрит на него, сказал:

— Морды там от злости перекосило... Уже и оттуда видно: пашем, а не в читальне сидим, закрученные про-

волокой. Все равно одолеем! И по сто гонов в день сделаем! По сто! И я сейчас еще добавлю...

В Скоморохах зазвонил большой колокол.

Люди прекратили работать, скинули шапки.

— Луця хоронят. Вечного покоя ему... Хоть и глупость человек сделал... И без него пашут плуги. Да после смерти поздно каяться...

Солнце клонилось к горизонту, когда к тракторам прицепили сеялки.

По верхней дороге спускалась бричка. Еще издалека узнали, что гнедыми правит Довбеняк. И кони эти похожи на пропавшую упряжку Гринчука. Второго человека сразу не узнали. Данилу Журака.

— Люди! Это же вуйка Стася кони! Нашлись, Пилип Романович? А остальные?

— Пока нет.

— А моя кобылка не дала о себе знать? — издали крикнул Пригода. — А преступники где?

— Скоро узнаем. Поговорим пока о другом. Вижу: большой у вас праздник! Выиграли, товарищи, этот бой... Вот и Данило приехал...

— Приехал! Пусть сто кругов сделает на сеялке... Сто лет...

Сыроветник отвел приехавшего в сторону:

— Слава богу, вернулся. Добрый выпал денек! И с землей ладно... Может, снова предложим тебя в председатели? Прямо здесь, в поле. И правление тут. Без науки, человече, эта мономахова шапка для меня тяжеленька...

— Нет, — сказал Данило. — Именно вам в нашем селе протянула руки земля. Будете прекрасным хозяином. Но для этого необходимо жить... И беречь себя... Нет, — глухо повторил. — Ольга не найдена... Нигде...

Молодежь окружила Журака:

— Просим сеять. Просим на сеялку...

День еще не погас, и все увидели в лице, в глазах человека что-то необычное: он смотрел на свои руки. Ка-

залось, спрашивал без слов: не шутят ли люди, вправду ли верят, что тяжелыми его руками можно посеять зерно и оно взойдет...

Где-то вдали, южнее Скоморохов, раздались приглушенные расстоянием выстрелы. Потом зачастили — все слышнее и слышнее...

Данило, взмахнув рукой, пригнувшись, шагнул к левой сеялке.

Довбеняк поспешил к правой...

Поле настороженно молчало...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

«Невелика мастерская у Довбеняка, а полсвета вмещает...» — сказал как-то старый Гринчук, снова посетив бывшую резиденцию пани Барановской. Высказывания старика часто были похожи на кряжистый дуб, что ушел глубоко под землю цепкими могучими корнями... Но в данном случае понять сказанное можно почти в прямом смысле...

Глянешь в окно на восходящее солнце — переливается живым серебром в чаше долины Нарай. В быстрое течение склоняют темно-зеленые косы плакучие ивы да петви калины, с которых не могут сорвать красные коралы ни осенние дожди, ни седые порданские морозы... Бежит к реке Бережанский тракт, взбегает на деревянный, выкрашенный черным колером мост. А дальше, там, где заливные луга прерываются вдруг крутой белой горой, на самой макушке ее виднеется скомороховская реликвия — Фигура, сложенная из светлого днестровского камня в память об отмене крепостного права. Еще в этом заповедном месте растет Кровавый дуб и нареченная его — Ковалева липа...

Поля окрест пока черны, но склоны оврагов и дороги в Чертоломы засыпаны белой метелью: цветет терновник. Над этими местами небо всегда отчего-то красноватое, а

над лесами глубокое, синее... В одном из них, далеком Шумавском, ранили Юрка Мельника, в ближнем — пряталась в сторожке лесника Ольга...

Распахнешь двери на закат, и тянет податься в белый свет. Весной тут хозяйничают западные ветры, приносят аромат хвои. До гор отсюда не близко, но после дождей, когда растают утренние туманы, кажется, рядом красуются вершины в ослепительных снеговых шапках. Уйти бы, уйти в синие Карпаты... А может, оттого и тянет бродяжить, что бежит тракт из Скоморохов прямо в те края... Крутой он у Островской горы, выбитый, как сама жизнь... Несколько столетий связывала эта дорога село с большим миром. И за все века не пришло по ней счастье... Да и отсюда в путь не направилось... И вот наконец так чудесно все изменилось...

Выглянешь на южную сторону — виднеется за сельскими улицами тот же Нарай, но берега у него здесь отвеснее. Сенокосы... Коломыя — широкая долина в красных лозняках. Пруд, что зеркалом отразил белую кипень цветения, а над ним серой гранитной стеной высятся шпили Скалы, похожие то на опаленные молнией деревья, то на фантастических птиц.

Вот так и расстилаются перед глазами Довбеняка эти дали... За холмами, за лесами дремлет в синем тумане Чертогора... Колыбель древней липицкой культуры. Ополье... Первые поселенцы в дремучих лесах... Край легенд. И истории, что тоже стала легендой...

Про казацкую кровь сложили песни еще с той поры, как водили сюда полки Хмельницкий и Богун... Как рубились здесь конники Буденного... И брал эту гору в двадцатом Примак с червонным казачеством...

Стрыйское направление... Тяжкие были бои... Гибельная, опасная гора. А теперь цветут на ней до поздней осени маки, багряные, как пролетарский стяг...

В двадцатилетие походов был здесь Пилип с комсомольцами. Постояли, сняв шапки, на Чертогоре, окинули взглядом спокойную, свободную землю...

Вошел, постучав, Михайло Байда. Выглядел повеселее — эта ночь прошла для колхоза без тревог. Пополудни начнут сеять сахарную свеклу. Пока шел к сельсовету, видел: повсюду в селе готовятся праздновать пасху. Хотел рассказать Пилипу, как по-язычески справляли ее в Скоморохах после отмены барщины, но увидел — здорово осунулся Довбеняк, и молча пожал руку.

«Не ко времени рассказ... Пригода другим разом лучше опишет...»

Но усидеть Байда не мог. Прошелся по комнате, выглянул в окно. Маленькая яркая радуга повисла за полем. Над крышей кружили голуби.

И вдруг явственно послышались шаги: кто-то пробежал от их дверей к выходным. Довбеняк вышел. Вернувшись, предложил:

— Такая красота на дворе — грех сидеть как в норе... Если не возражаете, Михайло Степанович, давайте пройдемся полями. И поговорим... А то, кажется, у этих австрийских стен — большие уши...

Вились затейливые дымки над хатами. Пахло свежим хлебом, жареным мясом, душистыми приправами, горелым сахаром... Михайло Загайный разделывал в саду свиную тушу и, увидев идущих, подошел к изгороди.

— Подождите. Не спеши, тезка! Когда-то коров вместе пасли. Потом под пулями ходили. А вот за столом давненько не встречались. Покорно прошу, товарищ Довбеняк, Михайло, ко мне на студень, а пиво, мед-горилка да и хлеб нынче — свои... Словом, живем!

— Спасибо за приглашение! Придем обязательно... Вот выпадет свободная минутка...

— Прошу. Прошу... Рад буду...

Каська Пилипиева в переднике, обсыпанном мукой, крепенькая и кругленькая, как молодой огурчик, перебегала дорогу, бормоча себе под нос и размахивая пустыми формами для хлеба. Только что выспросила у Фрузины Пидвальной секретный рецепт на медвяник — посадишь такой в печь, вчетверо вырастет!

— Катерина, что встречаешь с пустым? — засмеялся Байда.

— Не бойся, Михайло, мой Иван еще с зимы руки приложил: не будет пусто... А говорят — большевики в приметы не верят... Нам Зореслава читала, — женщина останавливается на полуслове, снова шепчет и безнадежно машет рукой: — Ах, клюнул бы вас петух! Забыла, что нужно раньше растирать: желтки или белки? Опять к Фрузине бежать...

— Желтки, Кася. На одну порцию — шестнадцать, — с видом знатока подсказал Пилип.

— Вроде и мне так помнится... — фыркнула от смеха и спросила: — А вы откуда знаете? Точная ли будет пропорция?

— Самая что ни на есть...

Досмеявшись, все-таки для верности побежала к Фрузине....

— Славный народ... — задумчиво смотрел вслед Довбеняк. — Когда убедятся, что говорим правду, поверят в серьезном... Лишь бы отсеяться благополучно...

— Лишь бы благополучно... — повторил Байда.

За церковью село кончилось. Молча, неспешно шагали дальше в поле.

— Скажи, Михайло, ты Данилу Журака с детства знал? — спросил вдруг тихо и значительно Довбеняк.

— Знал и знаю...

— А этими днями не приходило тебе, часом, в голову: изменился Данило так, что стал другим... Не прежним...

Байда надолго замолчал. Уже перебрались на другую сторону Чертоломов, где на холмах и в ложбинах буйно цвел терновник. Не заговаривал и Пилип, сосредоточенно ожидая ответа.

Михайло первым взобрался на крутизну, остановился, засмотревшись на родное село, потом сказал:

— Приходило, Пилип Романович. Были минуты, когда казалось: это не он, это кто-то другой с лицом Дани-

лы, чтобы утешилась, глядя на него, старая мать. Но бывает же такое: иногда с удивлением смотришь на себя в зеркало и думаешь — разве это я?!

— Бывает, но речь о другом... Здесь у некоторых скомороховских граждан создалось впечатление, что человек этот не переступал за черту большого города, не ходил по земле босыми ногами... И все у него — маскировка, фальшь, обман.

— Никакого обмана...

— Но почему не принимает участия в поисках Ольги? Не будем даже говорить о чувствах... Бывают в жизни переоценки ценностей. Но ведь судьба его...

— Вот-вот... А выходит: именно с судьбой, что целиком зависит сейчас от безопасности Ольги, играет в жмурки. Хотел бы посмотреть, как искал бы ее Данило, не будь она замужем за другим?!

— Могут ли быть на свете люди с таким характером, с такой волей? Или не могут... — думая о другом, неожиданно сказал Довбеняк.

Байда не ответил и стал прислушиваться, будто заметил что-то в зарослях терновника. Сощурился, сказал добродушно:

— Думайте об этом, думайте, Пилип Романович... А я пока освежусь пригоршней воды — чудо-родничок рядом.

И вправду вернулся освеженным, но тут же захотел поделиться удовольствием:

— А сами-то пробовали когда родниковую воду, что бьет из-под корней терновника?

— Не доводилось.

— Отведайте обязательно. О родничке этом деды рассказывали, будто оплакивает он тех, кто рано в землю ушел... А возле него, говорят, спаслась когда-то, во время холеры, сельская красавица Настуня. Приняли ее за мертвую, везли хоронить, а на этом месте скатилась девчушка с повозки, припала пересохшими губами к роднику и выжила... И теперь хочется верить в добрую легенду:

не может исчезнуть бесследно красота, нежность, прелесть женская... Говорю и думаю об Ольге... Знаете, был я всегда далек от религии, но крепко запомнил несколько праздников пасхи после исчезновения Данилы. Благодаря Ольге... Годы проходили, но в полдень этого дня наряжалась и выходила такой, что и вам, художнику, не представить ее красы! И шла не к церковной ограде, как люди, а за село. Далеко шла, за околицу, все, видно, Данилу встречала... А он не шел... Всех покоряла ее красота, а вот какой возвращалась обратно — никто не видел. Но возвращалась! Вернется и теперь. Поверим, Пилип Романович, в добрую легенду... Вот что нашел вчера в ложбинке, у родничка! — Байда достал из кармана розовый, вышитый зеленым платочек и протянул Довбеняку.

Щеки у Пилипа вспыхнули. Он глухо сказал:

— Ольгин... — И, радостно взволнованный, вдруг решил: — Пойду-ка и я напиться...

Ушел — и пропал... Байда несколько раз поднимался на холм и видел мелькающего среди белой метели цветения Довбепяка. Хотелось крикнуть: «Не там, не там родничок!», но не решился, поняв: «Не воду так долго ищет...» Наконец вернулся опечаленный:

— Вода — дух захватывает! Пахнет горечью, увяданием, чем-то вечным... Что ж, поверим в добрую легенду... А пока поговорим о Жураке. Что бы вы сказали о таком предположении: в Скоморохи вернулся, так сказать, двойник прежнего Данилы?

От неожиданности сказанного Михайло рассмеялся, но, оборвав смех, сказал серьезно:

— Если допустить это, то следует подумать и о другом: а зачем? Что делать здесь такому «двойнику»? Военных объектов поблизости нет. Людей, чем-либо знаменитых, тоже. Село... Глубинка...

— Не забывайте про ОУН. Про неоднократные попытки заговоров. И сейчас назревает что-то тревожное. Куклаки исподтишка готовят яростное сопротивление. ОУН с благословения фашистов засылает и засылает в наш

край своих «референтов»... И эпицентр предполагаемого взрыва где-то здесь, в ближних селах, может, даже в Скоморохах... Необходимо прежде всего схватить главарей, и потому до известного времени мы вынуждены терпеть Цизорика и иже с ним, чтобы не вспугнуть остальных. Впрочем, вы это знаете, а сказать хочу другое. Бьют тревогу обитатели Скоморохов, дошли до центральных органов Советской власти, сигнализируют: подозрителен Данило Журак, не тот, за кого себя выдает...

— Кто бьет тревогу, если не секрет?

— Нужно думать, личные, а может, и идейные его враги.

— Похоже... В бессилии своем они коварны и жестоки.

После долгого молчания Довбеняк сказал:

— Нужно думать об Ольге, о судьбе ее, о спасении. Все так, но главное сейчас — Данило. Как понимаете, говоря о «сигналах», не случайно выбрал вас в оппоненты, в собеседники в поисках истины... Мне поручено разобраться в написанном «гражданами села». Я интересовался уже мнением Русина, Мельника, Савра Цебрика...

— Что сказали Русин и Мельник — догадываюсь. Но Цебрик? — удивился Байда.

— Цебрик? Думаю, что, посоветовавшись с нечистым, сам и диктовал эти послания. Узнаю телеграфный стиль... Будет еще у нас долгий разговор о Савре... Через месяц-два. Если не ускорят кое-какие события. Так вот, о Данииле... В Скоморохах находится тот самый, подлинный, неизменившийся Журак. А я, получив сведения о происках оуновских отщепенцев в Кракове, сделал вывод: врагам нашим позарез необходимо, чтобы он попал в беду. И тогда действия советских органов вызвали бы недовольство народа. Там, за кордоном, засели хитрые и опытные — они прекрасно понимают: Журак вернулся на Родину, чтобы положить и свой кирпич в фундамент нашего здания. И выходит: началась борьба уже не за

Ольгу — за него. Но вдруг она погибнет? И у кого может подняться рука на такую женщину?!

— Может, у Семки, если поверит: ушла к другому... переносит Цизорик эту драму. Кажется, есть у него что-то важнее личного, важнее случившегося с Ольгой. Ох, страшные их идеи...

Помолчали. Только у села Байда заговорил снова:

— Соображения ваши, Пилип Романович, весьма убедительны. Многое пугает... Но бывает: столько грозит жизни человека, а он остается жив. Можем предположить и так: Ольга бежала от себя, от Семки и от Данилы... Куда — пока не знаем. Самое простое — к родственникам, к знакомым, в соседние Бережаны...

— Возможно. Но я был всюду. А какое место в этих событиях занимает выстрел в Журака?

— Думаю, это дело рук одного, не группы.

— Продолжайте... Вы потянули за ниточку, о которой я еще не думал. Полезной оказалась наша прогулка... И платочек, что нашли... Совсем свежий, чуть отсырел только... Видно, недавно потерян. Кажется мне: Ольга приближалась к селу, и тут что-то произошло... Продолжайте, Степанович...

Но Байда замолчал. Бросать слова на ветер не любил, а то, что говорил, приходило к нему обычно не сразу.

Договорил Довбеняк:

— Выстрел? Не рассчитываются ли за прежнее? А может, и так: Данило неожиданно оказался живым для того, кто его давно похоронил...

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Байда и Довбеняк застали в сельсовете неожиданную сцену.

На полу валялась областная газета. Разгневанный Цебрик попирал ее сапогами, зажав вторую, скомканную, в

руках. Комсомольцы, все больше подростки, жались под стенами и боялись пикнуть, ибо голова лютовал:

— Я вас спрашиваю: кто пропечатал эту прущу? Мы и их притянем... И еще спрашиваю: когда такое было в Скоморохах? И кто, спрашивается, из нашего села бил фашистов в Испании? Плохо бил, осмелюсь сказать, если проиграли... Еще раз спрашиваю: кто из Скоморохов был там? Никто! Потому — не мог. Нет у нас и долго еще не будет добровольцев! Один Цебрик! Не мог же я бить морду фашистам аж на двух фронтах сразу?! А этот? Неделя всего как принесла его нелегкая из вражьей неведомой дыры, из каких-то там университетов... Один раз наделал уже здесь переполоха... А сегодня хочет меня вместе с селом запихать в отхожее... Но Цебрика знают! Что теперь скажут о нас в области?! В Скоморохах убийцы! Брехня! Созову исполком. Пусть притянут... За клевету. — Вавр, не закрывая рта, повернулся к дверям и тут увидал вошедших. Довбеняк потянул из-под его ног газету и, встретившись взглядом, спокойно спросил:

— Скажите, пожалуйста, сколько экземпляров областной газеты получают в Скоморохах?

Цебрик, не учуяв подвоха, четко, как районному начальству, отрапортовал:

— Двадцать семь.

— Двадцать семь... — с удовольствием повторил Пилип, выпрямившись и расправляя скомканную газету. — А на полу — только одна...

Цебрик схватился за телефонную трубку. Комсомольцы хихикали в кулаки. Довбеняк и Байда, не продолжая беседы, вышли.

Затихло в сельсовете, тихо и в мастерской — там, на столе, расстелили смятую газету и стали искать с первой страницы. Ничего!.. Вторая страница. Третья... Не веря глазам, Довбеняк кистью в красной краске ткнул в подпись. Под большим, почти во всю страницу рассказом стояло имя автора: Данило Журак...

Частица широкого полотна, окропленного кровью серд-
ца, талантливо рассказывала про юношу из Галиции,
который вспоминал Родину и события, что привели его
на баррикады в Испанию...

Повествование заканчивалось обещанием редакции:
«Продолжение следует».

Довбеняк, прочитавший первым, заходил по комнате.

Михайло, закончив, закурил. Затягивался раз за ра-
зом, поспешно и сосредоточенно, как перед атакой:

— Как написано! Сейчас же пойду к отцу. Вслух про-
читаем. А имена сплошь изменены... Но зажмурюсь, и
вижу Скоморохи. Слышу те, подлинные имена. Затаив-
шихся. Теперь не один из них — все начнут стрелять...
Потому: «Продолжение следует»... Значит, приближается
тяжкая расплата. Никому не известно, что будет там
дальше... Но в каждой букве — страдание. Вот он, пер-
вый залп! Залп боевой тревоги: фашизм не побежден, во
многих странах континента демократия терпит пораже-
ние за поражением... Это крик предостережения: люди,
будьте на страже, берегите свои крепости, бойтесь ноч-
ной дремы, как бы не открыли ваши ворота изнутри...
И я тоже почувствовал: черно-коричневая глыба надви-
гается на нас...

Довбеняк задумчиво смотрел на Чертогору:

— Вот и первая точка над «і». Журак наконец рас-
сказал людям о себе. И как! Я ждал от этого человека не-
обычного. Теперь прежде всего нужно его беречь. А газе-
ту сегодня же будем читать в клубе и в хате-читальне.
Но повествование — айсберг... Блестящая вершина не
так велика — весь страшный груз под водой... В подтек-
сте. Чтобы прочувствовать, нужны, как любит говорить
Цебрик, ниверситеты... Поймут ли простые люди? Ладно,
Степанович, встретимся в поле. Сеять будем, а заодно и
автора поздравим. А сейчас схожу к Зоре. Как она оце-
нит напечатанное?

Зореслава не заметила, как вошел Пилип. Сидела пе-

ред развернутой газетой, и слезы тихой радости катились по щекам...

«И ее пошлем учиться. И ее нужно беречь...» Растроганный Довбеняк осторожно прикрыл дверь и зашагал к тракту...

...А в это время на небосводе старой Журачихи выглянуло из-за туч солнце. Сын дома, на подворье. И мать счастлива. Ведь и сейчас бывают дни, когда он здесь, рядом, а ее терзает беспокойство... А после прихода почтальона стал неузнаваемым... Видела — письма не было. Что же случилось? Думает, думает, хочет понять:

«Вон с дедом на дворе сбросили куртки, орудуют граблями, сгребают мусор перед домом. Поглядывают на старую осину у ворот. Хотят срубить до праздников, нарезать на Мазурской лесопилке досок для штакетника. Будет злословить Башовская: на гроб, мол... Пускай. И этого не избежишь... А заборчик давно нужно сделать: натоптали люди тропинки через двор, через огород. И по ночам шастают под окнами черные тени... Кого, зачем высматривают? Опять сына?»

Журачиха холодеет, вспоминая: шел брат Иван вчера из лавки, завернул к ней. Встревоженный. И слово за слово проговорился-таки: позапрошлой ночью в Шумавском сосняке стреляли в Данилу. Видели даже, как присел и шарил потом по земле, искал шапку. Говорят, пуля сбила... Смотрит мать из окна на сына и не верит россказням: не был бы таким сейчас...

Боже, каких только успокаивающих слов не говорила сегодня! И она старается вспомнить: до прихода почты? Нет, после. Потому сидел у них Пригода, и словно тоже поджидал чего-то. Так вот, сказал сын: нужно поскорее сделать из подворья, огорода и сада картинку. Чтобы всюду чисто стало, уютно... Не решилась спросить: для чего это? Жениться задумал? Пытается представить себе невестку и не может. Снова видится Ольга... Ох, как щемит сердце! Не из-за того, давнего, не из-за приданого. Оттого, что теперь нужно будет отрывать от живого му-

жа. Но исчезла Ольга. И если не найдут — погибать Даниле... Возвели поклеп на сына, будто загубил чужую жену... В Семкину месть не верят: сумел и перед большевиками складным ножичком... Какая в селе черная душа нашлась, бога не побоялась: так оклеветать человека! И мать будто заблудилась, словно бьется в неводе — все вроде видно, а выйти невозможно... Нет, сердце сына не может быть таким жестоким! Не может! Не шел бы тогда с другого конца света к своей родимой... А свет нынче какой: от села к селу нелегко дорогу найти! А он через весь мир прошагал... И снова замышляют против него злое... Страшное и злое... Ох, а уж такой красы, как у Ольги, нигде не найти... Ой, да кто ж его знает — к кому шел издалека? Кто знает?

Но что сегодня обрадовало? Отчего взялся приводить хозяйство в порядок? Видно, чего-то принесла ему почта...

Походила по хате, посмотрела — нигде не видно газеты. А раньше — всегда на глазах. Странно, вроде спрятал...

Нашла все-таки во внутреннем кармане куртки, сложенную, как платок.

Ученья у Журачихи — всего два класса... Не до науки всю жизнь... В девушках — спрота. Невесткой стала — в поле. Хватало того, что вычитывали газеты и бумаги сыну... Были бы еще в хате грамотеи — пошло бы хозяйство по ветру, да и сами Жураки тоже... Но когда исчез сын, научилась читать. Газеты больше... Просеивала-провеивала, как через решето, сотни, тысячи человеческих имен... Все казалось: следующее будет сыновнее... В то время в газетах часто печатали о найденных — живых и мертвых. А Жураки подали на розыск, заплатили большие деньги...

Но имени сына не встретила.

Не встретила... Вот и боялась: не пропустить бы? Жгла свет ночь за ночью — перелистывала старые газеты. И теперь с той давней дрожью в руках, с замира-

нием сердца развернула большую советскую, так тщательно сложенную сыном.

И первым увидела на странице его имя... Поплыли перед глазами не буквы — дорогое лицо. Не то, что видела сейчас через окно, другое. С фотографии, где снят Данило в день окончания гимназии.

Стала читать. Не дойдя до трети написанного, отложила. Встала:

«Чуяло сердце... Чуяло... Война! Не та, о которой болтал Цебрик. Война... Несчастный ты, мой сын!»

Сложила онемевшими руками газетный лист платочком, вложила обратно во внутренний карман куртки.

«Пусть лежит. Мне этого не нужно. Потому — умру. Невестки не увижу... Внучонка... Пускай... Хорошо, что прошло... Хорошо, что пришел живой. Хорошо, что никогда больше не возьмет в руки это смертное железо. Пускай... Не нужно мне... Хочу пожить еще хоть немного. Чтобы предостеречь, как родится дитя — не давайте в ручки ни карандаша, ни книги! Куда только не уводили сына те книги, и куда еще заведет это вот писание...»

...Иван Пидвезеный, отправляясь сеять свеклу под Лысой, решил проехать селом: завернуть домой, пригласить Данилу, вуйко Пригоду. Пусть прокатятся по улицам на сеялках, пусть кулаки перед светлым праздником посторонятся с дороги. Больно раскаркались: одни, мол, кривые да слепые собрались в коммуну, лишь бы не работать...

Знал бы Иван, чем закончится его парад!

В ту минуту, как он должен был протарахтеть, Гапька Башовская сажала в печь медовник, что заметно перекис. Слишком долго торчала под окнами Жураков, навострив уши... Но должна была до конца отстоять, ничего, спаси боже, не пропустить... Ведь чего-то до сих пор не сбылись надежды — не забрали Данилу... И тут-то, застыв у живой ограды, услыхала наконец: вот на какое счастье рассчитывают писаки... На какие, выходит, ка-

читалы... А когда подметала читальню, прибежал туда Цебрик: все газеты чего-то забирал. Но одну кто-то до него припрятал, комсомол потом вслух читал. Какая-то байка про далекую войну, каменистую землю, а вокруг все чего-то ахали, охали и приговаривали: «Видать, Данило это...» А потом еще учитель сказал, что так, мол, пишут только поэты, что государство ценит их, потому люди такие — редкость. Жало черной зависти пронзило сердце, она застряла у ограды, задыхаясь от злобы, а медовники тем временем перекисали... Чуть-чуть утешило одно — подслушала-таки причитания Журачихи...

«Несчастный! Несчастный! Несчастный!»

Вспомнив, ухмыльнулась и вдвинула медовники в печь, но вдруг под ногами словно вздрогнула земля.

«Батюшки, чего оно трясет? Кабы окна не высадило...» — и тут услыхала: рядом с хатой, на дороге, что-то непонятное лязгает, пыхтит, гремит...

Пол тряхнуло еще сильнее, и Ганька выбежала во двор. Мимо нее неспешно двигался трактор с двумя сеялками... И не сообразишь — куда скорей кинуться: то ли к медовникам, то ли к дурной матери сукина сына Ивана Пидвезеного?! Все семейство ихнее с придурью, вон и сыночек рехнулся на праздники. На адское порождение взгромоздился! Ох медовники!

Влетела в хату, заглянула в печь. Так и есть — пропали...

«Ну и покажу им сейчас! Да если бы не этот демонский писака Данило с дырявой задницей — Пригодой, черта лысого тарахтел бы по селу недоносок Пидвезеный... Ну держитесь, дружки любезные...»

Быстро подвязалась накрест платком, заткнула за него раздобытую газету, схватила лопату и помчалась через Пригодину межу на вспаханный клин Жураков. Вокруг — никого. Соседи — кто в хате, кто в селе. Даже ипдюка Олексы не видно, разомлел от тепла, забрался на насест...

«Я им перед праздником праздник справлю...»

Обеспокоенный Пригода торопливо вошел на подворье Жураков:

— Пошли, Данило, сахар сеять детям и внукам, которых ни у тебя, ни у меня не имеется... Зато у людей есть. Иван нас на тракторе ждет. Огородами идем, так побыстрее выйдет... — Там, где кончалась живая ограда, вынул трубку, но не закурил. И вообще вел себя как-то странно, словно принюхивался к воздуху: — Знаешь, даже индюк спрятался... Чувствует, видно... Как бы Ганька Башовская, часом, не перехватила по дороге... Неважный тогда праздничек получится! Гляди... Гляди... Что говорил? И удирать поздно — вон уже увидала нас из засады... Теперь не уйдем, перехватит... А надолго в стычку встревать — пропадай сев... Может, попробуем повернуть оглобли, а?

— Идем, вуйко, куда направлялись.

— Ох, не знаешь ты еще Ганьки, ни перед светлым праздником, ни на Михайлу...

За три-четыре шага в сторону от бывшей межи Жураков, которую Данило помнил с детства, на их же огороде Башовская лопатой швыряла землю. Вдоль грядок зиял свежевырытый ров. Переступив его, Данило взял левее, на несуществующую памятную межу. Пригода ссутулился, пригнулся и примера с друга не взял: забирать стал от Ганьки правее...

Небо безоблачно. Грома с молнией ждать неоткуда... Но не вверху, внизу, на грешной земле, сверкает, гремит, и неведомая сила, выбросив Ганьку изо рва, ставит перед Жураком:

— Хитренькие нашлись! Хватит своими пожищами наш огород топтать. Было тут, есть и будет Башовской! Мне держава дала, пока кто-то в кустах подыхал... Ты что, ко всем бедам еще и слепой?!

— По своему огороду иду, женщина.

— По какому? Чтоб ты так до смерти вокруг света ходил...

— Ходил, ходил... Свет широкий. Весь лопатой под себя не подгребешь....

На Данилу уставились злобные, прищуренные, бесцветные глаза: даже слова в горле застряли.

Заслонившись рукой будто от удара, Ганька изобразила, что убегает. Мгновение — и чертом выскочила из-за куста бузины:

— Наесться не можешь? Людской кровушки мало? Кончилось ваше хозяйство! На, жри... Свою газетку... — и делает молниеносное движение, хорошо знакомое опытному Пригоде, что кидается наперерез — прикрыть собой друга. Поздно.

— На, ешь! С маслом! Поэт несчастный... Поэт несчастный! — соединила наконец два слова в один заряд, и с каждым выкриком в грудь Данилы летят комья земли.

Последние удары успевает принять на себя Пригода, человек привыкший и потому невозмутимый, а Ганька, выбившись из сил, валится у рва, продолжая, впрочем, и дальше подгребать под себя землю Жураков...

А над селом — спиие дымки, пахнет хлебом и самодельным пивом: дед Гринчук процеживает его через холстинку у своей хаты. Ко всему этому, давнему, привычному, примешивается незнакомый запах разогретого металла — трактора Ивана Пидвезеного.

Ехать в таком виде через все село не было охоты, и Олекса сказал Ивану, что пройдутся пешком. Захотелось ему, видите ли, убедиться, у кого ноги резвее: у машины или у человека...

К полю приблизились почти одновременно. Пригода, увидев это, последние метры пробежал, и к финишу — возу и деду Русину на нем — прибыл первым. Навстречу им шел Довбеняк с плетеной корзинкой в руках.

Пидвезеный разворачивал трактор. Русин — свой воз. И старался изо всех сил так же молодецки маневрировать им, как Иван — трактором.

Ездил дед за семенами сахарной свеклы аж на стан-

цию Крутеж и трясся двадцать верст на тугих мешках, что свалили сейчас на подсохшую пашню. Пока хлопотал возле них, нарассказывал встречающим всякой всячины:

— Насмотрелся там, люди добрые, на чудеса... Оттого обратно с песнями ехал. Слышите — охрип. Через села проезжал — молодицы за ворота выбегали: думали, горшками торгую... А в панские лихие времена назад частенько со слезами ворочался... Потому — когда ни приезжал на станцию, все видел, как грабили наш край... А сейчас всю дорогу пел! Украшает Советская власть родную землю... Видел я, как пришел утречком товарняк из Харькова. Длинный такой, как Нарай. И полнехонький: чего только в тех вагонах не было... А с последнего комбайн сняли. Тут со своего поля летчики набежали, давай красного коня бензином поить. Хватило ему шести ведер да еще на зажигалку головы из Бовшева осталось... Помните кудрявого Гриця, что к нам в клуб на танцы ходил и в техшколе учился? Так это он и есть. Стал теперь и головой, и комбайнером. Не то что Цебрик... Ну, значит, прикурил Гриць папироску, спрятал зажигалку, полез под небеса на свой комбайн — и будь здоров, дед Матвей... А еще видел я масло для нашего поля, его аж с Ленинограда сюда везли. Гору насыпали, как пол-Скалы будет... Чьи-то ребятишки баловались — с той горы на санках спускались... Добро это такое — вроде мука в комьях. В руки возьмешь — холодное, твердое. А кинь в свежевспаханную борозду — серая земля черной, как уголь, станет. И жирной — сама просить будет, как девка на выданье, — засевай меня, засевай... Ну что еще? Ага, там два молоденьких летчика поезда ждали, по клетчатой досточке фигурки взад-вперед двигали. У которого больше с доски скинули, огорчился и стал со мной разговаривать. Спросил, откуда я такой, значит, регинальный дед и имеются ли в нашем селе такие же регинальные девчата? Ну, то есть, обратно же, симпатичные. Как сказал я им кое-что про скомороховских девчат —

сразу кинули свою игру и тут же напросились воз нагру-
зить. Так старались, что островскому колхозу восьми
мешков семян недостало... Подсадили, конечно, наверх,
пообещали на прощанье: «Приедем, дед, в Скоморохи на
«Чайке» — так наши самолеты зовут...» Пришлось с вер-
хотуры обратно слезать и новым кнутовищем наше паст-
бище рисовать. Разъяснили точно: лучше всего там са-
диться...

— А с тех вышасов, вуйко Матвей, рукой подать и до внучки вашей — Гапуси... — под общий смех подвел итог Пригода. И, забрав у Довбеняка корзинку, зашагал к возу: — За мной, хлопцы! Доска на возу не хуже свадебного стола...

— Нюх, конечно, у вуйко Олексы завидный... — улыбнулся Пилип. — Байда тоже обещал быть, да укатил в район — служба... Итак, друзья, приступаем к севу! Но перед началом отпразднуем этот день. Заодно и вас, Данило, поздравим с добрым дебютом на родной, вольной Отчизне. Прошу, выпьем по-братски из одной чарки и закусим чем бог, как говорится, послал...

Дорогое, городское вино наливал каждому Довбеняк через край: пусть прольется на своем поле. Стал приподнято, весело разъяснять товарищам: когда совершит человек что-то впервые, ну конечно, важное, значительное — это и есть дебют... И вытянул из корзинки газету.

Руки Данилы дрогнули от неожиданности, и недопитая чарка упала на пашню. Он нагнулся.

— Не надо, Данило. Пусть растет... На каждого по чарке уродит. Эта земля такая... Уж я знаю... — гордо сказал Русин.

Снова заговорил Довбеняк:

— Все мы тут свои. Одна семья. Это касается и вас, Журак. Не во всем мы приходили к согласию. Но сейчас согласитесь со мной. С этого же вечера вам необходимо почевать в технической школе. Стены там капитальные... И хлопцы-молодцы из самообороны. Чтобы газета и дальше могла писать: «Продолжение следует» — вам необхо-

дим ночью свет. А дома он и кому не надо светить будет... С директором мы уже договорились. Харчи, освещение и маленькая комнатка на втором этаже — бесплатно. Вас зачислили почетным курсантом. Такие времена... Ваш красочный, мужественный язык, ваш стиль и глубокий подтекст говорят о большом таланте... И его нужно беречь. Сегодня побудьте с людьми, сейте с Иваном, наговоритесь, подумаете... А в следующие дни я буду работать в колхозе вместо вас. Ваше дело — писать! И отказываться не имеете права: это совместное решение нашего правления и дирекции технической школы...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Под сияющей полдневной чашей неба в тенистом уголке пасеки старого Гринчука, защищенной прохладной зеленью могучих лип, уселся на низенький стульчик светловолосый юноша. Стоящий за ним паренек с чубом не менее пышным, но смуглый, с темными, будто цыганскими глазами поднял над головой товарища какой-то блестящий предмет...

Впрочем, история эта, как и множество других, началась не сегодня... Стась Гринчук-старший, дед черноволосого, кого бы ни увидел возле своей пасеки, тут же приглашал в курень и, усадив за стол, потчевал кружкой янтарного меда, зачерпнутого из пузатой кадки. На дубовой ее крышке увеличительное стекло, солнце и руки Гринчука запечатлели трагическое событие: «Липовый. Месяца восьмого, дня первого. Года 1914-го. С братьями Грицем, Михайлой, Иваном на войну идучи...» После того как долблепая кружка с медным обручиком опустошалась в третий раз и гость хватался за шапку — четвертьвековой нектар делает человека непоседливым, — именно в эту минуту дед опускал незаметно в карман уходящего еще теплую бутылочку свежего меда для внуков. И, кланяясь на прощанье, словно напутствовал перед дальней дорогой:

— Большевики из-за Збруча, из степей своих не только хлеборобу, но и всякой полезной твари свободу принесли...

Слово «свобода» старик употреблял ежедневно, как хлеб и воду. И не было случая, чтобы произнес его сидя или не сняв неизменный свой соломенный брыль.

В Скоморохах все от мала до велика наслышаны были о странностях деда. И когда, бывало, видели издалека на пасеке жилистую в белом фигуру Гринчука, приглядывались потихоньку (знали крутой нрав), не написано ли, часом, на казацкой его фигуре огнедышащими буквами заветное слово... Так что был дед для людей убедительным в те годы агитплакатом...

Святое слово в эту весну подтверждалось не раз. И тем, что самые бедные из односельчан, желая полнее почувствовать дареную им волю, объединились в колхоз. В ту самую артель, куда не из-за бедности, а во имя долгожданной свободы записался и он с внуками. А насчет «полезных тварей» — областная газета сообщила: в городках Западной Украины открыты лавочки, где за пчелиный воск можно будет выменять все необходимое для пасечника — от дымаря до листов вощины.

Чуть не половину жизни мечтал о таком... Собственно, не очень ему и требовалось все это оборудование — мало кто умел разложить тлеющий трут таким образом, что не только вся грозная воздушная флотилия из тридцати полков серых кавказских летуний становилась кроткой, как отара овец... Что божьи создания?! Сама Ганька Башовская, ближайшая соседушка, у которой неотвратимо наступал час очередных родов, а она с этим никак не соглашалась, даже эта фурия во время дедовой дымовой атаки словно добрела, обалдев, и, тихо чертыхаясь, пряталась в хате.

Но вощина, особенно в разгар такого на редкость щедрого лета, вкопец заинтриговала Гринчука. Хоть соседский пострел Иван Пидвезеный (золотые руки у парня!) и обещал деду смастерить аппарат для изготовления ис-

кусственной вощины, да с той поры, как записался в техническую школу, напрочь отбился от настоящего дела. Вместо важных и необходимых в хозяйстве вещей: возов, саней, серпов, мельниц-ветряков — начал Иван мастерить бог знает какпе-то, как говорил, модели аэропланов... Словом, вернулся взрослый парень к детским забавам... И теперь, размышляя о молодежи, о свадьбе внучки Катерины, мучился старик никому не ведомыми, потаенными сомнениями...

А лето не ждало... На липах, что украшали село, а в особенности так называемый Гринчуков овраг, набухали крылатые зонтички — завязи близкого цветения. Подходила медовая жатва. И дед послал Стася в Рогачин — обменять воск на искусственную вощину. Как говорили люди, такую операцию можно было совершить и поближе, но старик только поглаживал сухими тонкими пальцами белую бороду и, выслушав советчиков, приводил удивительный довод:

— Тоже так думаю... Один ум хорошо — два лучше... К-хе... К-хе... Так советуете в Крутеже? А не скажете, разве там выходит районная газета?

Не каждого мог убедить такой тонкий аргумент в пользу места обмена. Тогда, смущенный человеческой непонятливостью, дед добродушно полуобнимал собеседника, снисходительно добавлял:

— Не жалеют времени добрые люди, все заботятся о моем воске... К-хе... К-хе... Удивительно оно даже... Так много думают... Эге, и так бывает: есть чем думать, да не о чем, а то есть об чем, да нечем...

Только Стась-младший понимал старика: «Далеко, да легко, а близко, да склизко...» И без лишних слов отправился в Рогачин. Пешком, потому как отцы и деды приучали с детства своих наследников мерить землю босыми ногами...

В то время, когда он шагал по улочкам старинного городка, а дед думал о нем дома, загляпул на подворье

Гринчука Михайло Байда. Шел к старой хате, но с пасеки гостя окликнули:

— Иди сюда, Михайло! Здесь в холодке и побеседуем...

Байда увидел праздничпо одетого старика и вспомнил сразу, как прошлым летом, увидев, что с пасеки вылетел рой, пришел к Гринчуку просить пчел: как раз смастерили с отцом парочку ладных ульев.

«Добро, Михась, — сказал тогда старый пасечник. — Дам тебе рой. Но не этот. Этот не в хорошем настроении...»

А через два дня позвал сам: «Иди-ка скорее. Кружат, разбойники. Твои будут, если, значится, соберем...»

Этот, видать, и вправду был в «хорошем настроении». Отряхнуть его удалось с великим трудом, по третьему заходу. Незащищенные руки Байды чугуном налились от пчелиных жал, пальцы опухли так, что трудно было поднять с лопухов брыль деда — накрыть рой... Звенело в ушах, кружилась голова.

«К-хе... К-хе... Теперь, Михась, неси добычу в свой погреб. Вечерком зайду. Ссыплем на новое жительство. В добрые руки попали, значит... Бывали, бывали у меня молодые пасечники: пчелка под носом прожужжит, а он на стену лезет. Я таких на Нарай гнал, в купель чтоб окунулись...»

Байда, вспомнив прошлогоднее испытание, невольно вздрогнул, но калитку пасеки открыл.

— По машинерию пришел, мед гнать, сынок?

— Нет, отец, — ответил в тон, — по другому делу: хлопоты служебные обсели не хуже того роя...

— Ага! Говори-говори... Добрые это хлопоты — служить свободе, — встав со скамьи, старик снял брыль. — Прошу на хозяйство. — Он ввел гостя в курень, где стоял ореховый стол и кадка, накрытая крышкой с памятной надписью.

Здесь царили сумерки, пахло чем-то полузабытым, родным... И Байда вдруг увидел себя в этом курене ре-

бенком. Давно — двадцать семь лет назад... Гудели пчелы, как и теперь, запах нектара, казалось, проникал в душу, а Гринчук, пристроившись возле кадки, выжигал увеличительным стеклом на дубовой крышке какие-то слова... По малолетству читать Михась не умел, не мог и уразуметь тот страх, что внезапно схватил мир в свои когти... Но непривычный запах паленого дуба, странное занятие и поза могучего вуйка-кудесника вселили в ребенка ужас, и, не помня себя, он бросился наутек... Стась не смог догнать его — мальчик исчез и сутки где-то пропадал... Так вместе с Гринчуком и ушел на войну отец, не попрощавшись с сыном...

Михась вернулся сам, и словно стало ему лет на пять больше. С тех пор и пошло — все считали Байду на несколько лет старше его возраста.

Гринчук молча наматывал прядь бороды на пальцы и, вспомнив, видно, то же, что и гость, сказал:

— Ты бы с Данилой мыслями поделился, а то я в своей летописи не думы записываю, а деяния... Говори, Михайло! О том, с чем пришел...

— Зайти к вам попросил товарищ Цымбалистый. Поручил справиться о здоровье и сказать, что в районе собирают совет колхозных старейшин. Надеемся, что умудренные, опытнейшие знатоки земли подскажут нам, как получше организовать жатву и обмолот. Василий Григорьевич рассчитывает на ваше согласие...

— Ох, Михайло! Чего спрашивать? Согласен, и все... А тебе сказать хочу: товарищ Цымбалистый половину жизни в панских тюрьмах провел. И не своим — его здоровьем интересоваться должен. Вот и хочу передать ему майского прошлогоднего меда и целебной травы для сердца.

— Многим, многим людям загубили жизнь и здоровье... Да, с сердцем у Василия Григорьевича неважно... Зато панство докопали! И хотели бы мы теперь продлить годы тем, кто отвоевал для родного края счастье и волю... Как хорошо, как славно и радостно, что растет у нас моло-

дежь, у которой будет и долгий век, и могучее сердце...

— И я радуюсь. Верю. Лишь бы...

— Что, дед?

— Лишь бы снова не полез на нас шваб, лишь бы не приключилось то...

Звонкий голос Зореславы донесся из-за ограды, перебив речь старика:

— Дед Стась! Где вы? А пчелы сегодня кусаются? Товарищ Байда здесь? Добрый день, Михайло Степанович! Передали по телефону, что вы с Пилипом Романовичем должны немедленно выехать в район...

Гринчук, попрощавшись с Байдой, загрустил. Подумал, что снова не договорился толком о лекарствах для райкомовского секретаря, что интересная беседа, не успев разгореться, погасла. А ему давненько хотелось поговорить с Михайлой о таком, о чем никому бы не заикнулся... И вот, возможность упущена! Достанется теперь на орехи скомороховской молодежи, а пуще всех непоседе Зореславе: чаще других отбивала она у деда собеседников...

Еле-еле успокоился только к вечеру. И, глядя на взошедший молодой месяц, задумался глубоко. О самом для себя главном: о несмышленыше внуке — ох много еще, много нужно вложить разной науки в парня! И мысли старика отправились в городок, куда зашагал на рассвете его любимец...

...Уже перевалило за полночь, уже давно спрятался за Скалу молодой месяц... Уже Олекса Пригода докуривал последнюю нынешнюю трубку и, дочитав очередную порцию приключений бравого солдата Швейка, гасил лампу... Он укладывался на сон грядущий, не подавая признаков обычной бессонницы, разве что мелькнет искорка из трубки, напомнив далекую зарницу...

Гринчук примостился на завалинке, опустив босые ревматические ноги в кучу песка, не остывшую от дневного зноя, дымил крепчайшим самосадом, спасаясь от мошкары, всматривался в тихий, безлюдный Бережан-

ский тракт, что обегал полукругом за воротами его двор...

Да, за всю долгую жизнь никого не любил старик так, как внука. И верил ему как себе... И сейчас знал: не будет парень околачиваться в городке, закончив дела, а, вернее всего, давно уже домотывает восьмидесятиверстный моток дороги, если, конечно, считать туда и обратно...

Не спалось. Минуло двое суток, как вылетели первые рои, и дед хотел бы, как только вернется Стась, при свете восковой свечки заложить в пустую раму вощину (если, конечно, найдется она в Рогачине), а на рассвете с помощью внука ссыпать пчел в улья.

— Пусть хозяйничают и соты на готовых советских фундаментах возводят. А то засиделись в подземелье... Как бы не задохнулись, — заворковал озабоченно дед. Кряхтя, поднялся и, припадая, заковылял по влажной от росы траве к амбару.

Открыл тяжелые дубовые двери подвала. Перехватило дыхание стылым холодом, запахом плесени, и старик почти подсознательно подумал, что вот подошли этим летом его года к меже, за которой начинается вечная тьма... И неведомый дотоле страх схватил его, стало жаль себя, безвозвратно ушедшей молодости, родных и друзей... Трудно примириться с мыслью, что придется навсегда оставить еще не оперившихся внуков-сирот, единственную утеху старости — пасеку, эти милые сердцу, привычные бессонные ночи, и захотелось тут же, в амбаре, зарыться в сено, чтобы спрятаться от пугающего дуновения небытия... Еще больше потянуло поглядеть на пчел, и он решительно распахнул двери.

Спускаясь в погреб, осторожно нащупывает ногами дощатые ступеньки, переводит дух и, замирая, сторожко вслушивается, прижав к соломенным кошелям-ровням левое ухо. Минуло уже деду три раза по двадцать пять, и на правое стал туговат... Пчелы гудят ровно. Не жалуются на холод и голод. Только озабоченно сообщают хозяину о своем непривычном безделье.

— Потерпите, миленькие, поспите еще немножечко; Стась уже не за горами... — И, почувствовав, что заискивает, смущенно покашлял, радуясь: никто не подслушал, пчелы в порядке... И заторопился, забрасывая неверную ногу, обратно на завалинку, досторожить ночь и не проворонить внука... Снова уселся у дороги, прислушиваясь к ее настороженному дыханию, и кажется ему: все, что перечувствовал, передумал там, в подвале, теперь она вбирала в себя... И, кроме ее пространства и где-то в нем — внука Стася, ничего больше во тьме ночи для деда нет.

— Вижу, не спите, кум. А чего не признаетесь? — Пригода распахнул форточку и посветил огоньком трубки на завалинку. — И мне не спится... А думал — все село давно на боковой...

— Нету сна, Олекса. Моему озорнику пора уже дома быть. Ночь глухая... А его не видно...

— Человек без происшествий не живет... — раздумчиво-успокоительно начал Пригода. — Вспомните, как на итальянском в такую вот темную тихую ночь ждал наш маршбатальон Илька Коруного... Он тогда второй уже день из разведки не являлся... Ну и послал меня капитан Яффе искать камрада...

— Старые про старое гуторят... — одобрил запевку Гринчук. Выхватил уголек из трубки собеседника, поджил в свою, погасшую, и потекла одна из тех грустных и забавных историй, что неспешным теченьем своим могут потушить, успокоить даже такое нетерпеливое ожидание...

А тот, кого ждали, разматывал последний километр бесконечного тракта. Все больше хотелось спать. Все чаще спотыкался, наступая на острые камни... Но думать про усталость, про сон нельзя. Не для дороги домашние мысли.

«Дома руки-ноги спят, а в пути и голова не дремлет...» — всплыла в разгоряченной голове давняя присказка деда.

При этом воспоминании невольно ускорил шаг, вытер

ладонью мокрый лоб и мысленно попросил у полей поддержки:

«Что скажу деду?»

И кажется Стасю — поле внимает равнодушно... Поле словно оглохло: не ответило и на предыдущий вопрос, такой трудный, такой волнующий... Не деда касался — Данилы Журака, Скоморохов. Всего света...

Жутко сейчас в поле. От тишины, от темноты, от тревоги и одиночества. Был бы кто рядом, пусть даже молчал бы... Или распекал, гадая, что случится завтра со Скоморохами, с белым светом и, главное, с их соседом, Данилой Жураком, когда отдаст ему в руки письмо неизвестного содержания? Но вокруг тихо. И снова думает Стась, что сделает дед, узнав про выменянную вещь. А она при приближении к дому так оттягивает карман штанов, будто положены там кирпичи... Ох, пускай взвалили бы ему на плечи всамделишный валун, кроме той тяжести, что несет соседу за пазухой! Пускай! Только слышались бы рядом чьи-нибудь шаги...

Вот и родное село. Когда миновал погост и хмурые его очертания растворились во тьме, Стась нырнул в прохладную. прибрежную тень Нарая. Усталость будто отлегла, но ненадолго.

Гринчук, притаившись за липой у ворот, застал внука врасплох:

— С пустыми руками пришел? Где воск? Где вощина? А я еще обрадовался, как заслышал шаги, хотел навстречу бежать, да опомнился, подумал — почудилось. Выходит, пропал воск, как пес на ярмарке... — В негодовании дед схватился за свой австрийский ремень.

Стась поспешно ткнул в руки старику принесенную вещь, но после всех волнений, размахиваний ремнем трудно было тому сосредоточиться и сообразить, что оно такое...

— Да я же давно твержу... За воск выменял машинку, чтоб чубы стригла...

Старик вернул ремень, побывавший в переделке, на

...режнее место, чиркнул зажигалкой и дрожащей от стадости рукой осветил блестящий предмет. Оглядел придирчиво, но спросил о другом:

— Там про Ольгу ничего не слышно?

— Не... слышно... — вздрогнул Стась.

Дед приложил холодное лезвие машинки к виску, прижал к губам, обнюхал и наконец примирительно произнес:

— Идем-ка, брат, спать...

И они — старший впереди, младший — следом, зашагали в амбар, где на общем ложе из прошлогоднего горного сена должны были улечься на покой...

Но сон не приходил. Внук переворачивался с боку на бок, прислушивался к дыханию деда, прижимал к груди шуршащий зеленый конверт, принесенный из Рогачина. Не спал и старый Гринчук...

«Во сне не доработаешь...» — прикрывал он в таких случаях шутливыми словами старый свой ревматизм, боль-раздумья о судьбах людских... А сейчас молчал.

И первым заговорил внук. Тихонько, доверительно:

— Простите меня. Завтра передохну, а в воскресенье соберусь снова. В Бережаны. Там, говорят, вощины полным-полно. И районная газета есть...

В ответ — ни слова.

Замолчал и Стась.

Но спрятанный на груди конверт и упорное молчание деда ускорили тот момент, когда скрывать дальше от всех свои чувства стало не под силу... В его жизни пробил час, когда пылкий порыв юной искренности поборол застенчивость и что-то еще, неназываемое... Нелегко рассказать деду... Кому-то другому — говорил бы почь напролет. Увлеченно, горячо. Но, чувствует это сердцем, — таким делятся только с одним человеком на свете. Самым близким. Самым добрым.

Кажется, вобрал в легкие весь воздух амбара, привстал и оглянулся в полутьме:

— Мне ведь скоро семнадцать. Слышите, дед?

И есть... Есть у меня аж в Курино... девушка... Не пойду туда, подстриженный австрийскими ножницами Русина, лесенкой... Не пойду, и все! Она из полтавских краев... учительница.

— Ишь чего захотел! А ты воевал за такое счастье? Ох, думается мне, дать хорошую девку в руки ветрогону, которому только-только семнадцать стукнет, то же самое, что доверить воск... Потому как он — лучшее создание бессловесной твари, а девка — высшее создание рода человеческого... Я тебе воск доверил, а какая мать свою дочь доверит? Эх, вот и стали видны нам дороги полтавские, а может, и сама славная Полтава! — вдруг распевно, торжественно проговорил дед. — Не понимаешь, значит, в какую историю втягиваешь себя, меня, Скоморохи, всю нашу Галицию... Знаешь ведь: братья из-за Збруча, Днепра, Волги шлют к нам не только шелка, вощину, золотую пшеницу и стальных коней, но и лучших своих сынов и дочерей... Они приходят учителями детей наших, лекарями-целителями душ и тел, замордованных лютым панством. Выходит, и в голову тебе, негодник, не пришло, что хочешь взять лучшую девку на свете, а на свадьбу такую обязаны мы позвать весь район, весь комсомол и всю достославную Полтавщину. Вот так! Понимаешь, парень, в какое великое братство открываем мы двери?! А ты такой еще нерассудительный, такой ребячливый... И потому все, о чем говорили,— пока только мечты... Разести тебе еще нужно! И Катерину должны за настоящего хлопца перед тобой выдать. А тогда уж веди и свою Наталку... — Он тяжело вздохнул и положил огрубевшую ладонь на лоб внука. И договорил дрогнувшим голосом: — Не страшись, дитя, что всего в жизни приходится долго ждать. Свет таков, что постареть или помолодеть сразу на десять лет можно и за один час... Мы об этом сегодня с Байдой рассуждали... Да жаль — не закончили. И разве знает кто наверняка, удастся ли договорить? Может, закончите вы, наследники... Ты ее любишь?

— Очень, дедусь...

— Говоришь, очень? Сказать мало... — Стась угадал и в темноте: дед наматывал на палец прядь бороды. И опять зазвучали душевные слова: — Любишь? Тогда мы уже не в силах ничего изменить... Ибо только любовь и свобода сделали народ достойным счастья... Отчего же не выложил сразу, что... полюбил? А она? Зовут-то хоть как? Наталка?

— Оленка, дед. Приезжала зимой в Скоморохи с концертом. Помните, тоненькая такая, белокурая? Пела еще: «Ой, я дивчина полтавка, а зовут меня Наталка...» Потом танцевать пригласил. А после пошли на звезды любоваться. Она, дед, обещала подождать. Пока... вырасту...

— К-хе... К-хе...

Что в этом покашливании: недовольство? Согласие? Стась не знает. Дрожит. Бледнеет. Слово деда — святой закон.

Тишина. Молчание. Только слышно, как гудят пчелы, изможденные духотой. И неожиданно в темноте веселый голос:

— Выходит, Стась, хоть под лавкой, да с полтавкой! — И дед рассмеялся молодо, раскатисто, будто сбросил с плеч тот десяток лет, о котором недавно вспоминал. Но смех тут же оборвался. В ночной темноте чеканно прозвучали слова, что, кажется, могли бы светить огненными стрелами, звучать далекими громами: — Быть по сему... Но слушай... Чтобы любил одну... И вечно. Род наш такой: однолюб...

Лишь когда отзвучал этот гром, Стась выдохнул воздух и осмелился пошевелиться, коснувшись онемевшими пальцами груди, где в плену тонкого конверта бились, изнемогая, слова Ольги. И, уставший от пережитого, упал на сено. Спешить некуда — Оленка далеко, а голос Ольги молил, глаза приказывали: отнести этот конверт только днем. И никому, кроме Данилы, о ней не говорить...

Внук и дед постепенно успокаивались. Старик по давней привычке плотнее натянул на внука рядно, тот нее прижался к нему. И оба заснули.

И приснились им сны. Юноша увидел любимую в белоснежной свадебной фате. Но вынырнула вдруг из тумана Ольга на челне и закричала, что Стась — ее, и стала тянуться, чтобы поцеловать... А деду привиделся зеленый лес и липы. Все в цвету. Золотистые все... В жемчужинах теплых рос. Но ичел на этом щедром цветении отчего-то не было...

...Утро вставало над селом звонкое и спозаранку знойное. Ни ветерка, ни тучки...

Поднявшись ото сна, старый Гринчук словно еще подобрел. Показалось ему: краснеет внук, сгорает от стыда за ночные свои излияния. И с глаз поторопился исчезнуть, сказав, что ждут неотложные дела в технической школе... Прикинулся дед непонимающим... А когда взволнованный, притихший Стась вернулся домой, старик собирался уходить. Направлялся со двора прямиком на выпасы и объяснил:

— Лозы нарежу. Правление уйму корзин на осень заказывает... — Лицо деда изменилось, опечалилось. Сказал удрученно: — Что на пасеке делается — ума не приложу... Ну прямо чуют пчелы беду. Огонь или, не приведи господь, чего пострашнее...

Пройдя несколько шагов, поборол тревогу, остановился. Поманил внука и тихо, как заговорщик, прошептал:

— Тот вчерашний ливорверт, боже спаси, никому не показывай! Все село прибежит, скажут: стриги да стриги... Слышь — никому!

Стась понимал отлично: дед лукавит. Именно из-за машинки хотел в воскресенье с утра собрать полную хату людей, задумав наверняка вместе с вуйком Пригодой какую-то хитрую штуку... Вот и опасался, как бы Стась не свел на нет его замыслы...

Но бес попутал, и Стась, не находя себе места после возвращения из технической школы, похвастался приобретением Ивану Пидвезеному. Тот зачастил к Гринчукам по нескольку раз на дню, не так, может, ради дружбы, как ради хорошенькой Катерины...

Только переступил порог — сразу бросилась в глаза Стасю нестриженая, растрепанная шевелюра друга.

— Знаю, умеешь держать язык за зубами... — начал издалека владелец машинки, нетерпеливо выслушав рассказ о только что полученном из Харькова новеньком тракторе. — Интересную вещь принес я из города. Давай подстригу. Скоро воскресенье...

Деликатная вещь подействовала на Ивана странно... Сначала стал сокрушаться: как это до сих пор не догадался смастерить такую... Потом, махнув рукой, молча взял стульчик и в сопровождении Стася с машинкой, старыми ножницами и роговым гребешком в руках направился к пасеке. Нашел там место в тени под вековыми липами и уселся с таким выражением лица, словно должен был лечь на операционный стол, под нож... А монотонный, ровный гул ульев действовал как наркоз...

В начале сражения за красоту возможного зятя Стасю стало страшно. Не получалось, и все...

Иван фальшиво подсмеивался:

— Прежде бы на козе Башовской попрактиковался: там шерсть поровнее...

Но «парикмахер» не сдавался. То застывал возле «клиента», то приседал на землю и тут же вскакивал, отбегая к ограде и рассматривая свои труды издали. Пот заливал глаза. Приходилось бегать на криницу за водой. Пил прямо из ведра. И чуть-чуть приходил в себя.

Постепенно голова Ивана делалась все аккуратнее и, как выразился Стась, сможет теперь кое-кому понравиться... И вправду, голова эта, подстриженная, расчесанная, достойно венчала бронзовую от солнца и ветра шею, могучие плечи...

Стась последний раз провел гребешком, смел волосинки пером аиста, которым так умело орудовал дед в ульях.

— Еще бы побрызгать пахучей водой... Сбегай к нашей стрекотухе Катерине...

При помощи двух зеркал, что притащил на пасеку Стась, Иван полюбовался на свою прическу и от удовольствия даже сощурился...

— Стригу и стригу всех... А меня кто? Опять дед Русин? — огорчился Стась, и его цыганские глаза стали еще темнее.

— Садись, друг! Я одним махом...

Гринчук-младший быстро понял: на голове творится что-то неладное. Большущая прядь волос уже упала на плечи, на макушке стало пусто и легко, а Иван все подравнивал и подстригал... Холодный металл уже несколько раз коснулся оголившейся кожи...

Слишком это была простая работа для Пидвезеного — требовалось ее усложнить... Да, кроме всего, витал сегодня над юношей веселый дух легкомыслия. С чем бы он, бывало, ни бился, всегда все имело добрый конец...

— Хорошая машинерия, — смеялись глаза Ивана, — клекочет ну чисто как аист. Видать, настоящая сталь.

Стась не выдержал. Подбежал к зеркалу и ахнул: волос на голове почти не осталось.

— Что наделал! Ни на люди показаться, ни самому посмотреть... Мне же послезавтра в Бережаны идти... Мне же нужно... — Расстроенный Стась изо всех сил старался сделать бодрый вид. И добавил полушутя: — На месте деда я бы за такого ни в жизнь Катерины не отдал... Не помешало бы теперь тебе пойти на курсы к Ганькиной бодливой козе...

Смущенный Иван молча положил машинку и поплелся на улицу.

Но Стасю было уже не до него. Глянув вверх, забыл обо всем. Высоко над пасекой кружили темным облаком рои, все больше забирая в сторону...

И вдруг с ветвистой яблони, куда забрался с роевней в руках, чтобы поймать пчел, увидел Журака. Было душно и тихо, но он, шагая по пастбищу напрямик, кло-

нился к высокой траве, словно толкал его в спину ураганный ветер. Стась похолодел — таким Данилу и представить не мог... Вспомнил Рогачин, Ольгу...

«Видишь, как долго, как тяжко идут люди к своей любви и все не могут прийти... И тебе предстоит то же: долго и тяжко... Увидишь сам...» — словно швырял кто-то острыми камнями в сердце.

Стась, с трудом отмахиваясь, подставил под черную бороду роя кошелку. Встряхнул. Свирепо, как никогда, жалили пчелы, даже сквозь плотную холщовую сорочку... А острые камни слов про трудную дорогу жизни продолжали падать на самое дно души...

Вот и повзрослел Стась Гринчук-младший.

Парило. И где-то вдали гремело...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Лето застало Данилу Журака в массивных стенах бывшего папского фольварка. Дни и ночи сменяли друг друга незаметно. Казалось, не сутки за сутками, а незаметно пролетел час, другой...

Писал неотрывно. Все слилось, как в стремительном беге реки: горе и счастье, бои и затишье, годы и мгновения — ложились на бумагу строки и, увлекаемые течением через перекаты и пороги, падая и взлетая, многоцветной радугой тянулись к солнцу...

Когда отрывался от написанного, чтобы передохнуть, любовался из окна на поле, которое засеял. Приняла родная земля его труды: взошли красными стрелками яровые, потом зазеленели, а выбросив звонкие усатые колосья, стали седыми. Зацвела гречиха на краю поля, и, наглядевшись на благоуханное белоснежное раздолье, Данило возвращался к белым листам, снова доверяя им то, что мысленно считал единственно подлинным, далеким от суетности...

И, берясь за перо, чувствовал: написанное — тоже

его труд на родной ниве. Посев этот щедро колосился, сгибаясь до земли тяжким литым колосом... И с каждой вышедшей в свет страницей приобретал Журак все больше искренних сторонников, все больше заклятых врагов...

Село бурлило, разделялось на лагери.

А он продолжал писать. Будто снова пришло к нему то душевное движение, тот неукротимый порыв, с которыми водил когда-то в атаку бойцов.

Но теперь, во время коротких привалов-снов, отчего-то виделось одно и то же: бежит к нему Ольга, в руках у нее венок. И тут же исчезает, а на седых усатых колосьях качаются веточки мяты, голубоглазого барвинка — обрывки венка. Поле седеет на глазах, и он, Данило, тоже... Появляется откуда-то Башовская. Кричит злобно, с издевкой: «Поэт несчастный!»

Просыпался. Зажигал лампу. Принимался за работу. Но что-то которую ночь мешало... Не писалось. И хотелось плакать над нетронутым, пустым листом бумаги.

Зачем, зачем приходят такие дни, когда страшно обмолвиться неудачным словом?! Так ничего и не написав, вскакивал со стула и начинал мерить шагами просторную, с голыми выбеленными стенами комнату. Ответа на вопрос не было. Будто исподтишка подкрадывался к столу, хватал стопку исписанных листов и, прижав к груди, снова до изнеможения шагал с этой ношей...

«А если все плохо, все никуда не годится?!» От таких мыслей бил озноб. Не от жалости к потерянному времени. От жалости, от страха за что-то иное...

За что же? За что?

«Остановись, Данило. А вдруг все твои писания лишь стрельба по огородным пугалам?! Кого сразил ты? Кого победил? Башовскую? А тех, кто поднял руку на тебя, тех, кто готов занести руку на весь народ?! В них ты попал?! Может быть... Но как? Кого уложил насмерть? Поздно... Теперь слишком поздно... Опоздание равносильно поражению... А почему говоришь о нем? Дога-

даться нетрудно. Вспомни: что обещал своим врагам, когда сделал первые шаги к родному селу? С одним из убийц даже столкнулся... И разве не он, дрожа как осиновый лист, нашел твою ахиллесову пяту — твою гордыню? И ты стал действовать вопреки обещанному. Ты замыслил другую расплату, расплату народа... И в этой борьбе кое-чего достиг... Изрядно досадил, нагнал, может, и настоящего страха. Но их карабины наизготовке...»

Падал грудью на рукопись и словно слышал: отзывается она глухим биением на бешеный стук его сердца...

«Это кровушка моя, кровиночка... Мой первенец. И мы уничтожим врагов не личной борьбой, не личной местью...»

Становилось чуть легче. Снова начинал шагать. Все быстрее и быстрее... И опять приходили строки, которыми он, не сомневаясь, не колеблясь, заполнял ставшие послушными страницы.

И торопились дни за днями, ночи за ночами...

Как-то пришла мать, совсем состарившаяся, на себя непохожая... Принесла взвару, свежего хлеба. Постояла молча... В глазах немая мольба, горестные думы:

«Паном стал сын, ничего не скажешь... А село как на огне кипит, бурлит... Мол, рехнулся сыночек Жураков, разума лишился. Уже не посадишь на косилку, как весной на сеялку... Заперли в панском фольварке, аж в башне. Окно дубовой доской забили, как есть гроб... И болтают люди — что-то он там будто в газету царапает. Не разбери-поймешь. Ерундой занимается, вот как паны раньше, от безделья... И еще говорят: до того, значит, дописались Жураки, что, стыдно сказать, штанов не имеют, на люди показаться, в церковь пойти... А зима придет, еще веселее будет... Вот и думаю: «Зачем, зачем, когда на свет появился, положили тебе в руки книжку?!»

Все прочел Данило в глазах матери. Погладил молча

худенькую руку и потемнел лицом еще сильнее. Когда остался один, сорвал ставни с петель, швырнул вниз, на каменные плиты... И стал отсчитывать почные свои километры при открытом окне.

За полночь, когда присел к столу, чтобы записать несколько слов, сверкнул над головой не уловимый взором мотылек, рухнул кусок штукатурки, и что-то грохнуло.

В комнату вбежали курсанты. Вошел поспешно директор. Данило по-прежнему не верил в покушение — ему показали пулю, только что вынутую из стены. Высчитали даже, откуда стреляли: с крыши или с дерева, с близкого расстояния — траектория полета пули снижалась...

Утром, после ночного происшествия, пришел к Даниле Стась Гринчук.

— Как дед себя чувствует? Как соседи?

— Не жалуется, слава богу... А Ганька Башовская ни свет ни заря спинки у кур перекрашивает: белые на красные... Вуйко Пригода говорит: будут новости, да жаль, наверняка поганые...

Данило внимательно смотрел на раннего гостя.

«Не про Башовскую же пришел рассказывать... Может, с мамой что приключилось?.. Может, дед прислал? Мается чего-то хлопец...»

А Стась в это время думал о другом. Перед его глазами как наяву продолжала стоять Ольга... Ох как давно это было: увидела барышня-гимназистка в запущенном поповском саду мальчика, обняла, прижала к себе: «Братик ты мой, круглые мы с тобой сироты...»

И эти годы, таясь от всех, называл Ольгу сестрой. А когда вышла она за Семена, влюбился в замужнюю, трепетно, потаенно, как бывает с четырнадцатилетними... При случайных нечастых встречах — пылал, цепенел, старался поскорее сгинуть с глаз. Ольга, видно, почувствовала: глядела на Стася, словно вот-вот хотела сказать что-то важное, но тут же отворачивалась.

Зажженный сю пожар полгода назад стал угасать. Приглянулась хлопцу Оленка-полтавчаночка, учительница из-под Бережан, что приезжала в Скоморохи с концертом. И ему казалось: всерьез полюбил эту малознакомую девушку из чужого села, не замечая, что многие черты юной избранницы напоминали Ольгу...

И вот пришел час, когда Стась распрощался навеки со своей первой любовью, со своими полудетскими мечтами и робкими желаниями. Теперь знал твердо: где бы ни была Ольга, чьей бы ни стала, уже никогда не подойдет к нему так, как этой ночью, не обожжет своим огнем... Как чувствовал дрожь ее горячего тела, как вслушивался в пылкие, не до конца понятные слова. И как жалел и себя, и Данилу, и ее саму... И ведь ни строки не прочитал в том письме, хоть конверт и не был заклеен... Но почуял сердцем: тяжелый груз несет Жураку.

— Передать вам должен... Важное... Здесь можно?.. Ночью... Дед за вощиной посылал... А я встретил там... вашу... Цизорика... Ольгу и...

Стась сунул руку во внутренний карман, что над сердцем.

Данило ценой неимоверного усилия сдержался, ждал... Но парень словно забыл про него — замолчал надолго. Не выдержав, Журак сорвался с места:

— Голубчик... Стась, говори же...

— Что... го-во-ри?

— Жива? — спросил на одном дыхании.

— Жива. И такая, как была в гимпазии... — Хлопец добыл наконец из-за пазухи смятый зеленый конверт, протянул:

— Вам. От нее.

Данило отчего-то посмотрел на незапечатанный конверт на свет, зачем-то осторожно надорвал край и достал зеленоватый листок бумаги, сложенный вчетверо. Быстро пробежал глазами неровные строчки и принялся читать сначала.

Молча пожав ему руку, Стась вышел. Данило остал-

ся наедине с листком цвета травы. А на нем рукой Ольги было написано:

«В ту ночь я послушалась тебя. Шла к вашему дому. Но судьба не захотела. Как цепной пес, судьба сторожила твое счастье... Ведь если бы дошла, разве остался бы ты среди... (Две с половиной строки густо зачеркнуты.) Может, счастье твое, что схватила меня та орда, от которой защищал людей, а меня, — о боже! — не защитил... Знаешь сам, какое их рабство... И знаешь, что могут сделать с женщиной, с ее телом... с ее душой. Это конец, любимый. Нет больше Олюськи. Не уберегла себя. Хоть и на свободе... Но чем оплаченной! Пустота, вымороченный дом... Найди другую, чистую — пусть родит сына... Только добра желаю... (Зачеркнуты две строки.) Пойду в район, к советским властям... Натерпелись вы из-за меня. Видишь же — никогда ни крохи счастья не принесла. Теперь всем будет хорошо. Остерегайся орды... Я должна была бы проклинать весь белый свет, но все-таки... но все-таки... не проклинаю...»

Подписи не было.

Все вокруг — зеленым-зелено... Такого никогда не было. И не осталось сил, чтобы думать о случившемся, о сегодняшнем дне. Только вспомнилось отчего-то давно прошедшее...

Этот мир зеленый. А бывал черный. Кроваво-красный бывал...

Когда впервые все стало черным — закричал. Но голоса своего не услышал — люди на возу услыхали. Тут появилось что-то шаткое, темное... Было легко, было тяжко... И вся темень окружающего понеслась в одном с ним направлении... Пока не ступил на берег Испании. А черная тьма — это смерть, которой множество раз не поддался...

Сколько же раз поборол ее? И который был самым безнадежным? Вроде бы предпоследний. Но вспомнился первый, ибо ничто первое в жизни не забывается...

Да, еще лежали руки Ольги на его плечах. И ударило острым между ладоней... И они исчезли. Только пряно запахла земля молодой полынью.

Убийцы, уверенные, что и эта смерть сойдет им легко, волокли его за ноги по молодой траве. Но этого, собственно, уже не помнил.

Другое навсегда запомнилось: не по лесной дороге — по нему, одеревеневшему, катился, постукивая, воз, а люди на возу разговаривали, напевали... И он, как вспоминал потом, закричал, вложив в этот крик последнюю искорку жизни. И больше от той ночи ничего в сознании не осталось. Разве что-то крошечное из ее продолжения...

Однажды утром проснулся после бесконечного сна. С высокой чужой постели, отчего-то не решаясь приподнять голову от подушки, увидел сквозь маленькое окошко напротив — кусочек знойного неба и пышную темную зелень незнакомого сада. И понял: ранняя его, пасхальная весна давно минула...

С горьким сознанием безвозвратно утраченных дней он, ощутив себя почти невесомым, сделал движение, чтобы встать и осмотреться. Но плечи пронзила нестерпимая боль, и, не удержав стона, Данило упал на подушку.

Через минуту тихо открылась дверь, и вошел коренастый человек с лицом совсем не крестьянским и все-таки очень похожий на родного отца.

— Слава богу! Вот мы ее и одолели! — произнес в полный голос, но тут же шепнул, как заговорщик: — Не думайте, что утешаю. В ранах и в травах кое-что понимаю, да и, кроме того, дважды привозил доктора, что умеет молчать, как могила. Разрешите узнать имя?

— Данило, — ответил и не узнал своего голоса.

— Так я и думал... Буду называть на «ты». Дай слово, что будешь лежать тихо. Данило, говоришь? Далеченько же ты на нашем возу заехал... Но и сюда слух дошел: плачут там по тебе. Но что жив — никому не дал

знать. Сын мой, Иван, подал голос после такого... Теперь кровью умывается в Луцкой тюрьме... Знаю, знаю, чего за тобой охотились! Молчи... Молчи... А понимаю, хочешь знать, как аж за Днестром очутился? Крика твоего я ведь мог и не услышать... Много сейчас тугих на оба уха. Но мой сын, — сказал уже, где он, — мой Иван мог, как ты, в эту же минуту кричать в руках своих мучителей... И его мог не услышать белый свет... Когда мы с шурином поспешили на стоны, возле тебя уже никого не было. Бежали, видно. И мы с тобой на возу бежали. Погони боялись...

Ой, парень, лежишь, не знаешь, ой, не знаешь! Все дальше расползается фашизм по миру... Теперь — в Испании. Только что заговор злодеев попытался ее взорвать... Тяжко земле от кровавого града. Вся планета содрогается от ледяного вихря. Но человечество не стоит в стороне. Лучшие сыны всех стран готовы встать на защиту. Грудью, сердцем прикрыть... И мы...

Только после этих слов Данило окончательно пришел в себя. И уже не видел, не слышал человека, похожего на родного отца. Как ни странно, не вспомнились ему в эту минуту ни родители, ни убийцы — в мыслях его была Ольга, была Испания...

«Сдержала Оля слово... Привела нам цуцика!» — И снова укрыла его ночь.

А в висках, в израненном теле билось, пульсировало:

«Предательство? Олюська предала? Нет, не могло это случиться. Не могло... А если... Если на это решилась даже моя Олюська... Тогда, значит, пролетит над нашим краем всего десять-двадцать пасхальных ночей, и не останется никого, кто не заслужил бы имени — предатель! Неправда, неправда... Не из-за Ольги они... А за то, что с каждым приездом в село становился я поперек их проклятой оуновской дороги...»

— К черту университет! Мы не одолеем их здесь университетами... Мы начнем их крепко бить с другого конца света... В Испанию! Да, в Испанию! — закричал

как в горячке. И эта идея, неожиданно запавшая в душу, сделала чудо. Через два месяца Данило стал на ноги, еще через месяц сердечно прощался с одиноким сельским учителем, спасшим ему жизнь. Как родного отца, обнимал старика, встревоженного и обрадованного внезапным известием: сын с товарищем бежали из Луцкой тюрьмы и, передал верный человек, держат они путь в Испанию...

После такого сообщения можно было каждую минуту ожидать появления жандармов, которые, наверное, уже находились неподалеку в засаде. Еще кружилась голова, подгибались от слабости ноги, но больше задерживаться в этом доме не имел права. Обнялись еще раз, и Данило обещал найти Ивана, а учитель — тайно известить Жураков, что сын их жив.

И никто не мог предвидеть, что ни тому, ни другому обещанию не суждено исполниться... Иван сложил голову в Испании еще до приезда туда Данилы, а учителя через день после его ухода жандармы бросили в тюрьму, откуда старик не вернулся...

И отправился тогда Журак не на восток, к родному дому, не на север — в университет, а на запад... Думал ли в то время о родных, о любимой? Думал. Мучительно думал. Но не мог, не имел права прийти к ним: дал клятву себе и своему спасителю, а потом повторил ее товарищам у костра в далекой Испании — не возвращаться в отчий дом без победы...

Задыхаясь в отчаянии, вытирая предательские слезы, так и не оглянулся на дым родного очага... Длинными торными дорогами пошел вместе с такими же, как сам, на край света...

Весь путь туда был черным...

А когда стал красным? Первая для него война с фашизмом. И возвращение в родной край — все красное... Сколько же било в него этим кроваво-красным, сколько же раз уходила из тела жизнь?! И не ушла. Всегда, даже в полной опустошенности оставался маленький, тоже

красный, живчик, что вырастал в большого Данилу. И понял: красное — это жизнь, это его знамя...

И вот: зеленым-зелено... И нет пуль. И ножа нет. Не кровоточат раны. Все — в душе...

Строились на зарядку курсанты. Ребята знали о ночном покушении. И тревожно вглядывались в лицо Данилы, тихо здоровались:

— Добрый день! Добрый день! Добрый день!

Журак взмахивал рукой с зажатым конвертом и впервые отвечал не по-местному:

— Салюд! Салюд! Салюд! — Все вокруг полыхало зеленым.

«Ха-ха-ха! — смеялся певесело странный этот огонь. — Я управляю собой, как и ты, Данило... Только судьбы людские мне неподвластны. Хочешь — слушай, хочешь — нет... Но поверь — ты пройдешь через меня. Чтобы прийти к своему творчеству, к своей любви, к своему сыну... Не жалуйся на силы — их еще хватит. Идем! Дай мне руку... сердце... разум...»

Данило поспешил обратно, в комнату. Глаза отметили висящее на стене ружье, подаренное Довбеняком. За все время так и не прикоснулся к нему...

Зеленый пламень плясал в воздухе, на стене, на ружье...

«Ха-ха-ха! Ты привел меня к этой игрушке?! Какой в ней толк? Тебе бы сейчас хоть роту ребят да парочку пушек...»

«Роту ребят? Пару пушек? Ох, все еще будет... Но ведь, появившись на свет, я с книжкой в руках шел к родной земле...»

«Ну это лишнее... А насчет земли — правда. Именно из-за земли, к которой ты вернулся, — все и начнется... Народ твой не нужен фашистам... Они хотят превратить его в перегной... Все будет из-за нее, дорогой. И ты не больно догадлив... Я зеленый дух земли. Жизнь, смерть, любовь — все от меня во веки веков и навсегда...»

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Высоко-высоко, на самой скомороховской круче, над обрывом высился шестую сотню лет могучий одинокий дуб. И, ощутив глубокую свою старость, с горьким достоинством готовился встретить ту, последнюю, весну, когда больше не заструятся по жилам соки земли и в один недобрый рассвет оцепенеет он, застынет, умрет... Поднимутся тогда сюда люди и поработают на круче дня два-три. Придется повозиться: склонился дуб к самому обрыву. Да, если бы только это! Стоит под деревом творение рук человеческих из светлого днестровского камня. В память отмены крепостного права поставлено, называют его в народе Фигура.

Неминуемое дуб принимал спокойно, молчаливо. Но черная весть ударила в могучую грудь: не суждено умереть стоя, своей смертью — будут валить его живым... Савр Цебрик с саженью в руках, злобно поглядывая с высоты на село, суетился, топтался по траве и втолковывал человеку с квадратным лицом:

— От дерева до Фигуры — ровно три. Как раз кривой сук по башке саданет... Вам, Зиновий Милькович, нечего и говорить: ученая голова за трех неученых думает. А я молотом бить хотел. Лишние сутки потратил бы...

— И дуб остался бы. А весь смысл, друже, в том, чтобы ударить по чувствам людей внезапно и решительно. И сегодня же! Завтра будет поздно.

Но сказанного Савру мало:

— Фигура-то саданет... А в Журака недорезанного?

— Не сомневайтесь — тоже. Мокрое место останется. Если обещал — будьте спокойны. В наших верхах хорошо рассчитывают. А здесь нам дано задание: сварить. И все. Что из этого выйдет — солдаты не рассуждают...

— Да-а-а, бумага-то наша, с печатью, тоже не угодила в Журака, — бубнит свое Цебрик.

— Отчего? Жизнь ему, будьте уверены, сократила. Вон засел в фольварке, как хорь, все село над недобитым смеется...

Зашелестели листья, пожаловались вольному ветру: «Под корень свалить хотят, пигмеи... Подло, бесчестно: чтобы, рухнув, уничтожил память человеческую. И бросят, как падаль, в пропасть... Не вытешет из меня рука мастера ни колыбели, ни гроба...

А я ведь помню, как все начиналось. В первую годовщину, как отменили барщину, сошлись люди здесь, на круче. Решили сообща: «Раз ставят по селам памятные знаки такому событию — значит и мы поставим. А где лучше место, чем это? Спилим дуб, сделаем здоровенный крест, поднимем на вершину. А под ним барщину закопаем — бутыль с доброй сливянкой...»

Принесли топоры, одолжили большую пилу на лесопилке. Закрутили ствол толстой веревкой. Приготовились. И впервые дуб ожидал своей участи покорно...

Бежал из села Гнат Пригода, торопился, кричал что-то неразборчивое издали. Решили подождать.

«Рехнулись вы из-за этой барщины!»

Люди, слушая, смеялись. В прошлое светлое воскресенье (как раз на него пришлась отмена) дьяк Гнат Пригода на радостях натворил такого, что пришлось расстаться со святым саном...

«Вспомнили прошлую пасху, Гнат?»

«А что? Дурное ведь с дубом задумали. Их и так почти все на кресты порубили. А подгниет он в земле, упадет, и барщина вернется... Наш дуб живым должен стоять еще тысячу лет! А про бутыль правильно сказали, закопать можно. Ну а теперь подождите меня немного...»

Вернулся бывший дьяк к полудню, катя перед собой такой валун, что люди ахнули:

«Видать, аж с Днестра каменюка?»

«Ага, с самой нашей главной реки. Умные вы спрашивать — откуда? Чего не спросите — зачем? А мы,

общество, если будет ваше согласие, поставим в память отмены барщины особенный знак — из крепчайшего камня нашего края».

Три дня и три ночи носили люди с неблизкого Днестра камни. Трудились и стар и млад. Здоровые и хворые. Кто что осилил, то и клал на плечи.

Из этого-то камня и вырос на круче памятный знак. Назвали люди его — Фигура.

Так и стояли рядышком сто лет без восьми Фигура и дуб, склонивший к ней пламенеющую по осени листву.

И пришла вторая уже весна, как дышало старое дерево вольной волей. Уже не было панского смрада, и люди наконец стали похожи на людей... Приходила по воскресеньям на кручу молодежь. Не пьянствовать — влюбляться, давать обеты верности, песни петь о прошлом и будущем. И вторую весну, в знаменательную годовщину, Фигуру и дуб украшали цветами. Дерево — красными маками, Фигуру — голубоглазым барвинком.

И вот в такую памятную минуту снова пришли к дубу двое с пилой и топорами в руках. Знакомые ему люди... Чует он, неведомо как, что один под благостной личиной упрятал все пороки недоброй памяти прошлого... А так посмотреть — человек как человек! И жена у него, и дети. Седина в волосах, высокий лоб, умные глаза... Люди шапки перед ним снимают — учитель ведь, детей разумному учит... А сейчас Зиновий Милькович держит топор за рукоятку и, читая вслух выбитые на Фигуре слова, пристукивает после каждого в такт:

«Лета божьего 1849. 3 маія. В знак отмены крепостного права...»

И другой, Вавр Цебрик, не лучше... Многое видел на свете дуб, а понять не может: как случилось, что терпит вольный народ такую погань?! «Ох, усыпила-успокоила людей свобода...» — думает дуб и содрогается от страшного звука: Зиновий Милькович точит топор о бёлую глыбу Фигуры. И поучает собеседника:

— Растравить нужно народ, раздразнить, чтобы восстал...

Цебрик бледнеет и, оглянувшись в испуге, бормочет:

— Но чего это именно нас послали?

— Подходим, значит. Потому — мы вроде Советская власть. И народ не простит нам поругания святыни... Натянется струна до отказа... А в назначенный уже час еще одна громкая акция. Загремит! — Зиновий Милькович указывает топором на запад. — Там загремит! А под нашим руководством — здесь.

Пот заливает физиономию Савра:

— А как церковь? Тут же каждый год молебны служили...

— Ха! Церковь на Холмщине еще раньше сняла для великой Германии сорок лучших колоколов. А мы, если понадобится для победы, и церкви немцам отдадим...

— И всех наших подопечных... — цинично хохочет Цебрик.

Зиновий Милькович, человек в селе недавний, начинает догадываться, что, прикидываясь простачком, Цебрик на деле обманет черта. И планы, видать, в случае победы лелеет не менее далеко идущие, чем сам он со всей своей ученостью...

Савр чувствует, что показал подлинное обличье больше, чем следует, и пугается, хочет загладить... Спрашивает невинно:

— А что мы вместо этой рухляди поставим другим селам на память?

— Корчму. Но без Ицка... Ха-ха-ха!

— Ладно, взялись, что ли! Пусть бежит весть по селу: вот на какое дело уполномочили...

Дуб обреченно ждет. Давно ушла его сила. Не может стать таким крепким, чтобы летели от удара не щепки — искры. И все-таки есть еще надежда: тот хитрец с безжалостными глазами, видно, никогда не держал в руках ни топора, ни пилы...

Ждет дуб, глядя в расстилающуюся даль. Недобро

хмурится последние дни небо на западе, и ветер будто доносит запах давней орды... Только без конского пота... Вон и над пасекой Гринчука закружились рои — ничего-то не знает старик об участи дуба... А с бывшего панского двора торопливо шагает человек с ружьем на плече. Хлопца этого знал с детства — все, бывало, прибегал сюда за орешками для чернил. Потом, говорят, исчез. Плачу было... За ним женщина видна, с метлой бежит во весь дух к Фигуре. Цебрик спешит навстречу. Возвращается довольный, сообщает:

— Шум поднимаем! А где шляется Шпуга? Кто пилой орудовать будет? Чем скорее шарахнем Фигуру — тем быстрее столетнюю сливянку добудем... — подбадривает себя Цебрик и, не видя помощника, неумело, на уровне своего живота, прилаживает пилу к дереву.

У кручи собираются люди. Толпа густеет. Доносятся голоса:

— Пильщики тоже нашлись! Куда дуб свалят? Не на Фигуру ли?

— На нее. Как еще дерево развернешь?

— А зачем им оно?

— Говорят, учитель хочет на новую школу...

— Какая там школа! Себе на хату. Уже и фундамент заложил на Ицковой площадке. Ему, видите, далеко жену возить с Острова...

— Люди! Чего смотрите? Нашу историю с лица земли стирают, а вы... — Федь Яресков кинулся домой за ремнем, оставленным по случаю жары, а заодно и за сыном.

Богачи держатся кучкой. Вздыхают, щурятся:

— Пусть рубят. При большевиках и дубы погибелью стали: умудрились, душегубы, такого газду на дубу повесить... Ох, что бы на это Луць-покойник сказал?!

Еще одна группка. Готова присоединиться к кулацкой:

— В точности, в точности знаю... Дуб пилят, чтобы Фигуру свалить. Приказ такой из района...

Газды прислушиваются, хихикают, довольные, исподтишка. Выходит, не все от них отшатнулись...

— Хоть и правда — пора ее убрать... Барщина-то вернулась: поле вон вместе пахали...

Поодаль широким кругом — комсомол. Митингуют. Волнуются. Не находят общего решения.

— Нет сегодня в селе ни Байды, ни Довбеняка... Если бы Юрий... Как он? — Все оживляются: Мельник вчера вернулся из госпиталя. — Пойдем к нему...

— Не слыхали разве — рано еще ему вставать. Мы же навещали... — Зореслава Король то бледнеет от волнения, то заливается румянцем. — Страшно за него. Сама пойду... Сама. — И девушка решительно направляется к Цебрику.

Богачи отпускают вдогонку непристойные шутки. А с кручи слышится визгливый голос Савра:

— Сегодня же выгоним из комсомола! Не я придумал валить. Еще спасибо скажете... А ты чего, плакса? Тебя кто принимал в ряды? Проверим...

Учитель тоже смотрит волком, и Зореслава поворачивает обратно, к ребятам.

Вгрызаются острые зубья в кору. Больно дубу. С надеждой смотрит он на село. Там — тишина. Даже рои Гринчука сели, и никто их не собирает. Только совсем близко у кручи Журак. На плече — ружье. Все умолкают. И в тишине раздается чей-то одинокий, злобный голос:

— А ну посмотрим, совсем ли сдурел?

Газды веселеют. Страшно дубу. Вонзилась в ствол пила. Трудно верить людям с ружьем: никогда не приносили они дереву добра. Сколько перепало ему этого грохота...

Данило быстро поднялся на кручу.

— Что делаете, люди? — У него перехватило дыхание, и он схватился за пилу. — Что делаете? — Данило уже кричал, и эхо разносило возглас по скалам.

— Убираем с пути рухлядь. Вражескую рухлядь.

Кое-кому дорогую, как видно... И турнем тех, которые... Всяких тут, понимаешь... — Цебрик, мокрый от непривычно тяжелой работы, бубнил под нос, делая вид, что не замечает Журака. А если и видит, так что-то ничтожно малое, вроде воробья... Давр знал по опыту, в какое бешенство приводит честных людей такой взгляд...

Пила продолжала скрежетать. Врезалась уже на всю ширину в могучий ствол.

Данило обошел дуб и остановился там, где сильно и старательно тянул пилу за себя и за Цебрика Зиновий Милькович. Слова застряли в горле: с пронзительной ясностью вспомнил Данило, как много лет назад столкнулся с этим человеком в дефензиве на очной ставке. И то, что сказал ему тогда, окровавленный, сегодня не нуждалось в добавлении...

Журак повернулся, вплотную подошел к Давру:

— Прошу немедленно прекратить самоуправство! Прошу от имени народа.

Из-под надвинутого козырька Зиновий Милькович бросал короткие, цепкие взгляды на Данилу и, заметно побледнев, ногой осторожно придвигал к себе топор. А Цебрик, словно ужаленный оводом, отскочил от дерева и заорал во всю глотку:

— От имени народа, говоришь? Ты воевал за него?! В четырех панских стенах?! Воевал? Да?

— Не воевал.

Цебрик, победно глядя на притихших людей, в то же время краем глаза приметил Яресковых, бегущих весь опор мимо Гринчуковых лип. И поторопился закончить спектакль до подхода этих оглашенных... Подступив вплотную к Даниле, возопил:

— Не воевал за Советскую власть, гад? Сам говоришь? Кто здесь голова, знаешь? Вот и предъяви мне тут, при всем народе, свои бумаги! Можешь ли вообще без конвоя расхаживать?! Я голова! А ты кто? Выкладывай военный билет! Где он? Где? Не имеешь? Тогда к черту из села... Последний раз спрашиваю...

— Вот он
правую руку,
жья. — Вот,
жил грудь. —
Черная бу
Часть люд
нимаясь, виде
отводили глаз
были покрыты
Все затаи
пывал дуб.
Данило на
нея, боясь огл
обрыва.
В эту мину
ший молниен
махивая ремне
— Вали ег
Эта команд
ное, и он по
ускользала из
Данило оп
Цебрика почт
бросил под но
зал устало:
— Хватит!
У этого челове
жу это...— Да
комсомольцы.
А низиной
кашляя и при
Все ближе
Молнии проче
казалось, сверк
ли... Раскаты
ризонт...
Журак и М
19*

— Вот он! — Журак стремительно выбросил вперед правую руку, левой рванув сорочку — мешал ремень ружья. — Вот, смотри! — И, дернув сильнее, совсем обнажил грудь. — Вот мои бумаги, вот мой военный билет!

Черная буря хлынула на Цебрика с груди Данилы.

Часть людей уже взобралась на кручу. Те, кто поднимался, видели Журака со спины и от неожиданности отводили глаза: плечи его, словно перепаханные плугом, были покрыты глубокими темными полосами.

Все затаили дыхание. Только постанывал-поскрипывал дуб.

Данило надвигался на Ваврa. Тот, все больше бледнея, боясь оглянуться, катастрофически близился к краю обрыва.

В эту минуту к ним подбежали оба Ярескова. Старший молниеносно сориентировался в обстановке и, размахивая ремнем, скомандовал:

— Вали его вместо дуба!

Эта команда, видно, напомнила Ваврy что-то страшное, и он попытался остановиться. Но опоздал. Земля ускользала из-под ног, и он взвизгнул. Начал визжать...

Данило опомнился и каким-то чудом успел поймать Цебрика почти на лету. Схватил за плечи, вытянул и бросил под ноги людям, как обмолоченный сноп. Сказал устало:

— Хватит! Хватит играть в жмурки с судьбой... У этого человека нечистая совесть. Очень скоро я докажу это...— Данило опустился на землю, и его окружили комсомольцы.

А низиной спешил от своей хаты Юрко Мельник, кашляя и прижимая рукой незажившую грудь.

Все ближе и ближе надвигалась на Скоморохи гроза. Молнии прочерчивали небо и с запада, и с севера, и, казалось, сверкали они не с неба, а с разгневанной земли... Раскаты грома содрогали скалы. Омрачился горизонт...

Журак и Мельник стояли уже рядом, грудью к ша-

ломy ветру. Сзади тихо переговаривалась молодежь, а взволнованный Яресков замазывал глиной израненный дуб.

И все напряженно, не отрывая глаз, следили, как через запруду под гнущимся от ветра лозняком бежали те, кто собирался стереть с лица земли славную историю Скоморохов. Бежали не от грозы — так спасаются от чего-то более страшного...

Братья Нарытники изо всех сил гнались наперегонки с одноглазым Думпалем. И хотя по сравнению с ними был Гнат человечишкой невидным, хлипким, тем не менее и догнал и опередил... За достойной трощей кошачьими прыжками одолевал выбитую дорогу Семка Боженька. Зиновий Милькович бежал тяжело, неуклюже рядом с Вавром Цебриком, и оба напоминали застоявшихся за зиму сытых волов... Протопав по гулкому мосту, разом оглянулись не на тяжелые, свинцовые тучи, а на Фигуру, под которой еще голубел кусочек знойного неба...

Когда за беглецами улеглась пыль, Юрий перевел взгляд на обнаженную грудь Данилы и еще больше помрачнел...

...С такой вот вспаханной шрамами грудью десять лет назад привезли на чужом возу отца из окружной дефензивы... Советовал кто-то положить больного на голую скамью — не выдержал бы человек на сеннике... щепочка....

Мать Юрка сохла с каждой минутой, сохла, как не сомкнул глаз. А на рассвете словно бы полегчало: притих... Мать выбежала похлопотать по хозяйству. Сжав зубы, чтобы не заплакать, не закричать от страха и отчаяния, Юрко застыл у него в ногах.

Отец смотрел на сыпа широко раскрытыми глазами, и вдруг словно волна неведомой силы, неодолимой ветры омыла измученное лицо, и он оторвал голову от подушки...

— Мама! Наш тато будет жить... жить! — Юрко выбежал из хаты, припал к матери, выплеснул разом детскую, наивную радость.

— Грицунь! Тебе полегчало? — Мать скрывала слезы робкой надежды.

Вдвоем приподняли отца за плечи, но тело его становилось все тяжелее и тяжелее...

— Ой, Гриць, потерпи... Не оставляй нас... — зарыдала мать.

— Не могу... Все отбито у меня, переломано... Но не хочу говорить с сыном, лежа пластом... Юрко! Ты знаешь, за что меня... За коммуну... За ненависть к панам... Земли не оставляю — сам не имел. Книжку оставлю... бойца партии... В овине спрятана, под крышей... Четвертая доска от луга... станешь на мое место. Пусть придет коммуна, за которую я... жизнью...

К вечеру отца не стало. Шел ему сороковой год.

...Капли дождя, крупные как горошины, упали на воспаленные губы Юрия. Он подошел к обрыву:

— Сбежали! Разве так бегут от дождя? Ха-ха! Так спасаются от собственной гибели!

И под грохот обрушившегося ливня, под сверкание изумрудных молний Мельник крикнул людям, что стояли на круче под дождем:

— Идем, товарищи, все в сельсовет! Нас ждет работа. Байда и Довбеняк, наверное, уже вернулись из района... — И закашлялся, не договорил.

Данило набросил ему на плечи свою куртку, принесенную из дальних странствий, продырявленную жестоким металлом...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Упала в четверг после полудня тяжкая грозовая туча на Чертогору, перекатывалась громами, пугала: «Сровняю с землей!» Но не отпущены ей природой такие

силы, чтобы заставить вздрогнуть зачарованную гору или хотя бы даже сорвать с нее мохнатую папаху... И тогда обрушилась стихия свинцовым крылом на древнее, как мир, местечко... Тут отыгралась: била, оглушая, огненными стрелами в ветхие крыши окраины, выворачивала вдоль дорог деревья с корнями, обрывала провода, рушила с небес огонь и потоки воды...

Внезапная, необычная гроза яростным обвалом своим словно сорвала и Ярему Вира с крепкой давней цепи подполья и подталкивала, подстрекала, издеваясь: пора, друже, пора, вспомни — все гибельные войны и кровавые междоусобицы начинались обычно перед жатвой...

С детства Ярема терял самообладание при грозе, а за два последних года, пережив все ужасы звериной жизни в подполье, готов был сойти с ума не только от раскатов грома, но и от доброго веселья чужих свадеб... Ведь уже семь долгих лет в тоске, в злобном томлении ждал он свою, как фанатик, в сознании которого страшная идея заслонила женщину-друга, жену, любимую... Вокруг создавались семьи, праздновали, веселились люди, но все это было не для него: семь лет назад неосмотрительно, а может, и обдуманно, поклялся: днем его свадьбы будет первый день восстания во имя самостийной...

Был он тогда молод, самоуверен и твердо верил: ждать придется не больше двух лет...

А годы спешили, уже самому Виру пошел четвертый десяток, и где-то в Праге, а может, в Берлине или Кракове (давно-давно не имел известий от суженой) отцветала осенней астрой его Оксана...

В сумеречном свете грозы Вир добыл из тайника револьвер, перезарядил, проверил и, погрозив смертельной игрушкой всему свету, спрятал обратно. Открыл и закрыл, будто без надобности, обычный на вид чемоданчик: в верхнем его отделении мирно покоились инстру-

менты хирурга, в нижнем же, за тонкой металлической перегородкой, — добрая порция взрывчатки.

Когда ливень достиг разрушительной силы (даже смирная Серебрица вышла из берегов и понесла, швыряя, на вздыбившихся волнах бревна от моста), набросив дождевик, Вир вышел из комнаты с неприметным чемоданчиком в руках.

На затемненном крыльце чуть не сбил человека в таком же, только мокром плаще. Под ногами незнакомца, на плитах пола, расплывалась большая лужа — видно, ливень застал в пути, на топком бездорожье, и пришлось ему, экономя время и сокращая дорогу, брести по колено в воде...

«Плащ — копия моего. Значит, такой же «польский беженец»... Большевики еще не разжились похожими. Плохие мы конспираторы, если встречаемся в одинаковой одежде...»

Отметив это про себя, Вир заговорил первым:

— Пережидаем стихию? — Голос его звучал иронически, выдавая некий подтекст.

— Вы доктор Вир? — не отвечая на вопрос, глухо спросил незнакомец.

— Изволите просто интересоваться или вам нужен врач... и к тому же... именно Вир?

— Именно, почтеннейший, именно. Дважды к вашим дверям приходил — все на замке. А над головой гремит... — тоже со скрытым смыслом ответил человек.

— Я доктор Вир. У вас в семье кто-то заболел? Видно, серьезно, если по такому ливню...

— У меня нет семьи, — и, понизив голос, добавил:— Другое дело поторопило...

— Отрекомендуйтесь в таком случае. — Вир сознательно чуть оттягивал существенное...

— Честь имею — Иван Залипьянский. Хоть судьба и не сводила нас до сего времени, но тем не менее ваш племянник... Так вот, родич наш, Стефан, отдает Оксану за доктора...

Пароль пришелец произносил точно, слово в слово. А в том месте, где новоявленный племянник сделал кро-хотную паузу, Виру надлежало перебить нетерпеливым: «И когда же свадьба?»

Не первый раз при передаче пароля у Вира кружилась голова. Слова «Оксана», «свадьба» сверлили мозг, задевали сокровенное... В референтуре мобилизационного отдела провода будто в издевку придумали такой текст...

Открыл «племяннику» дверь, пропустил вперед и, зайдя, словно забыл на минуту о госте. Напряженно вгляделся в собственное отражение в большом зеркале — единственной «светской» вещи в спартанском жилище. «Родственник», осторожно и недоверчиво оглядывающий комнату, отражался тоже...

«И получилось, что мы в одной раме... Да, этот гонец оттуда. Подосланный рассматривал бы обстановку иначе: бедность не удивила бы его...»

Вир резко повернулся к пришедшему и зло спросил:

— Вас удивляет убогая обстановка врача с дипломом славнейшего университета?

— Откровенно? Да.

— Прошу: вот мой диплом. Вот удостоверение личности, засвидетельствованное в разное время польскими и советскими властями.

Судя по всему, незнакомец видел в своей жизни немало документов, печатей, свидетельств... С лица его окончательно исчезло выражение туповатой простоты. Не разглядывая бумаги, он задержался только на подписи, увенчавшей диплом: выдающегося гуманиста, широко известного в Европе целителя душ и тел человеческих...

Но тут же, не теряя даром времени, повторил:

— Итак, родич наш, Стефан, отдает Оксану за доктора...

Никаких сомнений в подлинности «племянника»

у Вира уже не было. И, взяв себя в руки, задал привычный вопрос:

— И когда же свадьба?

— К сожалению, я отправился в путь, когда день еще не был назначен. Невеста сама приедет приглашать вас и тогда уточнит. Не может же состояться такое событие без заранее намеченной даты...

Вир уже держал в руках гриnс, тяжелый, как судьба. И понял по выражению лица курьера, что тот, кого следует ожидать, будет более важной персоной, чем сам «племянник»...

— Благодарю Стефана за память. Мы готовы...

Гроза утихала. Выполнив миссию, связной попрощался.

Вир запер за ним дверь и торопливо вскрыл гриnс. Прочел:

«Борьба и деятельность ОУН в период войны... С приходом союзной армии...»

В нем внезапно забушевала какая-то неистовая сила. Как пар в котле, билась кровь в висках... Такой депеши еще никогда не получал. Значит... И чтобы не умереть от удара, не задохнуться от волнения, отложил недочитанный гриnс в чемоданчик, выбежал под дождь. На углу дома из широкой водосточной трубы хлестала пенящаяся вода. Подставил под струю голову. Чуть охладившись, поспешил обратно. И снова принялся читать:

«...с приходом союзной армии навстречу ей выходят представители местной ОУН (военной и гражданской), приветствуют и докладывают, что территория от большевиков ими очищена, власть находится в их руках и всюду установлены порядок и спокойствие... Военные представители ОУН заверяют, что желают и далее воевать против Москвы вместе с доблестной немецкой армией... На территориях, освобожденных от большевиков...»

«Война! Непобедимая германская армия! Лучшие в мире танки! Вот она, моя свадьба!» — Обезумев от ра-

дости, Вир не спал ночь напролет, ожидая уточняющего послания.

Но связной не явился...

И, как все эти два года, Вир отправился на работу, ибо так приказывала «военная инструкция». А сам не мог дождаться желанного известия: о начале «свадьбы» — о начале войны...

И дождался...

Медсестра Люся, скользнув глазами по очередной пациентке, положила перед ним историю болезни.

— Прошу, садитесь. На что жалуетесь? — Потрясенный, он говорит совершенно бесцветным голосом. Страшно — неужели Оксана может не узнать его? Она почти не изменилась, только загорелое лицо обрамлено цветастой косынкой — обычная молодая крестьянка, если бы не глаза, яростные глаза волчицы. Душно. Трудно. Но нужно продолжать игру: — Сколько вам лет?

Не ответив на вопрос, она толково излагает «легенду» заболевания, приведшего ее в кабинет врача, и Вир слышит пароль, говорящий о том, что от верховного провода прибыл посланец с сообщением чрезвычайной важности и передать его должен немедленно.

Рискованно, страшно, но все можно было бы пережить, если бы этим гонцом не была Оксана!

— Я должен вас осмотреть.

Она отвечает, закрыв ладонью глаза, прерывисто дыша, словно вот-вот вынырнула из холодной воды:

— Не могу... Я... я стесняюсь...

— К сожалению, сейчас нет женщины-врача... В крайнем случае вас может осмотреть моя помощница... Если, конечно, хотите...

— Хочу...

Вир вышел в просторный коридор амбулатории. «Она приняла это странное решение уже в кабинете. Зачем? Какой-то придуманный на месте ход?» Остановился у окна. На улице все спокойно. Закурил и стал рассматривать людей, сидевших в ожидании при-

ема. Больше всего у дверей терапевта. У рентгенолога — двое. У кожника — никого.

«Смотрите, пожалуйста, как большевики своим мылом да ситцем мужиков исцелили — и лечить стало нечего... Исчезла короста. Чесотка... Ну, мы после победы сделаем для народа что-нибудь посущественнее...»

Во время этих державных размышлений в коридоре показалась Оксана. Неспешно проходя мимо, чуть наклонила голову:

— Спасибо, доктор! До свидания!

И в оттопыренный карман врачебного халата упал грипс. Вот и все. И нет ее... На улице по-прежнему пусто и тихо.

А грипс был еще теплым от Окcаниной руки... Стало страшно: большевистские агенты чудились повсюду... И Вир поспешил в кабинет. На столе лежала история болезни. Краем глаза прочитал домашний адрес пациентки: село Долишнее...

«А вдруг сегодня же выедет в Долишнее энкаведе, чтобы проверить: имеется ли там гражданка Руда, что нуждалась в консультации хирурга? И не найдет такую... А если и найдет, то грубую, здоровенную девку, которой все равно, что делается на ее земле...»

Нестерпимым становилось желание — немедленно прочитать содержание депеши:

«Господи! Скоро-скоро настанет пора, когда уже не будем бояться... никого не будем бояться!»

Машинально посмотрел в окно: напротив амбулатории, с противоположной стороны тротуара, переходили улицу два милиционера и стройная молодая женщина со знакомым лицом. Она шла, опустив голову, заметно прихрамывая.

Хотелось думать: идут просто так, случайно, а спутница — жена или сестра... Даже, если направятся в амбулаторию, так, наверное, к знакомым...

Длились минуты. Ощущение тревоги не проходило. И отчего-то не приносили новых карточек... Выгляпуть

в коридор? И услыхал поскрипывание ступенек. Шаги были не женские...

Когда постучали в дверь, первое, что пришло в голову: Оксана провалилась еще при переходе границы и привела сюда...

«Отчего же тогда не взяли здесь? Чтобы ушла спокойно и привела в другие места? Но, если меня схватят с гипсом, навсегда останусь предателем... Бежать... в окно... или...»

Но о другом, о неприметном своем чемоданчике, не хотелось думать в преддверии таких событий. И все-таки, прежде чем ответить на стук, дотронулся до него ладонью.

— Войдите!

Зажмурился на секунду от нестерпимого волнения, а когда открыл глаза, увидел тех же милиционеров и ту же женщину, что только что переходили тихую улицу.

«Если за мной, тот, стоящий поближе, подойдет к балконной двери...»

Но пришедшие остановились у порога. Вглядываясь в неожиданную посетительницу, Вир спросил:

— Чем могу служить?

Полдневное солнце через стеклянные двери балкона заливало кабинет. Освещенное лицо женщины было красно. Не отрывая от него глаз, Вир напряженно соображал:

«Зачем привели? Ведь я когда-то видел... видел...»

Ответа на свой вопрос не расслышал. Мозг лихорадочно работал, как в немом кино, стремительно замелькали кадры:

«Да, видел. Не такой измученной. Похожей на падающую звезду... И хотелось смотреть еще и еще... Но стало темно. Погасили фонарик. Отчего-то придержали ее воровские руки Смалия, он, кажется, успел и там натворить что-то... Помнится, словно озарило потом: начинать будем со Скоморохов. Их боевка — одна

из лучших. Но женщина тогда была ни при чем... А события начались как раз в ту ночь: кто знает, на счастье или на гибель... Верпулся Журак. Организовали колхоз. Довбеняк... Людей нужно было озлобить любой ценой! Чем угодно: осквернить ли Фигуру, заставить ли поверить в нож ревнивого Журака и потом погромче кричать о его аресте... Только бы покатилась лавина от села к селу... А что вышло? Вместо Фигуры рухнул Цебрик. Ольга, живая, у большевиков... Постой, постой, почему ее привели сюда? Скоморохи-то другого района... И погоня за мной тогда началась от ее хаты... Выдала? Привела? И всему конец: жизни, счастью. И «свадьбе» не сбыться! Тогда я должен...»

И Вир сделал вид: нужно что-то достать из чемоданчика. И, уже приготовившись к последнему, незаметному движению, взглянул на Ольгу.

«Она не умрет. Красота бессмертна. Но почему, почему я должен погибнуть?!» — рычажок выскользнул из влажных пальцев. И только сейчас Вир заметил на лице милиционера добродушное удивление: мол, смотри, доктор-то чудак...

— Чем могу служить, товарищи?

— Извините, доктор, вы, наверное, прослушали. Просим дать заключение о состоянии здоровья вот этой гражданки. А мы пошли.

— А? С удовольствием, с удовольствием, — и стал бесцельно перекладывать бумаги.

Поверить, что они были здесь только ради этого, не мог, не смел. Все казалось — приходили за ним. А жить хотелось, как никогда! Верить в свою судьбу, дождаться «свадьбы»... И всей душой жаждал одного: насколько возможно, оттянуть возвращение милиционеров, разобраться — в чем же все-таки дело? Но прежде нужно было осмотреть пациентку. Почему она здесь?

— Что с вами случилось?

— А разве... — Ольга, взглянув на врача, умолкла. Его лицо пугало.

Руки у Вира перестали дрожать. Быстро, профессионально осмотрел больную. И четким почерком написал заключение:

«Ожоги второй степени правой и левой стопы вследствие термического воздействия. Прогноз благоприятный». И ни одного вопроса пострадавшей.

— Позовите их, Люся!

Милиционеры показались на пороге. И страх вернулся снова. Но нелепо было затягивать паузу, и Вир протянул бланк с написанным диагнозом. Поблагодарив, они спокойно вышли, пропустив вперед Ольгу. Когда внизу хлопнула дверь, Вир, смертельно бледный, не смог подняться с кресла, не мог утишить бешеное сердцебиение...

«Отчего сегодня не взял револьвера? За полшага от счастья... А если не удастся прорвать кольцо? Если поджидают в воротах, на улице, дома? В городке — гарнизон. Не может быть за один день столько случайностей... Депешу нужно немедленно прочитать и уничтожить... Но Люся? Соглядатай? Тут стены имеют уши... Выйти? Боюсь. Необходимо выяснить: в чем именно заподозрили? Нет, это моя сумасшедшая мнительность... Что ж, пойду ва-банк! Выйду на полчаса раньше обычного. С чемоданчиком. Вернусь домой. Прочту грипс. И если «свадьба» совсем близка — любой ценой навсегда исчезну из города. Навсегда ли?» — Вир усмехнулся про себя.

...Высокие облака. Простор. Дыхание ветра с Чертогоры. Не верится, что столько пришлось нежить сегодня... ловека. Накануне выступления прикажу выдвинуть все боевки в поля, в леса — пусть выветрится страх, пусть дохнут гайдамацким воздухом свободы...»

Хвоста за ним вроде не было.

Дома тщательно осмотрел квартиру, двор, кусты цветов под окнами, даже хозяйский погреб, заперся и достал из кармана бутылочку с советской аптечной этикеткой. Внутри вместо лекарства — тонкая бумага грипса...

«План «свадьбы»...»

Итак, в воскресенье, на рассвете, за Чертогорой его будет ждать свадебный кортеж. Вороные кони... Первая остановка — в Скоморохах. Вуйко «ножичек» — Цизорик. Салют. По дороге к венцу, что состоится в Бережанах, должны проведать те села, где ожидают «родичи». Еще салют. И ночью, всем свадебным поездом, со всеми гостями, по четырем дорогам — к «нашему городу»... Что бы ни было, дня через три-четыре должны быть там... Но в воскресенье следует хорошо прислушаться: заиграет ли музыка? Если промолчит — «свадьба» откладывается...

Вроде бы все — пора седлать коней! Но Вир сидел в глубокой задумчивости. Он знал: тех, кто поддерживает ОУН, — небольшая горсточка. Высказался народ за Советскую власть, идут люди в колхозы, в комсомол. И ведь не только бедняки... А по дороге к «нашему городу», следует не забывать, кроме этих, обольшевиченных, — военные гарнизоны в районных местечках. И в «нашем» — пехотная дивизия, полк особого назначения.

Ох, дали бы Виру сил побольше — рванул бы на Киев! Но с тем, что в наличии, даже городок занять сможет только, если будет он пуст... А так — ох сотрут в порошок, даже пусть и война... Сотворить бы чудо...

А пока, затвердив слово в слово депешу, рвет на мельчайшие лоскутки. Чиркает зажигалкой. И с колеблющимся огоньком в руках подходит к зеркалу. Захотелось в эту минуту запомнить себя навсегда.

Зеркало огромное. Выше человека. Подошел вплотную, коснулся холодной поверхности. Еще ближе. Еще... Казалось: сейчас увидит — глаза в глаза...

Пустота. Только в самой глубине стекла виднелась чья-то до боли знакомая рука да неверно мерцавшая в ней восковая свеча.

«Что это? Наша свадьба? Или наша смерть?»

Зеркало, будто застыв, не отражало лица человека.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Зореслава Король собиралась на сессию районного Совета депутатов трудящихся... Уже полгода, как представляет она родные Скоморохи перед районом, и все эти полгода не перестает удивляться: как случилось, что именно ей доверило большое, самобытное село свой голос, свою волю?!

Дивится девушка: ничего, кажется, особенного не сделала для людей, только — обычное... Правда, пришла в комсомол четырнадцатилетней девчонкой... Именно в то время бесчинствовали в крае карательные белопольские экспедиции, и так получилось, что третье поручение окружкома выполнила Зореслава, уже рискуя жизнью. И спасла тогда от верной смерти многих товарищей. В Скоморохах знали об этом только Михайло Байда и Юрко Мельник — люди такие, что о своих заслугах не упомянут, да и чужие раньше времени не сделают достоянием истории.

Так и получилось: о необычном в жизни Зореславы село и не догадывалось... Наслышаны были о другом: как, опередив всех, первой пришла к финишу, участвуя в лыжном пробеге в честь выборов в Совет... Как хорошо читала и терпеливо пересказывала все самое важное — никто бы в селе так не сумел... Но, по мнению самой Зореславы, все это не шло ни в какое сравнение с героическими деяниями некоторых ее товарищей...

Но на сельских сборах, когда выдвигали кандидата в депутаты, все дружно выкрикнули:

— Зореславу хотим! Зореславу Король! Не забываем добра...

И вот благодаря доброй памяти подняли так высоко... Были предки ее с давних времен первыми в Скоморохах в песнях и пляске — этих вечных символах непокоренности народа, сопротивления его всем панам и захватчикам... С песней про волю вольную ушел в красное казачество и отец девушки. И когда с новыми временами при-

шли новые песни — не забыли люди, что Зореслава — кровная дочь села...

Как и предки, умела она и любила петь. Брала иногда у деда старинную, печальную скрипку... Но так могли и другие... И решила, видно, природа, что необходимы сейчас не только песни, а слова да дела, и одарила девушку деятельной натурой и уменьем говорить достойно.

Вот и собирается теперь на форум народных избранников. Стоит посреди хаты в пестром платьице. Стройная, легкая, веселая. Выкупалась недавно в родниковой воде, что настояла мать на любистике с ромашкой.

Гостей полно — хозяйке и присесть негде.

Вдоль стены, за длинным столом, разместились ребята. Девушки, обнявшись, устроились возле печи, на скамье.

Поднялся Василь Ярешков. В галифе, в новеньких скрипучих сапогах, поблескивают значки на гимнастерке... В самой праздничной одежде. И означает это, что происходят в Скоморохах немаловажные события... Расхаживает парень по хате, жестикулирует:

— Значит, все наши показатели в соцсоревновании помнишь, Зоря? Насчет жатвы, про хлеб — скажешь, как надо. Да, хлеб — сила державы. В этом месте не забудь добавить, что оба наши Ивана и Павло Гречный девяносто восемь очков выбивают — ворошиловские стрелки! И еще... Самое главное... Для села. Для района. А может, и для всего края. Есть в Скоморохах человек, молодой, книгу пишет! Атакующую! И мы поддерживаем его. Атакуем тоже — все гнилье, что путается под ногами. Вот и пример: скинули вчера Цебрика. И овладеваем военным делом, техникой, грамотой... Главней главного для нас — счастливая, свободная земля... Правильно говорю, товарищи?

— Целиком и полностью, — откликнулся Иван Пидвезеный. — Вот только скажи — когда Зореславе доложить, что подошло самое время заткнуть пасть Ганьке Башовской?

— Тоже еще... — задорно перебила Катерина Гринчук. — Хочешь разом всех соседей под одну гребенку подстричь... А я говорю: в такой большой праздник и вспоминать-то о Башовской негоже... Чур-чур-чур! Пусть в тартарары провалится. И разве не знаешь: приходили уже к Зореславе избиратели — люди опытные, в возрасте?! Они-то, думаю, наказали: о чем говорить, а что придержать. До другого раза...

— Знаю, что приходили... — Иван посмотрел на пышные, белые пионы, недавно поставленные в глиняный кувшинчик. Знал хорошо — такие цвели только в одном палисаднике...

Воцарилось молчание, только шуршал на полу, под сапогами Василя Ярескова душистый аир. Пидвезеный хату мед Гринчука в большой банке. Паузой воспользовался Зося Зелинская. Последние дни она была отчего-то уж очень говорливой и веселой...

— Ладно, товарищи... А вот как мы нашу Зорю наряДим для такого случая? Чем украсим, чтобы весь район ахнул: вот они какие, скомороховские девчата, — лес долу клонится!

— Да что ты, Зося! Все же есть. Уже полгода деньги получаю. И сама готовилась.

— Знаем. Но и мы не в сторонке стоим. Тоже позаботились, чтобы понарядпее была... — И Зелинская протянула подруге светлые чулки. — В зелепой юбочке едешь? Угадала? Вот — в самый раз и будут...

Молча подошли сестры Байды и вплели в распущенную косу девушки свой подарок: ленту, что переливалась на солнце алым маком.

Со стены, с фотографии под стеклом, требовательно смотрел на Зореславу отец. Молодой. В таких же годах, как она теперь. Но дочь не помнила его. Ушел в двадцатом с красными казаками Примакова и сложил буйную голову под Стрыем...

К задумавшейся, озабоченной Зореславе подошла Ка-

терина Гринчук. Подала флакончик с золотистой жидкостью:

— Ароматная вода — ландыш с фиалкой. Дед со Стасем еще прошлым летом над ними ворожили...

Ребята пошептались и тоже подошли к отъезжающей. В руках — аккуратный пакет:

— Тебе. Плащ непромокаемый. Может ливень внезапно хлынуть, как вчера на круче. Да и пройтись с кем-нибудь в паре, вечерком... На скамейке посидеть... как раз подойдет... не возражаем...

Мать, нарезав ржаного хлеба, разлила по тарелкам мед Гринчука: угостить дорогих гостей. И вышла на минуту. Вернулась и со слезами на глазах подошла к дочери. Протянула пестрый узелочек:

— Вот и нарядили тебя, девочка. Возьми мою косынку — твой отец в батраках заработал. На свадьбу подарил. Поносить не успела — на войну отправился... Вдовой осталась... Не было праздников в нашей хате. И вот пришел. Бери, доченька, депутатка наша... Носи. Чтобы не только сегодняшним жила, а и вчерашнее помнила. А то иначе и забыть недолго, кем мы были и кем стали. Возьми — чтобы помнила долго...

— Чтобы помнила долго... долго! — торжественно повторили комсомольцы и, притихнув, разместились вокруг накрытого стола.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Шалая позавчерашняя гроза хоть и принесла Скоморохам нового председателя, но кое-что и забрала... Так, окапывая колхозную картошку, потерял Матвей Русин свое кресало. Новость эта среди других была вроде мизерна, но тем не менее отчего-то сразу облетела село...

Докосив делянку, Олекса Пригода зашел в сельсовет. И теперь добрых полчаса наблюдал с высоких ступенек за странным поведением родного вуйка, что нырял-выны-

ривал в поисках потери в зеленом междурядье колхозной картошки.

В сельсовете тишина, все в разъезде. И потому пришлось Олексе обратиться к самому себе:

— Мало-мало клал Яську дед поперек скамьи... Такая вещь пропала, а парень вместо помощи учит кота скакать верхом. А я чем лучше?

Миновал свое подворье и направился выпасом к яблоневому саду. Отсюда хорошо было видно, как трудится Башовская, перебрасывая длинною санкой землю с огорода Жураков на свой... Поискал в траве червивых, раньше времени созревших спасовок, аппетитно захрустел бледно-румяным яблоком.

Ганька, заметив в противоположном конце огорода еще одного лютого врага, плюнула в его сторону. Да так, что пролетел плевок через всю ее территорию и ударил в садовую ограду. Зачирикали на яблоне вспугнутые воробьи, а Пригода, пригнувшись, отступил по лопухам назад, на выпас. И сказал себе:

«Недолет. Но бьет, стерва, с каждым разом все дальше... Что-то опять нависает над Жураками... Но что? А? И Цебрика вчера из сельсовета выперли... Ага, говорят, ходила вчера Ганька к знахарю. К самому главному провидцу — Федю из Зеленова... Пойду-ка я к вуйко на помощь. Найдем кресало — поговорим...»

И следа не осталось от позавчерашней грозы: теплый ветер за сутки высушил землю. Но на выпасах, в тени, среди высокой осоки, чавкала под ногами вода. Осторожно ступая, чтобы не наколоться, не заметил, как и дошагал до просторной, прибрежной долины. В шестнадцатом году, когда перекатывался фронт от Золотой до Гнилой Липы, была она вся перепахана шрапнелью... С тех пор и остались рытвины да котловинки, и в одной из них, до краев наполненной водой, ловил пиявок старый Грипчук, запуская добычу в большущий жбан.

Вода была тихая, чистая как слеза.

— Дай вам боже удачи!

— Благодарствую. И тебе дай боже, если веришь до сих пор в священное.

Пригода промолчал, а старик, словно не ожидая иного, продолжал:

— Веруй. Нужно в жизни во что-то верить... Иначе разве вернулись бы мы домой через все те воронки... Нужно верить, Олекса, потому знак есть — снова нам идти...

Пригода почувствовал: сразу онемела правая рука...

«О чем говорит? Так начитался газет, что ревматизм и до мозгов добрался... Сколько раз пророчила Башовская старику дурную смерть...»

Но мысли эти старался отогнать. Сам видел: Гринчук как с креста снятый. Пиявки, что прицепились к его икре, полны крови. Не замечает дед, не чувствует. Смотрит куда-то далеко, а широко расставленные в воде ноги будто ждут минуты, когда дрогнет под ними почва...

Верить услышанному не хотелось. И Олекса, скрывая тревогу, говорит о другом:

— Вода-то какая! Словно бросила на землю гроза осколок синего неба.

— Разве синего? — старик набирает в пригоршню воды. — Красная.

И правда, отсвечивает она в ладони красноватым. И пахнет чем-то чужим, тревожным.

— Что за чудеса! — деланно усмехнулся Пригода.

— И ты поверил, что ливень тот пришел, как обычно?

— А как, кум Стась?

— А так, что прошло ровно двадцать семь лет с той поры, как за полчаса до грозы поднялись с моей пасеки рои. И аккурат позавчера повторилось такое. Сильно чем-то встревожены бессловесные...

— И вы из-за случайной приметы берете на себя тяжкий груз, говоря...

Гринчук потемнел лицом, пошатнулся и, делая вид, что ищет пиявки, схватился руками за песок. Борода коснулась воды. И словно издалека прозвучал ответ:

— Беру. Беру на себя... Кто-то же должен взять... А ты смотрел сейчас на завязь липового цвета? Не глядя, скажешь — каждый бутончик перед расцветом, словно малая горошинка. И ошибешься — в этом году как пулька шрапнели. Не сегодня-завтра липы цветом охватит... А знаешь ли ты, что за те три лета, что поливали мы землю кровью, жена моя, царство ей небесное, меду нагнала больше, чем я за полвека?! И вот опять так же липы распушились. Придется опорожнять кадки от медовых запасов четырнадцатого года...

Пиявки оторвались от ревматичной ноги старика и недвижно опустились на дно воронки. Из маленьких ранок чуть сочилась старая жидкая кровь.

— Одно уже отпадает, кум Стась, — вода покраснела от вашей крови.

— Нет, Олекса, — не согласился Гринчук. — Моя кровь уже черная. Ладно, оставим пчел, деревья, воду, поговорим о человеке. Что случилось с людьми сразу после грозы? Все заторопились жить! Не можешь ответить — чего это раньше не выбили мы дырявое дно у Цебрика? Теперь, видишь, спохватились. И то как нужно — не сделали... Теперь вот Данило: взял на себя такой груз... А отчего мой Стась поспешил полюбить раньше времени? И Довбеняк этим летом писал горемычную Ольгу... Говоришь, ничего не слыхать о ней? А внук вроде знает что, да, похоже, приказали молчать. А чего не печатает газета три последних дня исповедь Журака? Ох, много еще, много людей у нас не хотят снять завесу с глаз: а к родной земле приближается орда, которую не остановишь копем. Вон поляки пытались... Данило... Живое свидетельство. Он видел их перед собой... Фашисты, Олекса...— не закончив, Гринчук выбрался из котловинки и опустился в изнеможении рядом с Пригодой. — Проходил выпасами? Не заглянул ли, случаем, в сад к Журакам? Там Данило сразу после ливня вкопал столик. Разложил бумаги. Собрался писать. И, знаешь, вторые сутки — ни строчки... А какую стежку в саду протоптал! Шагов три-

дцать, не меньше. Тяжкая в задумчивости у человека походка... Всю ночь прошагал. А я, старый дурень, в кустах сидел и внука послал с другого бока сторожить — на огород, в конопляник... Казалось чего-то — выстрелят в Журака. Увидишь эту стежку, и душа у тебя содрогнется. Следы его на земле еще труднее, чем на бумаге. И чувствую: те, кто убивал Данилу здесь, и те, кто убивал его далеко отсюда, хотят убить свободу нашей Отчизны...

— Болтают, — сказал встревоженный Пригода, — что вернулась Башовская из Зеленова, от Федя. И, знаете, будто напророчил он скомороховской ведьме то же, что вы мне сейчас... — Зная, как ненавидит старик Ганьку, Олекса нарочно упомянул о ней в этом тяжком разговоре. Может, дед передумает, скажет иное, не согласится со слухами, принесенными зловредной бабой...

Гринчук накрыл жбан с пиявками камизелькой и после долгого размышления произнес, очевидно имея в виду Ганькину свирепость:

— На войне идучи по чужую голову и свою не спрячешь... — И переменив тему: — А Журачиха все высматривает гостей за воротами?

— Высматривает. От этой славы сыновней легче перышка стала. Высматривает, а Башовская тем временем...

Будто не слыша, Гринчук наматывал на палец прядь бороды. И сказал задумчиво:

— Да-а, ждут гостей Жураки. Тех, без кого не увидали бы сына в родном доме. Но кажется мне: не оставили бы эти гости своих важных дел ради чарки вишневки да поздравления с именинами... Двадцать семь лет назад стали мы кумами с Жураками. Завтра — день в день — годовщина. Пришло в свет это дитя, что соединило нас, поднесли мы его к кресту и купели, да и отправились под пули. Сколько уже лет под ними: и сами, и наш крестник... Кляня судьбу, не проклинал ли и руки, что поднесли к этому? Славно сейчас хотят справлять день рожде-

ния Данилы. А вспомнят ли нас? Пригласят ли? А? Как ты пел на его крестинах, как чарки лихо опрокидывал! Не забыл, часом, ту песню? Попробуй сначала без людей спеть. Надеюсь — пригласят. Придумал, чего дарить? Если нет — иди в компанию. Даю два улья пчел да выкачу на стол бочонок старого меда, ровесника Данилы. Идешь, Олекса?

— Добрый подарок! — глаза Пригоды влажно блеснули. — Но все будут знать, что не мой... Наловлю-ка рыбы на ужин.

— Хорошо! А что кум Матвей готовит?

Запасена уже у Пригоды веселая, вечера на три, повесть о щедром даре Русина: выкупанной в травах телочке от знаменитой графини. Но после всего, что было сказано, охватила его такая стародавняя грусть, такая тревога, что, заторопившись, встал и попрощался с Гринчуком:

— Относительно подарка вуйко Матвея в точности не уведомлен. Но в таких оказиях его никто не превзойдет... Каков кум, таков и ум! Нужно идти. Да и кресало никак из ума не идет...

Старик вздрогнул, засуетился. Отчего-то ссыпал пиявки обратно в воду. Стараясь скрыть замешательство, спросил:

— Так где они решили столы расставить?

— Хотели в комнатах. Но послушались вас: не делить людей на лучших и худших... Выпесут все столы во двор, под каштаны. День завтра, вы сказали, будет погожий. Усядемся рядышком, как тогда... А вы свою песню помните?

— Помню...

Пригода сокращает путь к вуйко Русину на Касовую, и чудится ему, что вокруг — в травах, во ржи, в воде и в небе — все звучит как заклинание: «Помню... помню...»

В это время шагал Матвей Русин между кустиками молодой картошки, и Олекса, перейдя на левый берег Нарая, сразу мог убедиться, что поиски потери происхо-

дят очень уж страшно... Наслуя себя, исходя потом, вуйко, словно в ярме, гнул голову к земле, в то же время глядя вытаращенными глазами куда-то выше церковных куполов... Не обуваясь, только подкатав штаны, Пригода поспешил к Русину.

— Вуйко, для чего запрягли голову и глаза в один воз: одно тянет налево, другое — направо... Разве потеряпное так ищут? Я пришел помочь.

— В чем? — сделав удивленный вид, спросил Матвей.

— Ох, вуйко! Кто не знает, что вы обронили? В небо загляделись, не замечаете: все село на цыпочках стоит, шеи вытянуло.

— Смотрят? Не враги же, добрые люди... А скажи, с какого это времени? Сам, поди, знаешь, потеряет, бывало, Русин голову, уже кто-то и думает: найдет ли, нет ли... Так с какого это времени всех так обеспокоило мое кресало?

— И скажу...

— А я тебе в ответ... С тех пор, как стали мы хозяевами этих просторов. — Разведя руки, Матвей словно пытается обнять всю ширь колхозных полей. От размашистого жеста зазвенело, отозвалось разными — низкими и высокими — музыкальными звуками его снаряжение. Но не слышно сегодня самого памятного и приметного: гарусный шнурок, на котором четверть века держалось кресало, свисает с пояса пустой...

И от теплой, почти горячей земли повеяло на Олексу холодом. Остановился ледышкой под сердцем. Сжало горло.

— Вуйко, ищите...

— Что искать-то?

— Замок... кресало... ваше..:

— Ха-ха-ха! — неожиданно рассмеялся Русин И, замолчав, движением человека, достающего кисет с табаком, полез за пазуху.

Пригода вздохнул, даже облизнул пересохшие губы, ничего не понимая. А через секунду остолбенел: на мор-

щинистой ладони Русина, так, чтобы не было видно со стороны, лежало... кресало! Олекса собственными глазами видел отполированный темный металл пулеметного замка. На талисмане — следы свежей земли и привязан к нему новенький гарусный шнурок... А Матвей, как минуту назад, снова пополз между кустами картошки.

— Что же это должно означать? Потеря нашлась, а вы на глазах всего села ищете ветра в поле?!

— Эх, Олекса, ничего ты не знаешь...

— Вы сговорились против меня с Гринчуком?

— Сговорились, не сговорились... Времени сейчас нету разговаривать на разные мировые темы... Кресало я потерял вправду. А сговорились мы так: на тех, кто стал под знамена коммунизма, не должна упасть даже песчинка...

— А разве мы и без этого не держим перед врагами замки на запоре?

— Держим. Но, бывает, после того, как уведут конней... Скажи, Данило — наш?

— Наш. Самый что ни на есть среди всех наших,— ответил Пригода, так и не поняв, к чему, собственно, ведет Русин.

— Завтра будем его день рождения праздновать?

— Ну, будем.

— А ты думаешь — враги дадут? Оставят в покое?

— Нет, не думаю... Но отчего вы двое суток ползаете между кустами картошки с найденной потерей за пазухой?!

— Того, чтобы знал: перехитрил-таки я врагов наших! Гляди, не петлю сучат на затрашний праздник, а все как есть — руки в карманы, да и вытаращились на меня...

— Уморили! Святая правда! Смотришь на вас, и нет уже сил ни думать о другом, ни работать... И все-таки, поверьте, хитрость эта поможет Жураку, как капля — морю... Компания в селе у Боженьки немалая...

— Ну их, Олекса! — Русин сделал краснореченивый жест.

Коварство, зависть, слепую ненависть ко всему светлому и чистому, борьбу за него Олекса Пригода представлял себе несколько иначе, чем Матвей Русин... И очень хотелось сказать об этом вслух. Но промолчал. Только поглядел задумчиво на потрескавшиеся, сбитые за двое суток беспрерывной ходьбы ноги вуйка...

— Не гневайтесь, прошу! Слишком многое в жизни вызывает смех... Так что походим между кустами, походим...

И два побратима, в погу, как добрая упряжка коней, шагают по междурядью. Время от времени, незаметно, озираются на село. И видят: трещат плетни, выгибаются доски заборов и крашеных крылец под весомыми телесами газд...

Двое суток по неведомой причине не отрывает часть села глаз от горьких поисков Русина: вернет ли все-таки колхозная земля дорогую, как память, потерю?!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Русина и Пригоду в безнадежных поисках кресала ночь застала в поле. На дорогу выбрались уже затемно. Перешли вброд Нарай. И, выкурив весь табак, расстались. Вуйко направился домой, Олекса — к пруду.

Стрекотали на гребле кузнечики, пыхтел в техшколе мотор, что гнал по проводам свет. В болотистой низинке, где разросся ольховый лесок, лениво пробовали голоса молодые соловьи. Волна спокойно плескалась о берег, словно рождая вечерние звуки: кваканье лягушек, шелест камыша, капель росы, что стекала с плакучих ив в воду, скрип корня, подмытого еще в половодье...

Кто-то отчаянно, вскачь, и почудилось отчего-то Пригоде — на белом коне, промчался по тракту за ольховым леском.

В это время Олекса неспешно, как прожитую жизнь, разматывал баранью жилку, тонкую, крепкую,— в здеш-

ших местах не раз ловилась хищница-щука. Верилось в удачу. Но ожидаемого пока не было. Клевали больше линьки, плотвичка... И Пригода, сердясь, снимал мелочь с крючка, кидал через греблю в речку: пусть плывет, если выживет, хоть к самому Днестру.

Проголодавшегося, утомленного работой и мыслями, клонило ко сну.

«Может, и вправду вздремнуть... Давно не приходилось. А при месяце и поужу...»

Для порядка привязал к ноге жилку повыше голенища сапога.

Уже сквозь чуткую дрему донеслось до него, будто присоединились к татакалью мотора веселые молодые голоса. Казалось, звуки приближались — все ближе и ближе, прямо к крючку, что в воде с наживкой...

«Кто скорее доберется ко мне, дам тому зеленого...»— пробормотал, проваливаясь в глубокий сон. Потороnил людей, мотор... Люди вроде бы поспевали раньше. Слышались уже тяжелые шаги Данилы Журака. Мелькнула, зашуршала красная юбочка Зоси Зелинской. Потом показалась та стежка в саду, которую посылал смотреть Гринчук. Пахло свежестью, девичьими косами... Зашаркало вдруг как помазком по стене: так ходит Довбеняк. Голоса... Смех... Песня... И опять тишина. Пригода осмотрелся и пустился, крадучись, по той стежке... Шагнул раз... Другой... Земля обжигала подошвы. Огонь перебросился выше, к спине... Олекса задохнулся. И проснулся уже в воде. Кто-то сильный стянул его за ноги на дно. Ударил руками, забился всем телом... Продолжало тянуть... С трудом вынырнул вверх лицом. Увидел над собой темное, ночное небо. Только теперь охватил страх. И, выплюнув воду, закричал, как умел кричать только Пригода...

...Перегруженный челн пристал к берегу, что светился праздничными сорочками парней, звенел голосами девчат.

— А мы узнали, что это вы зовете!

— Здорово так кричали!

— Вуйко Олекса, на вас нитки сухой нет! Что случилось?

Вдруг на дне челна так страшно забилось — покачнувшись, он даже зачерпнул воду бортом. Девушки завизжали, бросились врассыпную...

— Ой, боже, что там?

Звезды освещали одежду Пригоды, мокрую насквозь, — он лязгал зубами. Но страх смерти был побежден, снова впереди — жизнь, под ногами — твердь, и душа не застыла...

— Хотите знать, русалочки, что случилось? Как говорится: «Тато, я татарина поймал!» — «Так веди сюда!» — «Не ведется...» — «Так держи!» — «Не держится...» — «Так отпусти!» — «Не отпускается...» Вот так и со мной. Поймал я татарина — стофунтового сома. А он: «не ведется...» Удачливый день будет у Данилы — в самый раз пришлась рыбина! И ко мне вовремя подоспели. Видать, спешит уже по стежкам-дорожкам счастье и к Жураку...

В челне опять бултыхнуло. Девушки — снова в кусты. Только Зося Зелинская застыла как вкопанная... Спешили люди из школы на веселый шум. И узнала в одной из фигур — Довбеняка, в другой — Катерину Гринчук... Ночь. И никому не видно, как Зосе тяжело. Ведь обещала себе всю жизнь любить только Пилипа...

Довбеняк поздоровался, заглянул в челн. Послышались еще шаги: подошел Михайло Байда с новым председателем сельсовета — Юрком Мельником. Зосе становится чуть легче: не будет Катерина любезничать на глазах у всех...

— Высушим вуйко Олексу! Высушим! Давайте на Скалу — там смолистые ветки и ветер...

Вымокшего, притихшего Пригоду прямо в челне тянут по песку.

Сом-басурман на сплетенных из лозы носилках отправляется в школу, на кухню.

Довбеняк и Зося, рука к руке, тянули со всеми челн на Скалу. Затрепетал костер наверху, как знамя. Досы-

хаст развешанная на сучьях одежда Пригоды. Рядом расположился Стась Гринчук. Иван Пидвезеный, с весломом в руках, словно ненароком сбил с приятеля шапку, надвинутую чуть ли не на уши...

— Смотрите, Стась постригся под нулевку! Стась собрался в армию! — несутся со всех сторон шутки девушек. Радостно им, что так все вокруг молодо: и парни, и трава, и лето, и они сами...

А костер горит все ярче. Огонь издавна сближает людей, роднит, заставляет думать о необычном... И, глядя на него, все притихли...

Уставший за последние дни Довбеняк растянулся на траве, порыжевшей от дневной жары. На сосновом пеньке — чтобы было видно хлопцам и особенно Пилипу — устроилась, выгнув стройный стан, Зося Зелинская. От вида девушки, гибкой ее фигурки становится Довбеняку уютно и хорошо. Не хочется отводить глаз от нежных губ, что, успокаивая, таят вместе с тем неясную тревогу... По другую сторону костра, там, где ветер потише, молодежь собралась вокруг Юрка Мельника. Тепло одетый, сидит он на перевернутом челне... Байда, Данило, Пригода, отвернувшись от огня, давно уже погрузились в какой-то таинственный разговор.

Катерина подошла к Пилипу. Наклонившись, тихо сказала:

— У вас есть сердце? Зося вот-вот заплачет. Прошлись бы с ней за сон-травой или за шишками для костра... И чего я не парень!

«У вас есть сердце... У вас есть сердце...»

Эти слова Довбеняк уже слыхал от Гринчуков. Тоже в тревожный час. В самом начале задания. И вот оно заканчивается...

«Хватит ли у меня сердца на всех вас — Ольга, Зося, Данило, Юрко, Стась, Зореслава, Катерина?.. Хватит ли?! Ведь суждено мне проститься с вами через сутки... Проститься...»

Да, всего несколько часов назад был Довбеняк весьма далек от этого мирного, полуночного огня.

«Вам, товарищ Довбеняк, повезло. Огарок захваченной вами свечки привел нас к неожиданным результатам. Как ни странно, но именно с той, неудачной для вас ночи попали в наши руки следы зачинщиков заговора. Хорошо, что вам и скомороховским товарищам не изменила выдержка и вы не тронули раньше времени Цизорика и Нарытников — мелких винтиков оуновской машины. Благодаря этому мы вышли на след их главаря, надрайонового, за которым неминуемо потянется длинный хвост. Все сделано так, что о провале он и не предполагает. Операция по ликвидации подполья подготовлена. Пока даем ему два-три дня, чтобы посетил те адреса, которые еще неизвестны. Вам необходимо срочно оставить Скоморохи. Дальнейшее пребывание там опасно...»

Пилип попросил разрешения провести в селе еще сутки:

«Всей коммуной справляем день рождения человека, с которым подружился. Вы знаете, о ком речь: он печатался в нашей газете».

«Это ваше личное дело. Но должны заметить: товарищ, о котором идет речь, попал в неприятную историю... Загадочное исчезновение бывшей невесты, нападение на председателя сельсовета...»

«Но председатель снят. Журак не нападал на него. Он только...»

«Как — снят? Как — не нападал? Своими жалобами и доносами Цебрик завалил все инстанции! А насчет нападения — имеется свидетель. Весьма напористая гражданка...»

Довбеняк, выслушав, помрачнел. Достал из кармана маленький этюд:

«Она?»

«Она, — ответил комиссар. И добавил: — Мы их ничем не обнадежили. Но сигнал составлен кем-то весьма убедительно... К сожалению, товарищ Довбеняк, ближай-

шие дни могут быть очень трудными для нас. Но... нужно верить в хорошее...»

Ночью Пилипу стало известно: генеральный штаб начал передавать директиву военным советам пограничных округов — привести части в боевую готовность...

Мирно потрескивают угольки костра. Подошел Журак — взять огонька для туго набитой трубки Пригоды. Довбеняк пододвинулся к нему.

Боевая готовность...

Не был ли Журак еще два дня назад в боевой готовности, когда разгадал врага в Цебрике? Ведь и он, Довбеняк, все больше подозревал председателя. Недаром в последнее время ищут следы давнего провокатора по кличке «Владек» в захваченных архивах дефензивы...

Пилип думает о Скоморохах. Удивительный народ! Сколько ни разговаривал с Ольгой, так ничего и не узнал от нее о муже, о Смалие и Нарытниках... Нет Ольги... В голову никогда не могло прийти, что допустит такое... Как переносит это Данило в кажущемся спокойствии? Где берет силы, терпение? На следующий день после стычки с Цебриком пропадал где-то... Пилип разыскал его поздно вечером возле хаты, в садике, и почувствовал: измучен человек, но вместе с тем словно обнадежен чем-то. Спросил:

— Может, нужно помочь?

— Спасибо. Мне помогли...

— Кто?

— Моя первая и единственная любовь...

Довбеняк подождал: может, объяснит, о чем речь? Но Данило перевел на другое... И хотя был он мрачен — уходил Пилип с радостным чувством: жива Ольга и прислала, видно, весточку...

Чувство это, вспыхнувшее после разговора с Жураком, через сутки здесь, у костра, окрепло еще больше. Вечно озабоченный директор техшколы прислал сказать, что звонили Довбеняку из района, просили передать, чтобы заехал к ним агитатор в ближайшее свободное воскре-

сенье. И пошутили: будто хотят сообщить нечто о прекрасной половине человечества...

Ах, как хочется Довбеняку, чтобы напряжение этой ночи развеял солнечный, мирный завтрашний день! Все больше верных людей завоевывает скомороховский актив... И задуманный праздник — еще один повод для дружеского единения...

Все замечают и чувствуют сосредоточенную задумчивость Довбеняка, Байды, Пригоды, Данилы... И Зореслава Король, что в полдень вернулась с районной сессии, кланяется Байде:

— Просим, Михайло Степанович, просим спеть песню!

Все с детских лет помнят, как задушевно пел Байда. И теперь затаили дыхание, ожидают, смотрят умоляюще: мол, отбросьте заботы, такой сегодня вечер, такой вечер...

В Цареграде на рыночке,
Ой, пьет Байда мед-горилочку...

Замолк голос поющего, закончилась песня, а лес и Скала все слушали ее отзвук в последней тишине этой ночи.

— А теперь пусть вуйко Пригода споет... — И Зореслава поклонилась Олексе.

— Хоть кум Стась и приказал, чтобы вспомянул давнюю, да боюсь: не получится сегодня... Нам ведь завтра петь и петь. А сейчас, думаю, выпал черед Даниле: дальше-то обязан будет нас слушать...

Все посмотрели на Журака. Он начал неуверенно, но постепенно голос его окреп:

Не казни меня ты, матушка!
Я и сам печалюсь:
Ой, как выйду за ворота,
От ветра качаюсь...
Оседлаю лошадушку —
Друга вороного,
Пусть несет он в чисто поле

Меня, молодого...
В чистом поле, вот где воля!
Травы зеленеют...
Бродит где-то моя доля,
И сердце немеет...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Еще укрывала землю ночь, когда прибежала к Зелинским Журачиха.

— Сыночек мой! Ох, нет уже у меня Данилки...

Довбеняк вскочил с постели, подал старой воды:

— Прошу, успокойтесь, присядьте... Вы что-то не то говорите... Час назад я проводил Данилу в техшколу. Комсомольцы там, дежурят...

— И не говори... Увезли его уже.

— Кто увез? Куда?

— Военный какой-то. Сами знаете — не было у сына никаких бумаг... Ни книжки военной, ни паспорта. Только ваша стрельба была. Да пропавшая Ольга...

Забыв про третью подряд бессонную ночь, Довбеняк бросился в сельсовет, к единственному в Скоморохах телефону.

Ночной дежурный похрапывал за столом. Пилип покрутил ручку аппарата. В трубке — мертвая тишина.

«Перерезали провода... Настал-таки тяжкий день! Послать гонца комсомольского в район. А дежурного — за Юрием, за Сыроветником. А где Байда? Нужно спешить... Может, еще предупрежу что-то страшное...» — В мозгу, отупевшем от бессонницы, метались мысли. Телефон продолжал молчать.

Охваченный тревогой, вышел во двор. Все тихо. Ночь неспешно свертывает простертые крылья. Ничего вызывающего подозрения... И одуряюще пахнут расцветшие липы. Странно — когда шел в сельсовет, такого аромата не было.

«Что делать? Убежден даже, если случилось самое страшное, место мое пока здесь, на маленьком этом островке. Тут, в Скоморохах, как никогда, нужна победа. Даже без Журака соберемся на праздник нашего единства. Нашей дружбы. Пусть видят враги сплоченность, выдержку народа...»

Кто-то тихо поднимался по ступенькам крыльца. Из мужчин так мог идти только Юрко Мельник. На сердце у Пилипа стало чуть легче... Шаги приближались. И снова тревога — не он! Похоже — женщина... Знакомая походка... Довбеняк подошел к двери — она распахнулась, и на пороге встала Ольга!

Ошалев от радости, подбежал с распростертыми руками к нежданной гостье:

— Ольга... вы?!

— Да.

— Я всегда верил... В жизнь. В вас и Данилу... Как хорошо, что пришли сюда, ко мне, к...

— Не к вам. Просто горела лампа. Спешила до рассвета... А зайти некуда...

— Пускай... Знаю же... Данило...

— И не к нему. Пришла в село, чтобы все увидели: жива. И Данило ни в чем не повинен. И все! Не к нему... Я... Я... теперь потерянная...

Теснятся в груди тысячи слов, тысячи вопросов. Но Пилип молчит.

Светает. Потушена лампа. Слышно — кто-то идет по дороге. Довбеняк в замешательстве выглянул в окно. Нет, не Юрий и не Сыроветник.

«Рано стали нынче люди ходить. Обычно в воскресенье еще тихо».

Посредине дороги, не спеша, словно нарочно поднимая пыль, окропленную росой, вышагивал Думпаль. Пилип подумал: отчего-то никогда всерьез не интересовался этим человеком. Так и не узнал ни имени его, ни настоящей фамилии. И вдруг показалось: в этот момент ответ на неузнанное раньше многое значит... Как ни старался —

вспомнить не мог. Захотелось спросить Ольгу. И тут же смутился: лезет в голову серая обыденщина на пороге такого чудесного утра... Молча посмотрел на Ольгу... Побледнела она, осунулась, глаза стали еще больше...

— Вы и не знали, отсутствуя, что хотим сегодня всем миром отметить день рождения Данилы?

— Не знала. Но сам день не забыла. Оттого, может, и спешила, чтобы не опоздать, вовремя принести свой последний подарок... Не убийца Данило. Это — Семка, Нарытники, Смалий...

— Опоздали, Оля. И с подарком, и со свидетельством.

— Видит бог — не могла раньше... — И заплакала навзрыд.

Подошел, обнял, как родную сестру. В волосах ее запутались лепестки липового цвета.

— Не надо, Оля. Все образуется. Данило уехал этой ночью. Так было нужно. Но вернулись вы, вернется и он. И вправду, судьба его в последние дни зависела от вас. Теперь наверняка скоро будет дома. Может, поспеет и к застолью... И ваше счастье — в ваших руках... Вытрите глаза, сестричка... Скоро и мы пойдем к Журакам.

Достал часы, посмотрел, удивился. Стрелки показывали то же время, что тогда, в сельсовете... Словно остановилось все... Встряхнул. Прижал к уху. Привычного тиканья не было.

Услышал другое: в Скоморохи по островской дороге катился, дребезжа, воз... И еще: далеко где-то громыхнули странные громы... При этом звуке рука Пилипа соскользнула с плеча Ольги.

И в эту минуту, распахнув дверь ударом сапога, в мастерскую ворвался Семен Цизорик. На лице — нелюдская, свирепая радость...

— А-а-а, пришел мой час! — Семка выхватил револьвер. И только теперь увидел Ольгу. Выскользнув из-за Довбеняка и стараясь прикрыть его, она медленно двигалась на Цизорика.

— Изверг... Не смей! Стреляй в меня...

И вдруг револьвер, направленный на женщину, громко щелкнул на всю мастерскую... Осечка!

Довбеняк мгновенно бросился на Цизорика. Но тот левой рукой вскинул другой револьвер.

«Отстранить, опрокинуть ее, чтобы промахнулся!»

И Пилип потерял единственную, роковую секунду... В этом рывке и настигла первая пуля. Падая на цементный порог, вышиб грудью дверь с косяком. Еще две пули, вкось и навылет, пробили рухнувшее тело...

— Где та паскуда? Где предательница? — шипел по-змеиному Цизорик и шарил налитыми кровью глазами по мастерской. Почудилось — в глубине комнаты не портрет: живая жена. Разрядил револьвер, не сходя с места. И когда окутала все багровая пелена, когда лицо женщины превратилось в огненную, нацеленную на него стрелу, выхватил из-за голенища нож и, подбежав, вогнал по самую рукоятку в грудь изображения... Нож застрял. Ольга не падала. С силой рванул — что-то непонятно затрещало...

Ударяясь о стены, пятился дальше и дальше, как загнанный волк от бессмертной Ольги, от недвижного, за порогом, Довбеняка...

Шарахнул кулаком по раме, выскочил в окно и прыгнул в седло лошади, что выросла у крыльца сельсовета, словно из-под земли.

Ольга поднялась из-за опрокинутой скамьи.

— Это я принесла тебе смерть... это я... это я...

Упала на колени, пыталась в беспамятстве оторвать от пола, прижать к груди голову Пилипа, ставшую такой тяжелой... И тело его становилось чугунным, леденело...

Встала, пошатываясь, хватаясь за стены липкими от крови руками, вышла на ступени и впервые в жизни нечеловечески, дико закричала.

Раньше всех на этот вопль вбежала Зося. Молча проскользнула мимо Ольги, молча упала на труп...

И только когда затопали по дороге бегущие, когда ударил большой скомороховский колокол и голова у Зоси

стала раскалываться от шума, она вскочила и вцепилась в Ольгины косы:

— Из-за тебя сделали такое... из-за тебя... Мало было Семки, мало Данилы, мало леса, мало тебе всего... А я его любила-а!

...Тело Довбеняка стало холодным, как цементный пол, исхоженный многими поколениями скомороховских ребятишек. А Зося Зелинская раненой птицей замерла на залитых кровью плитах, прижавшись к застывшим рукам Пилипа, навечно стиснутым в кулаки.

Ничего здесь нельзя было ни исправить, ни изменить, но она словно надеялась на чудо, словно ждала ответа:

— Скажи, милый, кто это так тебя?

Юрий Мельник, новый председатель сельсовета, одним из первых прибежавший на выстрелы, оставил Зосю с погибшим, но распорядился никого больше не пускать в мастерскую до приезда следователя.

— Кто это сделал, кто? — вслед за девушкой горестно вопрошали потрясенные, плачущие люди, стоя перед запертыми дверями.

Все смотрели в тяжкой задумчивости на солнце, что поднималось из обильного цветения Гринчуковых лип, холодное и алое, как кровь Довбеняка.

Ольга так никуда и не ушла. Сидела ни жива ни мертва на ступеньке крыльца. Вокруг стояли Пригода, Русин, Гринчук, Гриць Ковалев, сестры Байды, Иван Пидвезеный...

Огромными, неподвижными глазами она тоже смотрела на людей, на солнце, но не видела никого и ничего. И Ольгу будто не замечали: снова повернули головы к запертым дверям, закрытым окнам, где лежал Довбеняк, где был расстрелянный и пронзенный ножом бессмертный ее портрет.

Стояли все, как у открытого гроба, хмурые, молчаливые...

— Кто это сделал? Ты же была с ним, с живым... — билась в Ольгино сердце волна общего горя.

Она не отвечала. И вокруг замолчали, будто не ее, кого-то другого при жизни схоронили Башовская с Цебриком, будто не из-за нее пришли в село великая беда, скорбь и лютая несправедливость...

Кто-то, правда, упомянул и об этой, сидящей на ступеньке, но только потому, что вспомнили о Даниле и Семене.

А заговорив, оглянулись вокруг. Но не было между ними ни Журака, ни Цизорика... В толпе зашептались, что видели перед рассветом Семку на чужом коне...

В той стороне, где Станислав, где Тернополь и еще дальше, аж под самым Львовом, снова сгустились черные тучи. Но страшного в этом не усмотрели: скоро Иван Купала, самая грозовая пора... Так же недавно гремело и хмурилось над Крутежом, над Скоморохами, а в тех, дальних местах сияло солнце...

Опять прогрохотало, и кто-то посоветовал все же послушать радио у Зелинского... Но трудно войти в дом, где всего несколько часов назад был Довбеняк живым и где, как выяснилось только после гибели, надеялись видеть его зятем...

Дожидались гонцов, посланных в район, в техническую школу, в Городиск. Они были на том же проводе, что Скоморохи, и телефонная связь прервалась...

В последнее время в селе привыкли, что в трудную минуту всегда появлялся у них Байда. И сейчас втайне поджидали его... Говорили же люди: не дождался конца гулянья на Скале, встревожился чего-то и подался среди ночи пешком в район...

Стали тихо, поодиночке, расходиться по домам.

И тогда Пригода оперся на плечи друзей: Гринчука, Русина. Долго стоял так, задумавшись. И вздрогнул. Шагнул тяжко к окаменевшей Ольге, поднял косу, упавшую в пыль. И хоть Ольга даже глаз не открыла, сказал как о давно решенном:

— Вечная память Пилипу Романовичу — царство ему небесное. Придем еще к нему... А теперь нужно думать,

как жить дальше. Идем же и мы по домам. И ты, Ольга, иди... Хотя куда же тебе? А? Никуда, кроме нашей хаты...

Гринчук, с утра потерявший дар речи, не промолвил ни слова. Русин молчал тоже: слезы не давали говорить. Старик, ссутулившись, запихивал за широкий пояс костыль, чтобы освободить руку, сжимавшую бесполезное теперь кресало...

Наконец Гринчук нарушил молчание:

— Правда, Ольга, идем к куму Олексе...

Русина вроде бы и не пригласили. Обиженный, сказал:

— И мне домой нужно. За телочкой для Жураков. Чую, не будет больше на это времени... — И зашагал, забыв про костыль.

Олекса неловко перебросил косу Ольги ей на плечо, взял за руки. С трудом приподнялась, пошатнулась, но устояла на ногах и пошла покорно следом за Русином, между Гринчуком и Пригодой...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Позади Стася Гринчука осталось порядочно добрых казацких верст. Уже и гак начинался, что поведет к Бережанам. Спешил парень с воском, вышел посреди ночи, не догуляв с друзьями на Скале...

Разгоряченный быстрой ходьбой и заманчивыми мыслями — недалеко от городка школа Оленки, — поднялся на холм, остановился передохнуть, поглядеть на дорогу, что в этом месте раздваивалась и разбегалась в стороны. Смотреть было трудно: солнце слепило глаза, перекатывались волнами рожь и конопля, а придорожный куст, на который попытался влезть, чтобы стать повыше, прогибался и больно царапал босые ноги...

«Ничего, не заблужусь... А если в Бережанах управлюсь побыстрее да забегу на минутку к Оленке?! Что в

этом плохого! Хоть и постриженный, и босиком, зато сорочка белая и штаны праздничные...»

Где-то вдали погромыхивало. И словно потрескивало сухо. Казалось, громче, чем всегда, звучали в селах колокола. Да нет. Почудилось...

Внезапно за плечами зафыркали кони, забренчали бубенчики упряжки. Показались вороные гривы, затарахтел легкий возок. Толстый усатый человек, что высился на облучке, словно бочонок, был за кучера. На заднем сиденье — жених с невестой. Он в зеленой шляпе, на лацкане — букетик с лентой. Она чернявая, худая, беспокойная, на голове — веночек из восковых цветов.

Стась вытаращил глаза на странный свадебный поезд посреди пустынного поля. Отчего-то не верилось, что люди эти взаправдашние...

— Эй, босяк, не разевай пасть — штаны потеряешь! — гаркнул усач и огрел Стася кнутом. Молодые покатились со смеху, глядя на оскорбленного, растерянного парнишку, что закрутился сгоряча на месте, будто в поисках подходящего камня...

И возок исчез так же неожиданно, как появился...

Ярость, негодование захлестнули Стася... Душа жаждала немедленной отплаты... Туманилось сознание... И, забыв обо всем на свете, он бросился вдогонку за обидчиками.

Тяжкий, влажный зной застыл в седой двухметровой ржи. Земля будто плавилась, но Стасю казалось: он обжигает сам. Он был как пуля, что вырвалась из ствола, и полет ее вот-вот оборвется... И будет тогда плач, и будет рыдание... А может, так, молча, сгорая, суждено прорываться через всю жизнь?!

Не скоро увидел наконец на обочине дороги проклятый возок, неподалеку молодых и рядом с ними толпу чужих людей.

Задохнувшись, остановился возле незнакомого старика. Тот плюнул себе под ноги и, глядя на возок, зло сказал:

— Холера его знает, что оно такое... Тебя только, парень, не хватало. Шагай с нами. Не беги. От себя не убежишь...

— А я и не думаю... Это они... — Зеленая шляпа молодого притягивала, как магнит, и, видно от жары, заломило виски. — Вон они... бегут, да не в ту сторону... — И шагнул, опережая жениха, что заторопился к возку, не вынимая руки из оттопыренного кармана... Невеста спешила следом.

Выставив, как щит, круг воска в мешке, Стась угрожающе втянул голову в плечи и двинулся на них. Дороги не уступили... Тогда, роняя мешок, яростно, как крыльями, взмахнув руками, он сорвал шляпу с молодого. В пыли, под ногами Стася, она превратилась в растоптанную жабу. Толпа замерла. Старик стоял ближе других.

— Стой, чернявый! Разве пан ведет под венец твою девку? Что соперницы срывают венки — видел... Ну а шляпу зачем? Твою девку, спрашиваю, под венец? Так она супротив такого парня... и годами... И злющая, как сабля...

Не слушая, Стась бросился к возчику, сжав побелевшие кулаки.

— Надо же! И тут тебе война... — хрипло выдохнул старик.

«Что он сказал? Война?» — голоса у Стася не было, губы двигались беззвучно. Он тупо смотрел на толпу.

Жених с непокрытой головой поспешно подсадил молодую на сиденье, и тут же сам оказался рядом с возчиком. Кони рванули галопом на Бережаны, а люди медленно двинулись на запад.

На Стася будто опустился туман. Когда вернулось сознание, понял: остался один-одинешенек посреди опустевшего поля...

«Что сказал старик? Зачем звал с собой? А-а-а, война...»

Застонал сквозь сжатые зубы, прижал покрепче под

мышкой мешок и побежал в ту сторону, куда пошли люди. Ноги не слушались, как в дурном сне, и эта мысль вдруг показалась спасительной. Остановился, раздумывая:

«А может, это и правду только страшный сон?»

И увидел затоптанную тряпку на земле. Только он и узнал бы в ней зеленую шляпу... Собственной шапки не было. Когда потерялась — не помнил... Голова, подстриженная Иваном под нулевку, пылала. Шатаясь, подошел к стене ржи. Лег в ее прохладу: там, у корней, на стеблях ржи и васильков, таилась роса, а может, слезы...

«Люди пошли на запад. Не умирать, а жить! И я сейчас поднимусь, пойду за ними...»

Стась встал и зашагал в Бережаны.

Таким городок не был никогда... Но мысль: «На возу не молодые! Не молодые...» — заставила повернуть к райкому. Он был уже здесь, когда им с дедом пришлось очень уж круто...

Показались за деревьями окна второго этажа, и Стась вспомнил, что сегодня воскресенье и никого там не будет. Но ведь и Бережаны были нынче другими. И он продолжал идти.

Возле здания творилось что-то непонятное: какие-то зеваки за кустами даже привстали на цыпочки, разглядывая.

Маленький штакетник, за которым еще недавно цвели пионы и ранние розы, сломан. Возле входа, на газонах, нераспряженные кони лениво пощипывали траву, таща за собой уже нагруженные подводы. На полуторку, стоящую рядом, бросали связки бумаг.

За кустами шапка неопределенного цвета гнусавила:

— Документы тащат. Драпают без памяти. Так ведь не поспешишь — кой-чего дождешься...

Руки у Стася зачесались: сорвать бы и с этого шапку... Стряхнул пыль со штанов, там, где трава была меньше вытоптана, вытер ноги.

— Чего тебе? — спросил дежурный. И Стась вспо-

мнил: именно этот человек помог им тогда с дедом... Ответил:

— В Бережаны... приехали... выдают себя за молодых... А в глазах — одна ненависть... Я их...

В помещение дежурный не впустил, но, видно, встревоженный сообщением, вызвал другого и тут же отослал его куда-то... Сказал неуверенно Стасю:

— Приходи завтра... Спасибо...

Голова разламывалась. Мешок с воском стал таким, будто была в нем вся тяжесть земли. Понял: нужно поскорее избавиться от груза.

Дорогу к лавке знал хорошо. Дошагал быстро. Вошел в распахнутые двери, поздоровался с лавочником, который посмотрел на него, как на пришельца с того света. Попросил:

— Взвесьте, будьте добры.

Лавочник скрылся за внутренней дверью, вынес кружку воды:

— Вот, напейся! А то еще упадешь. А воск... Забирай его. Будет на свечки. Иди, парень, домой. Слышишь, гремит? Не сегодня-завтра и здесь заварится. Я их хорошо знаю...

Стась чуть не заплакал. Но кружку взял, глотнул раз, другой... Вроде полегчало. Не поблагодарив, вышел в вялой истоме и остановился, внезапно пораженный смыслом слов, только сейчас дошедших до сознания:

«Что же будет? Куда пошли те люди и старик? У них еще заступы были... Значит, где-то здесь, близко должны работать... А враги, выходит, могут и сюда ворваться...»

Стась поспешил к реке. Тут близко стремительно и плавно текла Золотая река, зажатая верболозом и высоким травостоем. Он увидел старую вербу, наклонившуюся с откоса. Взобрался по щиколотку в воде на промытый до белизны корень. Присел зачерпнуть влаги в ладонь, освежиться. Закружилась голова. Чтобы не упасть, сел на корень, и еле хватило сил размахнуться и швырнуть мешок с воском на траву.

И вдруг услыхал: там, вдали, где Гнилая Липа, где Ходоровщина и Скоморохи, грохнуло так, что содрогнулось дерево.

«Что это? Война? Бомбы? Снова неволя? Снова то, что было... Нет, еще страшнее... Как же дед? Оленка? Пойти к ней?»

Расспросил людей про дорогу к ее жилью. Подошел к хатке, обсаженной белыми мальвами. Когда-то любил эти цветы... Не сейчас... Как был с мешком в руках, шагнул в дверь, не сказав даже обычного: «Бог помощь», и увидел молодую женщину, пышную и белую, как мальвы под окном. Она удивленно посмотрела на неожиданного гостя, но улыбнулась, пригласила сесть, спросила:

— Что с тобой? Прямо горишь... Ты к Олене?

— К ней...

— А ее дома нет.

— Как нет?

— Так ведь... Она по воскресеньям всегда дома бывала. Экзамены в школе кончились. Вечером погулять собрались, а тут оно и случилось... Господи! Вызвали Олену. Слыхала — на окопы... — Всплеснув руками, женщина подбежала к Стасю, коснулась его лба: — Ой, горюшко! На самую жару постригся! Кто ж с такой головой под солнцем ходит... — выбежала в сени, вернулась с пучком зелени: — Нагнись-ка! — и положила на затылок Стасю прохладные листья подорожника. — Жар у тебя... Сбегаю к соседке, спрошу, чего делать от солнечного удара, да узнаю, что на свете творится... Потерпи. Она рядышком живет...

Мысли переставали путаться, и Стась подумал об Оленке:

«Сколько жила она в этой хате... Почему не пришел раньше? Чего дожидался? Судьбу не ждут. Ждут смерть. Судьбу догоняют. Кто знал, что она так распорядится? Ушла Олена... На окопы. Там, во ржи... Тот дед... И девчат много... Наверное, была с ними. Не узнала».

Поднялся. Листья соскользнули с головы, упали. Подо-

шел к постели, где еще прошлой ночью спала Оленка. На спинке висела девичья сорочка. Забыв обо всем, прижался к ней лицом...

Память Стася не сохранила лица матери. И живые черты Оленки за месяцы ожиданий растаяли со снегами, стали зыбкими, как отражение на воде... И вдруг тут, нежданно пришло самое дорогое, давно забытое: словно положила мать прохладные ладони на голову сына, словно любимая коснулась его губами...

Когда вернулась хозяйка, Стась подбирал упавшие листья. На спинке кровати висела, как раньше, девичья сорочка...

— Спасибо вам, помогли... Все в порядке. Не рассказывайте Оленке...

И, не задерживаясь, распрощался. Хотелось за ночь, до рассвета, поспеть в Скоморохи. Не знал Стась, что станет эта ночь нескончаемой, беспроглядной... Что он будет нести на своих плечах рассвет в родное село бесконечно долго и тяжко, сквозь смертную тьму...

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Высокие чистые облака на востоке. Солнце слепит глаза. А на западе клубятся черные дымы-тучи и сотрясается небосвод от гула самолетов...

Промчался мимо леска свадебный поезд. Весь-то поезд — возок с молодыми да усатый толстяк, что нахлестывает коней... Торопятся, видно, гонят... Вот уже и белокаменный городок, разбросавшийся по холмам, а за ним — золотая сабля реки и серебряное блюдце пруда в стороне...

...Нет, это еще не Киев, это пока не Днепр. И не спешат еще следом свои полки... Пока есть только твердая надежда на гул самолетов, на орущие колокола набатов, на жидкую стрельбу в селах, через которые проезжал...

И не видна еще цель, но «молодому» не терпится сменить поскорее сиденье возка на седло боевого коня...

«Сбудется все! — думает Вир. — Вот она, свадьба! Пролетит день, наступит ночь. И оседлаю коня... Пусть громче звучит набат! По всем дорогам двинется наша рать... Чуют ноздри запах бездымного пороха... Не в белый свет посылали пули отмщения наши друзья... Мы озлобили народ до предела, и он приготовился к прыжку... Осталось только направить... Пора, пора бежать большевикам сломя голову...»

Дальше и дальше от городка, что затаился, замер, выжидает... Еще село, одно, другое... Уже недолго. И — свадьба! В пути задержать не посмеют: невеста, жених... И с документами порядок.

Но что за люди впереди? Бегут? Нет, отчего-то спешат на запад... Туда, где грохочет? На верную гибель? И не солдаты... Обычная, мирная толпа... А что блестит у них в руках? Уже хорошо видно, как треплет ветер волосы мальчишек, как яркими огоньками вспыхивают косынки девушек, как стараются не отстать седые деды...

«Но это же наточенные косы! Это же наши гайдамаки! Осуществились чаяния верховного провода, исполнена клятва, подписанная кровью... Напрасны были сомнения, неверие в себя, в родной народ... Не пропал даром святой труд лучших сынов и дочерей... «Великое подполье» не миф, как думали некоторые...»

И Вир державным жестом протянул руку «невесте». Она неподвижна, как статуя...

Толпа все ближе. И «жених» каменеет: перед ним не сотни гайдамаков, а сотни... могильщиков!

«Почему с лопатами? На земляные работы? Рвы копать для большевиков? Чтобы не вспыхнула эпидемия... Ведь поля будут покрыты трупами... Будут... И неизвестно, скольких мы еще положим».

— Оксана! Вот пахари, кормильцы наши... Соль земли! Загляни им в глаза... Они идут погребать свое раб-

ство, прокладывать дорогу воле, самостийности нации... И нет силы, которая остановила бы их... Придержим коней, подойдем под благословение. Так положено издревле, и не нам нарушать дедовские законы...

Снова державный жест.

Из толпы, навстречу приехавшим, вышел старик в брыле из ржаных стеблей. Не думал, не знал он, какое готовится здесь черное предательство... Просто вспомнилась деду молодость. И поднял руку для благословения:

— Рано поднявшись, смолоду обвенчавшись да во время обсеявшись — не будешь каяться. Пусть благословит вас бог и пречистая дева Мария! В тяжкие времена довелось стать под венец, дети мои... Но будем надеяться на хорошее... Не затуманилось ясное солнышко, наливается рожь, распускаются липы, трудятся пчелы... Если бы беда собиралась непроглядная, погасло бы солнце, осыпался бы цвет с деревьев... Правду говорю, люди? — И снова повернулся к молодым: — В добрый час! Чтобы видели свет, мир и детей своих! — По лицу старика катились слезы.

— Благодарим! Вас, дедушка, и людей наших добрых не забудем... Но кто и куда всех гонит? — У невесты глаза волчицы.

— Кто? Сами себя гоним и горе наше великое. Куда? Подпалил нашу хату шваб... Окопы рыть будем. Плечом к плечу станем рядом с сынами и внуками, что там... в дыму-пламени... падают на родную землю нераспустившимся цветом...

Вир, отшатнувшись, оперся на плечо невесты. В последней надежде взглянул на неблизкие клубы дыма... Но ничего утешающего не увидел и там. Пробежал по телу озноб страха. И отчего-то вспомнился недавно встреченный паренек, над которым, не таясь и, казалось, в полной безопасности, мимоходом так злобно подшутили...

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

«Убил... И его... И ее... Кого, кого еще? А если и так — проехал на рассвете возок, протарахтел, как уведомили. Наверное, не расслышал... Все равно шагают... Немцы, немчики, драгоценные мои...»

Звякнуло за спиной, будто разлетелись осколки оконного стекла.

Лошадь прижала уши, переступила на край дороги. Ударил ее семизарядным по ребрам...

«Не мой конь. А чей? Да это же поровистая кобыла Цуняка, — испугался своего голоса, перешел на шепот. — Норовистая... А если упрется и не сдвинешь с места? Энкаведе... Боженька! Бежать... Пешком. Оставить доказательство? Потянут Цуняка, а за ним...» — Тяжкое помрачение не проходило. И видел себя не в седле, а над трупами в толстенных, головой не прошибешь, стенах сельсовета...

Тем временем норовистая кобыла вынесла Цизорика за село. Минували Дьячковую улицу, хоть лугом было удобнее. Но на влажной земле остались бы следы подкованных копыт... Лошадь чуяла недоброе, гнала сколько хватало сил.

Западный ветер швырял лохмотья тумана. В голове Семки чуть охладились раскаленные камни, и он вспомнил: в тот год, как женился, поймал руками щуку и швырнул с перепугу на берег. Щука все раскрывала и раскрывала пасть, пока не оглушил. Теперь точно так раскрывает рот он сам... Дышит и дышит...

«Так и есть — серая кобыла. Потому — и утро серое, как сталь. А на сером никто меня не заметит... Даже я сам. Даже сам?»

Ощутил затылком прикосновение оставшегося позади... Схватился за голову — ожег холод стали. В руке был семизарядный, хоть и без единого патрона. Глянул: там, где держался за повод, виднелось липкое пятно.

«Кровь. Моя кровушка... О стекло поранил. А Думпаль золотой парень — подвел к окну серую...»

И вдруг небо над Скалой рвануло — кобыла поднялась на дыбы. Завыла на винокуренном заводе сирена. Казалось, кто-то люто бьет гигантским батогом, рассекая землю и небо пополам...

«Землю хотят отсечь... От немцев. Не выйдет. Вплотную сошлись! А если Байда узнал про сельсовет? Дает сигнал погони...»

Ударил каблуками лошадь. Она пустилась вскачь, укрытая тенью Скалы. Гора заглушала вой сирены, но, приглушенный, он стал еще страшнее. Цизорику померещилось — с неба спускают крюк и вот-вот подцепят за ребро...

«Грехи...» — опять не узнал свой голос. Сполз с седла и, застонав, съехал в глубокую колею. Не помогло: сирена продолжала выть, а вместе с ней крепчал свирепый рев — небесный крюк искал жертву...

Глянул ввысь и нащупал в карманах револьверы. Добыл из-за пазухи полные обоймы и напихал оружие смертельным провиантом. Пронзающий звук снижался, давил на голову, на сердце... Цизорик водил дулом, стараясь не упустить момент для выстрела... Но цели не видел, а звук, не прерываясь, достиг высочайшей ноты, тонкой, как паутинка, и Семка, с его музыкальным слухом, успел подумать: сейчас оборвется, и все станет как было раньше, до этих кровавых смертей...

В Скоморохах ударили в набат. На сполох. На беду. Исчезал туман. Поднималось багряное солнце. И стало уже нестерпимо страшно...

...Сколько провалялся на дороге — не помнил. Понял только, что стоит и плачет навзрыд:

— Ольга... Ольга... Дня без тебя не выдержу... Боженька! Что натворил! Взглянуть бы... Рехнулся? Кто воскресит после трех и семи пуль? Кто? А кричат все ближе... Вдруг облава? Ну, серая, айда, а то...

Но из-под облаков упал вихрь. Все сметающий, безжалостный.

Впервые в жизни небо глянуло на Цизорика такими же глазами, какими смотрел он на свет... От рева и ярости содрогалась высь: казалось, хочет обрушить на землю всю кривду... Но Боженька понял: это не небо. Там, наверху, явилось иное, совсем непохожее на крюк: крылья, что подхватят и унесут далеко-далеко...

Над Скоморохами, над теперешним большевистским гнездом — фольварком, появились... самолеты! Еще не понимая толком, что это означает, взял под козырек.

«Вот, а не верили... Великую правду говорил проводник про черное небо, про карающих беркутов!»

Один самолет свернул к Скале и, словно приветствуя, описал над Цизориком дугу. В его воображении превратилась она в кривую казацкую саблю... Смотрел, не отводя глаз. Над ним плыл черный самолет: ревели моторы, поблескивали кресты на крыльях...

— Немцы! Драгоценные мои! — заголосил и почувствовал: вырастают за плечами могучие крылья, воспарит он сейчас следом за фашистом... И сложил руки в угодливом приветствии человека, сдающегося на милость.

Самолет отвалил, и земля мелко, как в лихорадке, задрожала: летчик, снижаясь, бил по технической школе.

— Получили, краснопузые! Дождались!

Пулеметы секли и секли, и Семка понял, что отрезан немецкими самолетами от села, от Ольги, от страха перед энкаведе... И прослезился, возликовав:

— Боженька! Свершилось! Я начал... Я! Бросил камень, и покатилась лавина! Теперь по моему примеру многих отправят на тот свет... Смерть! Смерть врагам! Не опоздать бы: немедленно должен явиться в Гайдуцкий лес. Там наши герои, там воля вольная, там... Ведь обещали сразу доверить сотню...

Спешил... Хоть и говорил себе, что отрезаны навсегда Скоморохи пулеметами «юнкерсов», но по-прежнему ощу-

щал затылком ледяное дуновение... И гнал изо всех сил.

«Дадут сотню! Дадут... Уже пора... Уже пора...»

И с горнатовской развилки старался расслышать тихое ржание копей, заглушенный лязг металла, голоса отчаянных парней... То, о чем мечтал, что видел во сне и наяву...

«Уши вянут от тишины... До времени умеем и дивизию замаскировать...»

Приблизился к условленному месту сбора, к поляне, что в двух километрах от Лунтарового куреня.

«Боженька! Музыкой встретят, музыкой...»

Подошел к могучим букам, обрамлявшим поляну. Стража не окликала, не спрашивала пароль. Стражи почему-то не было...

«Умеют так тихо стоять? Невидимки! Видать, узнали! И пропускают своего командира...»

Светило солнце. Тишина. И — ни души...

«Опоздал... — простонал Цизорик. — Опоздал? Но выступить должны были на закате? А солнце — в зените! Где же люди?» — спросил у притихшего леса.

Тишина. Молчание. Сделал несколько осторожных шагов. И впервые за всю дорогу оглянулся. Трава была примята свежими следами. Его следами...

Знал — в одиночестве больше не выдержит.

Подумал нехотя о Лунтаровом курене. В такой день кто-то должен там быть. Расспросить бы... И еще пришла мысль, вязкая, болотная, что не стоит являться туда без «приглашения»...

«Боженька! И в курене можно спрятать сотню. Ну, может, немного меньше... Нет, и сотня поместится...»

Но застал там только троих...

Долгие годы поджидал он свой час, поджидал свою сотню... И вот она, в количестве трех человек, беззаботно расположилась на земле и играет в карты...

— А, Семка! Устраивайся, друже! Четвертым будешь. Принесло тебя, значит...

Они сидели так, словно на свете ничего не происхо-

дило, словно не клал он, Семен Цизорик, столько раз свою жизнь на алтарь победы!

Сделал усилие, чтобы не выхватить револьвер. Может, и не сдержался бы, но сидел среди троих представитель надрайоновой референтуры, тот, что еще вчера строго взыскивал за карточную игру...

И Цизорик взял под козырек:

— Друже референт! Задание надрайонового провода...

Но высокому лицу выслушивать сегодня такое было скучно... Перебив, холодно буркнул «слава» и вернулся к картам.

— Что, Семка, словно с петли сорвался? — добавил от себя Олекса Нарытник, расфранченный, как на пасху.

— Разве не знаешь — война?! Немцы...

Все расхохотались. А у Семки зуб на зуб не попадал...

— В дурака играете?! А, верные сыны... И я... Уложил... Довбенюка... И Ольгу... Ту и другую... — и без сил опустился на землю.

— Трахнул энкаведиста — честь и слава! А про Ольгу чего плетешь? Таки накрыл на пару?

Цизорик вскочил:

— Ах так! Вам смешно?! Трусы... Смерть! — и выхватил трясущимися руками револьвер.

Но троица дружно навалилась на него, выбила револьвер из рук и дурь из башки...

Когда Семка очухался, глянул на друзей и на свои связанные руки, ему примирительно сказали:

— Что война — знаем. Отпраздновали. А помирать — дураков нет. Пускай немцы помирают... А мы придем на готовенькое... Планы восстания изменились. И не сейчас... Теперь наконец понял, друже Семен?

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Столы, расставленные под каштанами во дворе фольварка, ломились от кушаний, раньше в Скоморохах редкостных даже на самых шумных свадьбах.

Журачиха примостилась на уголочке стола, во главе которого думала видеть сына...

Как и двадцать семь лет назад, по бокам Русина расположились Гринчук с Пригодой. Только сейчас между ними и Журачихой можно было усадить не одного еще человека.

А напротив, на солнцепеке, как на костер, как на тысячи игл, опустилась на скамью Ольга...

Стояла та памятная пора года, которая издавна была в селе самой голодной, самой кабальной...

От непривычного изобилия — ни Русин, ни его предки не видывали никогда столько съестного сразу, — от крови, что пролилась в сельсовете, от горя и жестоких потерь старика, как он ни крепился, совсем сморило.

Все молчали. Виновника торжества не было.

Знавшие о дне рождения Данилы и те, кто не слыхал об этом, одинаково не отваживались спросить мать о сыне...

Катерина Гринчук, как во сне, продолжала носить блюда и бутыли. Но никто по-прежнему не притрагивался ни к еде, ни к напиткам... Люди поджидали. Того, кто еще мог прийти...

Вдалеке — над Станиславом, над Тернополем, — застыла недвижная, черная туча. Там погромыхивало...

Подошли курсанты технической школы. Молча присоединились к застолью.

Во двор неожиданно, будто сорвался с цепи, влетел Цебрик. Все удивленно переглянулись. Увидев, что поспел в самый раз, вскочил на каштановый пень и заорал:

— Человека убили, а вы жрать-пить собрались?! И в честь кого, спрашиваю?! Я селу по-прежнему голова! Еще раз спрашиваю: кто разрешил? Я...

И в эту минуту увидел Ольгу. Но Юрко Мельник поднялся во весь рост, заслонив ее, и двинулся на растерявшегося от неожиданности Ваврa. Так шел на него Довбеняк три дня назад на Скале. И пережитый тогда, у

дуба, страх заставил Цебрика резко повернуться. Он крикнул Ольге:

— Встать, блудница! Пусть все знают — ты извела товарища Довбеняка! Тебя, как вреднейший элемент...

Но в этот день выпили люди горькую чашу еще до рассвета, и визгливый голос бывшего председателя уже не мог никого взволновать. Только Пригода поднялся неторопливо со скамьи и направился к Ольге.

— Легче яму копать, чем самому туда ложиться... Разве не правда, непорочный Ваврусь? Еще когда пролетали гуси, запомнил: не дано тебе видеть то, что высоко над головой... Не пустили сегодня в сельсовет и через окна не смог разглядеть... А другие видели... Женщина эта, которую клеймишь, а я как родное дитя зову в хату, получила сегодня нож в сердце. Вот и спрашиваю тебя при людях...

В ярости Цебрик готов был наброситься на белый свет, но прямо через столы рвался к нему с ремнем в руках Федь Яресков. Без сына, один, что охранял сейчас с комсомольцами тело и вечный сон Пилипа Довбеняка.

Федь был уже рядом, и, пожалуй, началась бы еще одна скомороховская баталия, но в эту минуту во двор на взмыленном коне влетел Михайло Байда с винтовкой за плечами.

Никто прежде не видел Байду верхом да еще с оружием... Люди испуганно зашептались, поняли: Михайло знал что-то, еще неведомое селу... Весть, видно, была страшная — на всегда спокойном лице отражались тревога и растерянность. И желание: пусть родное село еще хоть минуту останется в неведении...

Он подошел к столу, налил из большой бутыли две чарки: одну через верх, другую — на донышке. И приблизился с ними к Журачихе:

— Не печальтесь, пропу. Данило ваш в районе, у высокого начальства...

И вдруг над мирными Скоморохами содрогнулось и почернело небо.

Заржал, рванулся вороной конь, вскочили на ноги потрясенные люди. Но уже ничего нельзя было расслышать: рядом, чуть не долетев до фольварка, над полем, где пахали, считая годы, Русин и Пригода и где теперь колосился буйный ячмень, разворачивались длиннокрылые, с крестами, незнакомые самолеты. Черными стрелами нацелились они на Крутеж, на полевой советский аэродром...

Внезапно один самолет свернул над Скалой и, страшно взревев, снизился над каштанами. Полоснул огнем — полетели с деревьев листья от вихря.

Пытаясь укрыться под стенами, люди с ужасом глядели вверх и видели лицо летчика, искривленное зловещим смехом.

Когда самолет отвалил в сторону Крутежа, люди, уже непохожие на себя, выбрались из-под стен и поразились: на счастье ли, на горе ль, но среди простреленных столов и осколков посуды Журачиха с Ольгой остались невредимыми... Старая защитила молодую своим сухоньким, легким телом... Это было непонятно и страшно...

И только Гриць Коваль, что вернулся как чумной в свое время с двухнедельного польско-немецкого фронта, кричал во всю мощь широкой груди кузнеца горькие и еще не доходившие до сознания слова:

— Фашисты! На «юнкерсах»! Двухмоторных! Бомбовозы...

Неслыханный прежде грохот над Крутежом заглушил его крик. Тяжкая, дымная, свинцовая туча опустилась на липовый цвет Скоморохов...

О СЕБЕ И О КНИГЕ

Я родился в 1937 году в селе Диброва Ивано-Франковской области и живу и работаю здесь поныне. Места эти расположены к востоку от Днестра, на краю Ополья, колыбели так называемой липицкой культуры, что занимала земли между реками Гнилой и Золотой Липами. (В первую мировую здешние села и местечки сполна изведали артиллерийские обстрелы, пожары и комендантские часы.) Недалеко от нас старинные городки Галич, Рогатин. Прозрачными ранними утрами видпеются Карпаты. И живут в памяти людской древние легенды про набеги татар да вольнолюбие лесных повстанцев...

Не была мне в детстве мачехой роскошная, полная чудес природа родного края. Навсегда запомнилось дуновение ветерка весенними рассветами и низкая, басовитая музыка пчел: не улетучились, не выветрились запахи укропа и конопли осенними, чарующими предвечерьями; но идиллию эту всегда оттесняли другие воспоминания: грозный гул вздыбленных льдин, буйные разливы, град среди жатвы, голодные годы в Карпатах...

Апрельским днем сорокового года двоюродная сестра Мария принесла меня, малого, в клуб на веселье народного праздника. Почти ощутимо витало над людьми дыхание свободы. Глаза их, движения, песни, музыка, пляски — все стало иным, все было полно жизни...

Не ушло из памяти, как собирались в родительской хате, у деда Василия, его побратимы — фронтовики первой мировой. А по планете катилась уже вторая война. Докатилась и до наших краев...

Среди войны, крови, смертей, страха и несправедливостей затерялось мое детство. Последний год войны стал первым школьным годом...

После окончания семилетки, перед жатвой, пошли мы полями с матерью в Рогатин «записывать сына в школу на учителя» — там уже четыре года работало педагогическое училище.

Но я им почему-то не понадобился, хоть и были в свидетельстве одни пятерки. Так и вернулись ни с чем. Не знаю отчего, но отказ не принес ни горечи, ни разочарования. И все мне кажется, что длится это путешествие — с рассвета до поздней ночи — среди спелой пшеницы, гречихи и ячменя, а рядом шагает моя молодая мать, великая труженица, что и теперь, на склоне лет, не ушла с колхозной нивы...

Записался в среднюю школу, что была в Старых Скоморохах. Затерялось это село в оврагах да полях, даже дороги к нему путной не было, только тропинки... И три года подряд ежедневно отмеривали мы по шестнадцать километров от своей Дибровы до скомороховской школы. А снега в те зимы бывали и выше пояса.

Ходил с нами Микола Мельник. Талантливый был — игру его в любительских спектаклях высоко оценили понимающие люди и предсказывали мальчику большое будущее. Случалось, на долгом пути по неспокойному в ту пору полю становилось жутко, и Микола поднимал нам настроение, разыгрывая на ходу веселые сценки. Но стать артистом ему не пришлось...

Мельник ненавидел войну: мать и младшего брата тяжко ранили осколки бомбы второй мировой... А ходили мы в школу по земле, где почти год топтался фронт первой... И сорок лет ее снаряд хмуро поджидал еще один нерасцветший талант.

Осенью пятьдесят пятого Микола поднял его, чтобы убрать с дороги, отшвырнуть в овраг. Все содрогнулось от взрыва... Наверное, в тот миг и родился во мне писатель. Но какой ценой! Никогда не забудутся безвозвратные потери друзей, горьковатый привкус снега, шумные осенние ливни. Двадцать лет преследует меня эта тема, но каждый день говорю себе: еще не напишу так, как нужно...

Написал о другом. «Липовый цвет сорок первого...»

Сороковые годы. Наш двадцатый, растерзанный век. Сколько надежд! Сколько набухающих почек! А фашизм полз и полз по

Европе. И многим суждено было пасть в бою лицом к врагу. А некоторым — спиной... Кто-то должен был родиться. А кто-то и не родился вовсе... Отчего-то больше всего думается о них: младенцы вправе рассчитывать на тишину.

Как птицы, гонимые вечным инстинктом, летят к той земле, где родились, так и люди возвращаются к небу своих рассветов, в зарницы детства. Я из того поколения, которое вместе со словом «мама» училось произносить другие, трудные и страшные слова: «Ночь... Тата нету дома... Стреляют...» Четырехлетними застал нас июнь сорок первого. За долгие годы войны и два последующих все мы, до единого, стали взрослыми.

И можно было бы прийти к теме романа сквозь печаль и горечь потерянного детства, если бы не освещал те годы могучий, ясный свет маяка — борьба моего народа за свои права и национальное достоинство, борьба, от исхода которой зависело, быть или не быть... История родного народа, революционные преобразования на западноукраинских землях стали основной темой повествования.

Мой возраст, мой «стаж писателя» не дают права исчерпывающе ответить на вопрос: как приходят к созданию первых книг? Могу сказать только, что понадобились годы жизни, чтобы от первой прозаической вещи, написанной студентом-первокурсником в 1957 году, прийти к роману («Липовый цвет сорок первого...» увидел свет в 1972 году).

Это первая книга из задуманного мною цикла о сороковых годах.

Прежде чем объяснить, кто послужил прообразом героев, хотелось бы рассказать о селе Скоморохи, фигурирующем в романе. Это село не вымысел автора. Есть в его описаниях и чудесная природа окрестностей Дибровы, и ее колоритные, одаренные люди, есть прекрасные женщины и героической судьбы мужчины из ближних сел: Свитанок, Подшумлянцы, Кинашив, Бильшовцы, Конюшки, Старые Скоморохи...

Село Конюшки. Там в двадцатых годах в хате Д. Сьомы панская полиция конфисковала труды Ленина и сборник революционных песен. В этих же Конюшках памятного двадцать второго июня 1941 года собирались торжественно открыть первый

колхозный детский сад. Не успели. Налетела на фашистских истребителях война, падали в поле убитые косари...

В оккупированных фашистами Бильшовцах несмирившиеся люди убили двух гестаповцев, чиновника, что приехал расследовать дело. А на рассвете 14 марта 1944 года отряд фашистов с танками и самоходками окружил село. Жителей загнали в костел и церковь. Более четырехсот человек. Погибли все. Это только одна из «акций». А всего за годы оккупации погибло в Бильшовцах две тысячи человек — не было здесь хаты, где не оплакивали бы близких...

Люди и события в романе...

В 1936 году в Испании вспыхнул фашистский мятеж. Коммунистическая партия Западной Украины послала лучших своих сынов на помощь молодой республике. Были сформированы рота имени Тараса Шевченко, позже ставшая батальоном, рота Олексы Довбуша. Больше тысячи добровольцев сражались плечом к плечу с другими интербригадовцами. Навсегда остались в испанской земле командир шевченковцев С. Томашевич, ее комиссар Н. Демьянчук и Ю. Великанович, секретарь Львовского окружкома комсомола.

В Даниле Жураке, что выжил и продолжил борьбу на родной земле, много от Великановича. Но сказать, что он «списан» с кого-то одного, нельзя. Этот литературный герой имел многих подлинных, исторических прототипов.

А вот у Зореславы Король не изменено даже имя. Она и в жизни была такой — увлеченной, горячей. Не признавала поблажек и слабостей, мечтала сделать свою жизнь по Оводу, по Павке Корчагину... Как сказал о таких Аркадий Гайдар — «не тот живет больше, кто живет дольше...».

Образы Юрка Мельника, Пригоды, Русина почти полностью списаны с живых людей. Прототипом коммуниста Михайлы Байды был Михайло Фурман. Был в действительности и его отец, светлый человек, строитель-труженик, чьи мосты, хаты и церкви и доныне украшают наш край. Убили старика, а сына августовской ночью сорок первого еще живым закопали в землю звериоуповцы. Чертежи, по которым старый Фурман мечтал построить хаты для сына и дочерей, хранятся в музее Бурштынского Двор-

ца культуры энергетиков рядом с фотографией внука — Степана Михайловича Фурмана, возводившего в юности нашу ГЭС и работающего на ней и поныне.

Дорога... Дорога... Вот бежит она рядом с пшеничным полем. Жатва. Серпами врезаются мать и отец в полегшие стебли. А на другом конце нивы — горит... От зажигательной бомбы, что сбросил самолет. Война...

Вглядываюсь в пожарища соседних сел. Застыл на перекрестке дорог родной Дибровы, на которую тоже упало не одно горе...

Говорят, прошлое можно вспомнить до мелочей, но невозможно пережить еще раз. Может быть, книги пишут для этого второго переживания?!

Есть ли здесь крупицы жизни, мгновения правды и достоверности — судить читателю, который возьмет в руки «Липовый цвет сорок первого...» в переводе на русский язык Юлии Верниковской, которой автор выражает глубокую признательность.

Богдан Бойко

(Перевод Ю. Верниковской)

СОДЕРЖАНИЕ

Липовый цвет сорок первого... 3

О себе и о книге 345

Бойко Б. М.

Б77 Липовый цвет сорок первого... Роман. Авториз. пер. с укр. Ю. Верниковской. М., «Молодая гвардия», 1977.

352 с. (Молодые писатели.)

Роман молодого украинского прозаика Богдана Бойко рассказывает о событиях, происходящих в селе Скоморохи, что на Западной Украине, в канун Великой Отечественной войны. В центре многопланового повествования — драматическая судьба Данилы Журака, студента университета, а затем участника боев с фашистами в Испании. В 1974 году роман был удостоен в республике комсомольской литературной премии имени Мирослава Ирчана.

Б $\frac{70303-087}{078(02)-77}$ 166—76

С(Укр)2

И.Б. 915

Богдан Михайлович Бойко
ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ СОРОК ПЕРВОГО...

Редактор **А. Гремицкая**
Художник **В. Борисов**
Художественный редактор **Н. Печникова**
Технический редактор **Е. Брауде**
Корректоры **Е. Самолетова, Г. Василёва**

Сдано в набор 12/XI 1976 г. Подписано к печати 10/III 1977 г. А05031. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 11 (усл. 15,4). Уч.-изд. л. 16,7. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 23 к. Т. II. 1976 г. № 166. Заказ 1820.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190